

84(2р=Балк)

Т 346

849277

Алим Теппеев
Твой свет





Алим Теппеев

ТВОЙ СВЕТ

ПОВЕСТИ

Перевод с балкарского

Бориса Бедного

849277

«СОВРЕМЕНИК»
МОСКВА 1977

С(Кав)
Т34

Теппеев А. М.

Т34 Твой свет. Повести. Пер. с балкарского
Б. Бедного. М., «Современник», 1977.

412 с. с портр.

В сборник вошли три повести молодого балкарского прозаика Алима Теппеева — «Красные закаты», «Твой свет» и «Девушка из Ак-Сырга».

В своих произведениях автор исследует острые жизненные конфликты, переосмысливая человеческие судьбы в связи с теми социальными преобразованиями, которые произошли в республике за годы Советской власти. Особое внимание писатель уделяет теме интернациональной дружбы.

Т $\frac{70303-205}{M106(03) - 77}$ 182 — 77 С(Кав)

*КРАСНЫЕ
ЗАКАТЫ*

I
ПОИСК
ДЕРЕВЯННОГО КЛИПА

Молодой пастух Каншау увидел таубия¹ Айдарука, едущего с двумя спутниками, и спустился со склона горы им навстречу.

— Ассалом алейкум, да приумножатся твои стада, джигит, — приветствовал Айдарук своего пастуха.

— Уалейкум салам, добро пожаловать.

Каншау узнал среди приезжих Адыхама-эфенди, взял за уздечку его коня и помог сойти грузному всаднику. Когда все трое спешили, он принял коней, стрепожил их и пустил пастись.

— Как живете, не нуждается ли в чем? — Айдарук с гордостью оглядел широко рассыпавшееся по всему склону мирно пасущееся стадо.

— У нас все хорошо, — коротко ответил Каншау.

— Такого пастуха не пайти и во всех наших ущельях! — похвалил его Айдарук. — Очень исполнительный работник.

— Слава аллаху, к азбуке Мухаммада приучил его я, — сказал самый старший из приехавших, Адыхам, поправляя нагайкой свои длинные пышные усы. — Думал: выучится, станет большим муллой — настолько был сообразителем. А он почему-то не захотел учиться...

— Что ни говорите, а батраки совсем испортились, — сказал другой гость. — Ты ему слово, а он тебе десять, будто перед ним такой же

¹ Б п и й — князь. Та у б и й — буквально: горный князь.

батрак, как и он сам, а не его хозяин. Порядка нет теперь!

— Да, это так, — согласился Адыхам. — От своих отцов мы никогда не слышали, чтобы батраки перечили им. А теперь...

— Но в этом, может быть, немного виноваты и мы, Ерюзбек, — сказал Айдарук, не отрывая глаз от стада. — Батраки ведь тоже люди. И о них надо заботиться, помогать им. Недаром говорится: доброе слово лечит... Вот пусть скажет Каншау, мои пастухи режут барана, даже не спросив меня. Почему бы не взять для гостя барашка из стада, которому он отдает все свои силы и днем и ночью?

— Оллаха¹, большое спасибо за доброту, — ответил ему Каншау. — Мы тоже не волки и стараемся приумножить ваше богатство.

Его непринужденный разговор с таубием явно не понравился Ерюзбеку. Завистливыми глазами он обежал большое чужое стадо, зло улыбнулся и спросил:

— Тогда почему бы тебе, Айдарук, не поделить свои стада между батраками, а мы бы последовали твоему примеру?

— Батраки живут своим трудом, — резко отозвался Каншау. — И тебе, наверно, они не причинили никакого зла.

— Ничего себе, хваленый пастух... — буркнул недовольный Ерюзбек.

— Хватит, Ерюзбек, — вмешался Адыхам, снова расправляя нагайкой усы. — Мы не спорить приехали. Сюда мы завернули — уничтожить молодого барашка. — Он с укором посмо-

¹ Оллаха — клятва именем аллаха.

трел на Айдарука. — Алан¹, ты позовешь нас в свой кош² или нет?

— Пойдемте, пойдемте, — пригласил тот приветливо и взглянул на Каншау. — Выбери пожирнее. А стадом пусть займется Карча.

Кош находился неподалеку. Каншау помог гостям сесть на коней, а когда они отъехали, он, не выбирая, взял первого попавшегося черного ягненка, перебросил через плечо и пошел вслед за ними.

Пока второй пастух Карча принимал гостей, Каншау успел разделать ягненка и поставил котел на огонь. Так же скоро он приготовил березовую палку. Насадив на нее голову ягненка, опалил ее на костре и поставил вариться в другом котле. Карча, обиженный тем, что не ему поручили обслуживать таких почетных гостей, побрел к стаду, волоча за собой длинную пастушью палку.

— Алавы, слышали новое стихотворение Кязим-Хаджи? — спросил Айдарук, наливая айран из подвешенного бурдюка в почерневшую от старости деревянную чашу. — По-моему, это лучшее из того, что он написал... На, Адыхам, пей.

Адыхам взял чашу двумя руками и долго пил, потом передал ее Ерюзмеку.

— Замечательный айран. — Он так аккуратно пил, что ни одной капли не осталось у него на усах и губах.

Айдарук продолжал:

— В самом деле, Кязим-Хаджи — мудрый человек...

¹ Алан — так балкарцы обращаются друг к другу.

² Кош — овчарня, пастушья стоянка.

— Да ну его. Мутит родник, из которого сам пьет воду. Смутьян несчастный. — Видно было, что это имя раздражает Ерюзмека. — Надо бросить его, хромую собаку, в Безенгийскую пропасть!

Айдарук, не обращая на него внимания, прочитал выразительным голосом, привычным к стихам:

Не хвастайтесь, баи и таубии,
Вы тоже такие же люди, как и мы.
В этом мире никто из нас не останется.
Останутся доброта, богатство и дом...

Разве это неверно?

Все трое долго молчали. Трудно было понять, осмысливали они кязимовскую мысль или думали о том, что им готовят грядущие дни.

Адыхам был видный человек могучего телосложения. Широкий пояс еле-еле сходил на его огромном животе. Голова его была чисто выбрита, на широком светлом лице выделялись черные пышные усы и высокий лоб. Когда он улыбался, из-под усов выглядывали белые ровные зубы и придавали особый блеск его улыбке. Уверенный в себе, немало повидавший, внешне спокойный человек.

Именно это спокойствие и бесило таубия Ерюзмека — маленького, сухого человечка. Его острая, как клинок, борода, редкие рыжеватые усики казались неестественными на обтянутом сухой кожей лице, словно он у кого-то взял их взаймы. Рубашка из домотканого полотна полиняла от старости. Такого же цвета, но более грубой выделки брюки лоснились от грязи. Ышимла¹ он почему-то не носил, поэтому из

¹ Ы ш и м л а — гетры из домотканого сукна.

чарыков вместе с соломой выглядывали штрипки его брюк. Когда он снимал огромную лохматую шапку из бараньей шкуры, его голова смахивала на голову какой-то неведомой лысой птицы, — и непонятно было, как он носит на своей маленькой голове такую шапку-громадину.

Айдарук не походил ни на одного из них. Был он высокого роста. Черная каракулевая шапка очень шла его спокойному красивому лицу. Рубашка на нем — из тонкого сукна, с высоким воротником и самодельными пуговицами и петлями, какие делают умелые горянки. Черкеска была голубого цвета, но гнезда для газырей пусты: очевидно, он не носил их из скромности. Бороды у него не было, но зато он особенно заботился о своих усах — очень жестких, густых, однако не длинных.

Они возвращались из Карачая, куда по настоянию Адыхам-эфенди ездили узнавать новости о событиях в России и в самом Карачае. Вести были такими, что возвращались они встревоженными.

— Видит бог, разговоры эти неприятны, — начал Адыхам. — В России, наверно, много таких, как Кязим. То, что творится там, дойдет и до нас... Когда поднимется народ... Разбушевавшуюся реку остановить нельзя.

— Народ, народ... — разгорячился Ерюзмек. — Народ — это те, кто думать умеет, управлять, кто умеет жить. А батраки — стадо, которое пропадет без ежегодной стрижки.

— Нет, Ерюзмек, — вмешался Айдарук. — Чем сильнее будешь сжимать петуха под мышкой — тем громче он будет кричать. Народ силой не остановишь. Для того, чтобы остано-

вить его и привлечь на свою сторону, надо искать другие пути.

— Князь Шаханов тоже говорит об этом, — напомнил Адыхам. — Все наши лучшие люди собрались в Терк-Баши¹ и решили объединить горцев под знаменем шариата. Сейчас главная задача — не допустить разброда, спасти наш темный народ от гяуров. Если мы не обезвредим гяуров, то они вползут в наши мирные подушки, как гадюки.

— Даю голову па отсечение: Айдарук будет защищать не наши интересы, а интересы бедняков. — У Ерюзмека пересохло в горле, и ему трудно было выговаривать слова. — Вспомни, Адыхам: он открывал медресе, обучал в нем детей своих батраков. Как знать, может, теперь он станет предводителем в их, так сказать, справедливой борьбе!

— Я не знаю теперь, чья борьба справедливая, — сказал Айдарук, не придавая значения нападкам Ерюзмека. — И вообще, кто борется? Мы или они?

— Мы все теряем веру. — Адыхам обратился к Ерюзмеку: — Скот терять не страшно, потерять веру — это несчастье...

Тот не успел ответить. Вошел Каншау, неся на деревянном подносе гору дымящегося мяса. Поставив поднос на соломенную подстилку, он вышел и вернулся с другим подносом, на котором лежала голова ягненка. Этот поднос он поставил перед Адыхамом. Рядом в деревянное блюдо положил тузлук².

¹ Терк-Баши — Владикавказ, ныне — Орджоникидзе.

² Тузлук — острая приправа из чеснока, перца и соли.

— Ерюзбек, подвинься, пусть Капшау тоже посидит с нами, — сказал Айдарук. — А то получится, как в пословице: топор, который построил дом, остался во дворе...

Ерюзбек, успевший уже взять кусок мяса, не в силах скрыть раздражение, бросил его обратно. Заметил это Капшау или не заметил, но, сославшись на то, что надо вернуть их копей, которые уже далеко забрели, он вышел.

— Бисмилла...¹ Будучи незнатного рода, этот пастух похож во всем на бия, — рассуждал Адыхам-эфенди, беря обеими руками голову и разделявая ее.

Ерюзбек, успокоившись, уже ел и не считал нужным обратить внимание на болтовню эфенди. Айдарук не торопился: он был хозяином и только теперь, когда его гости уже ели, взял небольшой кусок с подноса.

— Так как ты самый младший из нас, — обратился эфенди к Айдаруку, — тебе ухо, чтобы хорошо слышал и был послушным, когда говорят старшие.

И он отдал ему ухо ягпенка. Айдарук принял угощение на ладонь правой руки.

— Тебе, Ерюзбек... — Тамада повернулся в его сторону. — Знать, ты кое-что знаешь, но не очень зорко видишь. Тебе глаз...

«Мозгом бы тебя угостить!» — подумал он, но на сегодня ссор было достаточно.

— Такие, как Капшау, не страшны, — вернулся к своим размышлениям Адыхам. — С ними можно договориться. Но вот Шабаз... Тот бывший батрак Шонтука... Будет он головоре-

¹ Бисмилла — просьба благословения. Любое дело, молитва и еда начинается у мусульман этим словом.

зом, если ему дать волю. Аллаха у него в душе нет.

— У всех у них нет аллаха, — пробурчал Ерюзмек.

— Ешьте, ешьте, ради бога, — сказал Айдарук. Сам он ел мало и все время о чем-то думал.

— Надо, чтобы Каншау знали и уважали в ущелье, — решил вдруг эфенди.

— Он заслуживает этого, — согласился Айдарук. — Я искренне привязан к нему. Сколько лет работает у меня — ни разу не ослушался. Даже мой сын Шабатай так не почитает меня, как Каншау.

— На то он и батрак! — Ерюзмек кончил есть и, выдернув пучок соломы из подстилки, вытер руки, а затем и лицо.

— Так вот, Айдарук, и самое крепкое бревно раскалывают деревянным клином. — Адыхам тоже перестал есть и, по примеру Ерюзмекка, вытирал руки соломой. — Каншау, по моему разумению, и должен стать тем клином, что в это тревожное для нас время поможет расколоть батраков, которые тянутся к Шабазу...

Вернулся Каншау. Пока он наливал в деревянные чаши шурпу¹, Айдарук сказал ему:

— Шабатая женим. Слышал, наверно?

— Оллаха, нет. Откуда невеста и когда свадьба?

— Из Чегема... Свадьба в следующую пятницу... А ты завтра оставь кошару Карче, выбери полсотни хороших баранов и пригони домой.

Каншау озабоченно подумал и сказал:

¹ Ш у р п а — суп из баранины.

— Карча старше. Может, лучше ему пойти?

— Нет, он не годится. Приедут гости, джигиты затеют игры, — состязания в стрельбе, скачки. Лучше, если ты будешь на свадьбе. Я на тебя надеюсь.

— Это для меня высокая честь, — растроганно ответил Каншау.

Когда гости, собираясь уезжать, вышли из коша, Айдарук внимательно оглядел своего па-стуха.

— Ей-богу, ты плохо одет. Возьми вот эту. — Он снял с головы Каншау старую лохматую шапку и отдал ему взамен свою папаху. — Я доеду домой и в твоей.

— Не надо, не надо... — смутился Каншау. — Да не покинет добро ваш дом. Спасибо, но это слишком дорогой подарок!

— Не отказывайся, а то обижусь. — Айдарук, не дав опомниться Каншау, снял с себя и черкеску. — Пусть будет твоей, у меня есть другая. Все это немного для тебя. Вот уже сколько лет мое богатство умножается твоими руками.

Каншау ничего не смог ответить.

— Завтра постарайся прийти пораньше, — сказал Айдарук на прощанье и последним сел на коня.

II

ТЕНИ

ОТ ГРОЗДЬЕВ РЯБИНЫ

— Кто это забыл свою шапку и черкеску? — спросил Карча вечером, когда пригнал стадо.

— Никто не забыл. Бий подарил их мне.

— Алан, в последнее время ты что-то стал бредить! Разве может Айдарук подарить своему батраку шапку, стоящую коня?

— Я не хотел брать, но он и слушать меня не стал.

— Да, уж ты бы не захотел, — съязвил Карча с побледневшим от зависти лицом.

После этого известия он не смог усидеть в коше и вышел. Но вскоре вернулся, нигде не находя себе места. А вторая новость, которую сообщил ему Каншау, окончательно потрясла его.

— Теперь ты на несколько дней останешься здесь один. Шабатай женится, и завтра на рассвете я уйду на свадьбу. Так приказал бий.

Карча был верным батраком Айдарука: человеком нетребовательным, всегда готовым услужить. На своем веку много раз приходилось ему заботиться о гостях бия, и всегда Айдарук оставался им доволен. А теперь, когда готовились к главному торжеству в жизни семьи, хозяин даже и не вспомнил о нем. Карча сильно разобиделся. Ему захотелось бросить все, уйти к другому бию или баю¹ и этим отомстить одновременно и преуспевающему хвастуну Каншау и неблагодарному Айдаруку. Пусть знают, на что он способен. А сейчас не так-то легко найти такого преданного жалчи², как Карча...

Но он был человеком боязливым. Никогда Карча самостоятельно ничего не решал, он умел лишь исполнять, умел услуживать и еще умел

¹ Б а й — богач.

² Ж а л ч и — батрак.

безнадежно ненавидеть. И он тут же отказался от всех своих поспешных планов и посчитал их минутной вспышкой гнева и соблазном шайтана. Вдобавок ему пришла в голову утешительная мысль: а что, если Каншау обманывает его? Может, таубий оставил свою шапку и черкеску не Каншау, а ему, Карче, и пригласил на свадьбу тоже его самого? Да, да, Каншау хочет ему зла, хочет сам пойти, сославшись на то, что, мол, Карча не захотел прийти или заболел...

— Может быть, ты не понял? — допытывался он у Каншау почти плача. — Он не мог меня не пригласить. Давно уже обещал мне.

— Именем Корана, нет. Я сам сказал ему: ты старше, пусть возьмут тебя. Но таубий не согласился. — Видя, что Карча убит горем, Каншау пошел на хитрость: — Он сказал, что я не такой внимательный, как ты. Просто мне одному не доверил свое стадо.

Неожиданный оборот дела вернул Карчу к жизни.

— Знает Айдарук мою честность, знает, — обрадовался он. — Только поэтому и мог оставить меня здесь. Да, да, наш бий — золотой человек.

Он сразу успокоился и, забыв обо всем, стал примерять шапку и черкеску хозяина.

— Алан, ну как, идут они мне?

— Оллаха, тебе больше идут, чем мне, — ответил Каншау. — Носи ты, я дарю тебе.

— Правда?!

— А что? Разве для такого хорошего пастуха, как ты, это много? Надевай, надевай.

— Да возблагодарит тебя аллах и не покинет тебя счастье, — сказал обрадованный Кар-

ча. — Я твоей щедрости не забуду до самой смерти.

— Носи на здоровье.

* * *

Ранним утром Каншау отобрал из стада полсотни баранов и двинулся в путь. Приближалась осень, горы пахли спелой рябиной и сеном. Каншау не торопился. Бараны медленно спускались, пощипывая траву, а он, с пастушьей палкой на плече, пел песню Бийнёгера¹. Песня ему нравилась — самая широкая из всех, какие он знал. Бийнёгер был смелым и верным слову горцем, и каждый раз, когда Каншау пел песню о нем, он восхищался им. Лет тридцать тому назад Айдарук, наверно, был очень похож на Бийнёгера, думал он.

Каншау, как и бий, был стройный горец со смуглым лицом. Он только недавно отпустил усы. Старая коричневая черкеска и черные ышимла хорошо сидели на нем. А чарыки он надевал так аккуратно, что они очень шли ему. Шапка у него тоже была неплохая. Правда, не такая дорогая, как та, что подарил ему Айдарук, но зато своя. Почетнее жить в своем деревянном доме, чем в чужом золотом дворце, — любил говорить его отец. Конечно, Каншау был уверен, что бий сделал подарок от всего сердца. Хотя сын бия Шабатай его недолюбливал, сам Айдарук всегда о нем заботился. И все-таки Каншау был батраком, и этого ему не следовало забывать...

В семье он был единственным сыном. Единственный сын — единственная ветвь, и у

¹ Балкарская народная песня.

отца много тревог: если засохнет эта единственная ветвь, что тогда украсит двор старого Инала, что даст ему силу, радость, веру в будущее? Поэтому Инал и его жена Каралхан очень дорожили сыном, хотя и не баловали его. Научили Каншау любить труд и людей, класть каменные стены и пастить скот. По их понятиям, других знаний горцу и не надо было.

Но будучи религиозными сами, они хотели, чтобы и их сын хорошо владел азбукой Корана. Многие суры Корана Каралхан знала наизусть, а этим могли похвастаться далеко не все муллы. И как только Каншау немного подрос, она принялась обучать его своему искусству. А позже, когда маленький Каншау стал ходить в медресе Адыхама, все увидели в нем будущего кадия. Он был прилежным сохтой¹ и легко запоминал каждое слово эфенди. Сам Адыхам проникся к нему уважением. Не один раз заходил он в дом Инала и вел разговор о дальнейшей судьбе маленького ученика. Когда другие были заняты изучением букваря, Каншау уже свободно читал Коран.

В сакле, где пахло кизяком и обработанной бараньей шкурой, отец и мать долго размышляли, как учить Каншау дальше. Сын был еще очень мал, чтобы пустить его одного в другой аул, а тем более в другое ущелье. А тем временем мальчик бегал по крутым и узким улицам аула, играл на плоских крышах приземистых каменных домов, подолгу глядел на бурный Черек, словно спрашивал у него совета. Рос, как все мальчишки в ауле.

Кто знает, что решили бы родители Каншау, по однажды пришел Адыхам и сказал:

¹ С о х т а — слушатель медресе, ученик муллы.

— Из Кумуха приехал мой давний друг Абдул-Межид. А он большой мулла и имеет свое медресе. Я рассказал ему о Каншау и попросил, чтобы он взял его к себе учеником. Абдул-Межид согласился. Сможешь ты послать его туда? Парень очень способный, его обязательно надо учить...

— Оллаха, если даже мне придется продать единственную корову, я обязательно пошлю его, — сказал Инал.

И утром Инал повел свою единственную корову продавать на базар. На улице его обступили родственники и друзья.

— Что случилось, алап? Что тебя заставляет продавать единственную корову?

— Да вот, хочу послать мальчишку учиться. А корову, живы будем, еще найдем. Хочу, чтобы у сына открылись глаза на мир.

— Эх-хей, как же так, пока мы живы, этому не бывать. Не позволим продавать единственную кормилицу вашей сакли, — сказал сосед Инала. — Каншау выучится, чьим муллой станет? Нашим! Вот я даю рубль.

Кто положил рубль, кто двадцать копеек, — и не успел Инал опомниться, как аульчане собрали кучу денег.

— Возьми, Инал, посылай своего сына учиться. Вернется муллой, совершит молитву на наших похоронах, почитает нам Коран. Не обижайся, были бы богаче, дали бы по барану.

— Родные мои... — растрогался Инал. — Чем я заслужил такую щедрость? Да возблагодарит вас бог.

— Питаемся хлебом и солью одной земли, пьем воду из одного ущелья, так почему же мы не должны помогать друг другу...

— Дай бог вам столько радости, сколько здесь копеек.

Инал завернул деньги в старый платок, сушил его во внутренний карман бешмета, взял корову за повод и пошел домой. Вечером их снова посетил эфенди.

— Я слышал о поступке аульчап. Бог возблагодарит их за доброе дело. Я тоже хочу внести свою долю на учебу Каншау. — И он вытащил рубль из выцветшего бумажника.

— Нет, пет, не беспокойтесь, эфенди. Хватит и того, что вы сделали для нас. Чем мы, бедные люди, отблагодарим вас за добрые дела?

— Мне ничего не надо. Постарайтесь угодить Абдул-Между. Твой сын будет учиться у него года три-четыре.

На другой день Инал дал Абдул-Между деньги, дорогой башлык, хорошего барана и отправил Каншау вместе с ним в Кумух...

Очнувшись от воспоминаний, Каншау огляделся вокруг и заметил, что уже полдень и у него рубашка прилипла к спине. Лучи солнца, ударяясь о скалы, рассыпались и падали на камни, на придорожные рябины, на спины усталых баранов. Налитые солнцем и соком гроздя рябины петронутой щедростью встречали путника.

Каншау улыбнулся рябине — то ли от радости, то ли от удивления. Он остановил баранов, чтобы они паслись на берегу реки, а сам спял с плеча хурджины и сел на обросший травой камень. Крючком пастушьей палки притянул к себе ветку рябины и, не срывая ягод, стал высасывать из них сок — до тех пор, пока ни одной ягоды не осталось на ветке. Потом Каншау нарвал охапку пушистой травы из-под куста

орешника и накрыл ею камень. Из хурджица он достал лепешку, мясо, сыр, выложил все это на траву и, примостившись с краю, стал есть.

Пообедав, Каншау спустился к реке, разделся и долго с наслаждением купался в студеной осенней реке. После купания он снова вернулся к рябине и так же, как в первый раз, долго лакомился соком ягод. Потом пригнул облепленную орехами ветку. Когда его крепкие зубы устали щелкать орехи, Каншау срезал пожом опустошенную ветку и, машинально стругая ее, вновь ушел в свои воспоминания. Тонкие щепки летели из-под пожа, как куски его жизни...

Поездка в Дагестан не принесла счастья Каншау, как думал Инал. Конечно, в первые дни мальчик всему удивлялся: новые дороги, новые земли возбуждали в нем острое любопытство. Он ехал на медленной арбе с знакомым утрюмым человеком и в каждом чужом камне или названии открывал для себя новый мир. Но Абдул-Межид так глубоко молчал, словно спал, и мальчик не осмеливался спросить его о чем-либо. Каншау был полон желания рассказать ему о Хуламском перевале и Безенгийском леднике, — он был убежден, что его будущий учитель такого еще никогда не видел. Но тот почему-то ничего не спрашивал у Каншау и сам ему ничего не рассказывал. Абдул-Межид был глух и нем. Он будто превратился в камень, ничем вокруг не интересовался и всю дорогу шептал себе что-то под нос, словно разговаривал с аллахом. Такого отрешенного взгляда Каншау еще никогда и ни у кого не встречал.

Этот холод равнодушия остудил сердце маленького Каншау в жаркий летний день, и он вдруг почувствовал неприязнь к Абдул-Межиду. Ему хотелось убежать от угрюмого учителя. Убежать и скитаться по этим горам и камням.

Дом Абдул-Межида не стал Меккой для Каншау, как надеялся старый Инал. Первую неделю мальчикзнакомился с домом и окружающей местностью. А на следующей неделе Абдул-Межид вместо уроков дал ему стадо овец, а чтобы Каншау не сомневался в честности муллы, вручил ему книгу шариата. За два года он должен был не только прочитать эту книгу, но и многие места выучить наизусть.

Каншау встретился с Айдаруком как раз тогда, когда бежал из этой «мекки». Губы подростка потрескались, одет он был в лохмотья. Босые ноги, давно не видевшие чарыков, были в ранах и ссадинах. Давно не бритая голова заросла густой черной шевелюрой. Из-под черных бровей выглядывали черные огненные глаза.

Парень сразу привлек внимание таубия. Айдарук с ног до головы внимательно оглядел его и спросил:

- Куда путь держишь, джигит?
- В Хулам.
- Ты чей будешь?
- Караев я.
- Сып Инала?
- Да, алан!
- Откуда идешь?
- Из Кумуха.
- А что ты там делал, жених?
- Отец посылал учиться.

- Так почему же ты не учишься?
— Не захотел... Эфенди плохой человек.
— А где ты видел хорошего эфенди, джигит? — Айдарук громко рассмеялся. — Видел, а?
— Видел. Адыхам-эфенди из нашего аула.
— Ты что, его ищешь?
— Нет, я ищу свой дом.
— Хулам ведь в Балкарии, а ты уже пересек границу Карачая... Сколько тебе лет?
— Шестнадцать.
— Как раз время пасти баранов.
— У нас нет баранов.
— А наши бараны?

Парень ничего не ответил.

— Карча, посади его к себе на копя, — обратился таубий к своему спутнику. — Если эти хвастуны карачаевцы положили нам чего-нибудь в дорогу, достань и угости его. Может быть, он проголодался.

— Они не хвастуны, моя мать карачаевка, — сказал оборванный путешественник.

Айдаруку понравился ответ парня.

— Вижу, в тебе бьется сердце джигита. И моя мать тоже карачаевка. Оказывается, мы родственники... — Покосился на Карчу и добавил: — Люблю гордых.

Когда они под вечер въехали во двор большого двухэтажного дома, крытого железом, на встречу им выбежала девочка лет тринадцати — четырнадцати. На ней было новое платье из парчи и золотые серьги. Она была выше, чем бывают подростки ее возраста, тонка, стройна, как тополек, тянущийся к солнцу. Тонкие пальцы, тонкие брови. На белом лице рассеянно блуждала ямочка, то останавливаясь у края губ, то исчезая совсем.

Увидев позади Карчи незнакомого оборванного парня, девочка стала как вкопанная. Потом, спохватившись, подбежала к отцу и обняла его ногу вместе со стремянем. Айдарук легко поднял ее и бережно прижал к себе. Тем временем из дома вышел высокий юноша в голубой черкеске, с позолоченным кинжалом на поясе, помог Айдаруку и девочке сойти с коня.

Каншау спрыгнул с коня Карчи и замер на месте, уставившись на свои грязные ноги. Девочка глянула на него и хихикнула. Он вздрогнул и, обратив на нее горящие, как у волчонка, глаза, заставил вздрогнуть и ее. Девочка вскинула голову, надменно посмотрела на оборванца и пошла к дому, вертя в руках отцовскую нагайку.

Каншау долго стоял посреди двора, не зная, что ему теперь делать. Наконец из дома вышел Карча со свертком.

— Иди за мной. — Они спустились к реке. — Разденься, — сказал Карча, не отрывая глаз от бурлящей реки.

Каншау посмотрел на него подозрительно.

— Разденься, разденься, — повторил тот, разворачивая сверток. — Таубий проявил щедрость, подарил тебе старую одежду своего сына. Вот мыло.

— Ничего мне не надо. Я домой пойду.

— Любезный раб аллаха, как хочешь. Только сначала искупайся, переоденься в одежду таубиевского сына, хорошенько поешь, а потом — скатертью дорога.

— Ничего мне не надо, — заупрямился Каншау.

— Ну что ты уперся, как осел? Послушай человека, — сказал Карча уже со злостью. —

Кто отказывается от подарка таубия?

— Таубии даром ничего не дают.

— Не болтай. Раздевайся и лезь в воду.

— Я хочу домой. Через наш аул тоже течет река.

Карча потерял терпение, схватил Каншау и толкнул его в воду. Весь мокрый, тот стоял посреди стремнины, а Карча хохотал на берегу. Каншау достал камень со дна, швырнул в него и попал в голову.

— Собачий сын, сколько ты мне крови попортил! — Карча нагнулся за камнем, но, услышав звонкий, как колокольчик, смех, выпрямился.

С большим медным кувшином на плече к реке спускалась дочь Айдарука. Заметив ее, Каншау снова вздрогнул, как будто увидел рысь. И тут же понял, что в сердце его зародилась ненависть к этой девочке. «Как хорошо, что я не разделся, — подумал он. — Она смеется над моими лохмотьями, а как бы она издевалась, застав меня голым!»

Карча поспешил к ней, чтобы спрятать кувшин с ее плеча, но девочка не разрешила.

— Иди отсюда, — сказала она жестким голосом. — Я сама пришла за водой.

Не смея возражать, Карча отошел в сторону. Девочка спустилась к реке и остановилась напротив Каншау. Делая вид, что совсем его не замечает, она наполнила свой большой кувшин и стала поднимать его на плечо, но не осилила. Каншау рассмеялся. Глянув на него злыми глазами, она вновь попробовала поднять кувшин — и опять у нее ничего не получилось. Смеясь вместе с Каншау, она присела на траву.

Но уже через минуту, вспомнив, видимо,

что находится среди батраков, дочь Айдарука приняла надменный вид и повелительным голосом приказала Каншау:

— Эй, раб, подними кувшин и отнеси его домой. Быстро!

— Подождешь, — ответил Каншау и посмотрел на нее озорными глазами. — Если кувшин не хочет сесть на тебя, садись на него сама и скачи!

Девочка разозлилась и вне себя от ярости закричала:

— Раб, раб, раб!..

Каншау захохотал.

— Я-то не раб, а вот ты — дурочка!

Карча больше не мог терпеть и подбежал к своей госпоже.

— Бийче, не обращайтесь внимания на этого пищега. А кувшин отнесу я.

— Иди отсюда, — сказала она ему холодно, рывком поставила кувшин на плечо и, не оглядываясь, стала подниматься по крутому откосу.

Когда она скрылась, Карча накинулся на Каншау:

— Собачий сын, где ты видел, чтобы с бийче разговаривали так грубо? Если она пожалуется отцу, из-за тебя попадет и мне.

— Это для тебя она бийче, а я ее не знаю, — ответил Каншау.

И ему почему-то вновь захотелось очутиться на том дворе и еще раз поспорить с этой дикой девчонкой. Он быстро разделся, выкупался в холодной воде, которую совсем не прогревало осеннее солнце, надел одежду, принесенную Карчой, и вместе с ним пошел в дом Айдарука.

Глаза Каншау все время искали девочку, но

увидеть ее во второй раз в тот день ему не удалось. А на следующее утро Айдарук посадил его на коня, сам сел на другого, и они поехали в Верхний аул, к Иналу.

Таубию нужен был пастух.

III

СЧАСТЛИВАЯ ЗИМА ДРОВОСЕКА...

Бараны разбрелись по склону горы, но Каншау безучастно смотрел на них, на свои ышимла, облепленные тонкими стружками, и на выструганную им палку. «Такая же белая и стройная, как бийче Нальбике», — невольно подумал он и грустно усмехнулся. И все-таки эта палка успокоила его — то ли белизной своей, то ли молчанием. Бараны жадно паслись на склоне, день уходил, а Каншау не торопился. Большая часть пути осталась позади. Аул и дом Айдарука были теперь совсем близко — и оттого его охватила тоска...

Хотя бий нанял Каншау пастухом, но долго не отправлял его на пастбище. В тот год много людей гостило в доме бия. Как говорится, котлы с огня не снимали, и приходилось много топить. По этой ли причине или некогда было Айдаруку отвезти нового батрака в конц, но Каншау остался в ауле и временно работал дровосеком. Ежедневно он гонял шесть ослов в лес и привозил во двор бия шесть ишачьих возов расколотых на четыре дольки кленовых или карагачевых дров, а иногда круглые бревна черной березы. Каншау знал: о нем будут судить по дровам, которые он привезет, и старался изо всех сил. Бий хвалил его, но зловредная бийче

пе пропускала ни одного случая, чтобы больно не задеть дровосека. Она пе простила ему дерзости у реки и с неиссякаемой силой и находчивостью преследовала его.

На беду Капшау, зима выдалась морозная. И хотя во время рубки дров от него валил пар, но по дороге в аул ледяной ветер тысячами игл колол его потное тело. Оп гнал тяжело нагруженных ослов по узкой тропе, натопанной вдоль реки, то подбегая к переднему ослу поправить его покосившийся груз, то возвращаясь назад, чтобы погнать их всех еще быстрее. Порой, бывало, один из ослов, обессиленный, падал — и тогда Капшау забывал о холоде и усталости: другие ослы уходили, а этот пе вставал. Чуть пе плача, Капшау спимал с него груз, помогал встать и снова нагружал его, оставив для себя самую большую вязанку. Тяжелая ноша на плече согревала и торопила. В такие дни он входил во двор бия горячим и краснощеким и старался не показать, что еле держится на ногах от усталости.

Глядя на него, юная бийче хихикала и спрашивала преувеличенно строго:

— Почему привозишь такие плохие дрова, жалчи?

Капшау не отвечал. Горячими руками разгружал ослов и аккуратно складывал дрова в дальнем углу двора, изредка утирая пот с лица краем подола своей шубейки. А бийче, еще больше злясь, повторяла:

— Я спрашиваю тебя, жалчи, почему такие плохие дрова привозишь?!

Однажды, проходя мимо, он нарочно слегка задел ее вязанкой дров. От боли, а скорей от прикосновения холодных, заиндевевших дров,

она вскрикнула. Каншау услышал и, не оборачиваясь к ней, довольно улыбнулся.

— Чтоб отсохли твои руки! — крикнула ему в спину бийче.

— Останетесь без дров, — сказал он спокойно.

— Все наши дровосеки — рабы. И ты, наш дровосек, тоже раб!

Каншау почудилось, что его сильно ударили по голове. На мгновение он застыл на месте и не помнил потом, ответил он ей что-нибудь в эту минуту или нет. Не впервые говорились эти слова, и много раз он сам слышал их в ауле, он не знал, что они могут причинить человеку такую боль.

— Если бы ты была моей сестрой, — помолчав, сказал он тихо, — я бы тебя убил.

— Я дочь князя, меня никто не может убить! А если ты еще раз сделаешь мне больно, я скажу брату.

— Твоего брата я не боюсь. Пусть поборется со мной, если он мужчина.

— Он тебя поборет!

— Вы только хвастаться умеете.

Тут во дворе показалась ее мать, и она убежала.

Конечно, Каншау и теперь, как тогда у реки, мог осадить ее, но тогда он был свободен от каких-либо обязанностей и ничто не связывало его с этим домом. Теперь же его сдерживало обещание отца: Каншау сам слышал, как тот говорил Айдаруку, что сын его будет исполнительным, не станет прекословить и о доме бия станет заботиться, как о собственном. Кроме того, Нальбике было позволено все, потому что она была дочерью бия, а ему ничего не по-

зволюлось, потому что он был из рода каракиши¹. Но рабом он не был, зря так думала дочь Айдарука. Он был свободным горцем, — бедным, но свободным. И никто не мог назвать сына Инала рабом. А то, что он нанялся батраком к бию, так в этом еще нет ничего позорного. Так многие поступают, даже сыновья из зажиточных семей: горцу больше негде работать, как идти в жалчи.

Каншау заметил: когда бий был дома, Нальбике редко появлялась во дворе, а когда выходила, то была совсем иной — не злословила, старалась быть простой, отзывчивой и даже помогала ему. В такие дни он не узнавал ее, да и себя тоже. Какое-то непонятное, никогда ранее не испытанное им чувство делало его покорным. Он вдруг робел, стеснялся своих рук и ног, а слов и вовсе не мог выговорить. И тогда те жестокие слова Нальбике казались ему просто неправдоподобными: никак не могла она его так обидеть.

И за дровами в эти дни он уходил с радостью в душе. Боль от давних злых слов бийче притуплялась, в памяти оставались лишь белое лицо девушки, длинные тонкие пальцы, большие озорные глаза...

В один из таких дней Нальбике и сыграла с ним шутку.

Сын бия Шатабай собирался куда-то ехать вместе со своим другом Мураем. Айдарук сопровождал молодых князей, давал им последние указы. А Каншау в это время торчал в хлеву, изредка поглядывая на собирающихся в путь и испытывая нечто похожее на зависть

¹ Каракиши — вид сословия, свободные горцы.

или тоску. Они были почти его сверстниками, но владели горячими породистыми конями с дорогими, щедро украшенными седлами. Да и сами юноши были празднично нарядны: в черкесках с золотыми газырями, с кинжалами на отделанных серебром поясах. И Каншау решил на них не смотреть. Слишком трудный предстоял ему день, чтобы омрачать его еще и тоской по несбыточному. Он должен был думать об исправности дровяных ишачьих седел, о корме ослам, об остроте топора.

Каншау собрал мягкие, смазанные маслом, скользкие веревки из бычьей шкуры и, увязав их вместе с топором, прикрепил к седлу самого сильного осла, к седлу другого привязал сноп сена и свой обед в мешочке, накинул шубейку, взял в руки шест и только собрался сказать ослам привычное «Учух!»¹, как его окликнул бий:

— Каншау, положи коровам и волам сена.

Прислонив шест к плетню, Каншау безропотно пошел выполнять приказ. Днем скот стоял в загонах, за высокими каменными завалами. В двух загонах кормились коровы, в третьем — знаменитые красные волы Айда-рука.

Удивительно свежо и добро пахло сено в это зимнее утро. Каншау подцепил на вилы большую охапку сена — и тогда-то зазвенел этот утренний голосок, заставивший его вздрогнуть и замереть на месте. Тонкий смешок словно исходил из стога сена — доброго зеленого стога. Он оглянулся: из хлева выходила Нальбике и тихонько посмеивалась. Каншау

¹ Учух — понукание.

стиснул зубы — и смех умер, исчез, растворился в душистом сене. Он быстро пошел в загон, задал корм скоту, погладил по спине вола и с минуту постоял, любуясь его широкими, устремленными ввысь рогами.

Когда он вернулся во двор, там уже никого не было. Шабатай со своим другом ускакали, Айдарук тоже куда-то уехал — коня его не было у коновязи. И Каншау погнал ослов в лес за дровами.

В молчании протекал его долгий путь, и дорога показалась ему длиннее, чем прежде. Обычно, выйдя из аула, Каншау садился на осла, а сегодня даже и не подумал об этом. Снег хрустел под его чабурами, морды ослов были покрыты инеем, а сам Каншау был какой-то потерянный и жалкий.

Ослы остановились у подножия крутого лесистого склона. Здесь Каншау скатывал бревна на дрова. Он снял сено и разделил его на шесть ровных охапок. Развязал веревки... Вот когда он удивился! Вместо острого топора к седлу был неумело приторочен старый щербатый топор, которым тесали камень.

— Ха! — сказал Каншау, и тут же, как наяву, засмеялась Нальбике, скалы, да и сам он не удержался и громко захохотал. Бийче хотела зло подшутить над ним, но у Каншау стало вдруг празднично на душе, будто и на его долю досталась черкеска с золотыми газырями...

В тот день Каншау не заготовил крепких, расколотых на четвертушки дров. Он собирал валежник, ломал полусгнившие деревья. Но ему было весело и даже хотелось петь. И ослы остались довольны: они получили невиданно

легкий груз и весело вышагивали по узкой скользкой дороге вниз по ущелью. А Каншау пел — может быть, первый раз в жизни. И ущелье, казалось, тоже пело вместе с дровосеком.

Вечером Каншау сказал юной бийче:

— Радуйся, привез плохие дрова!

Нальбике ничего не ответила, усмехнулась только. Думала: дровосек вернется злой и без дров. А он вернулся веселый и с дровами. Опять у нее ничего не получилось...

Так дом Айдарука становился для Каншау не только домом хозяина, но и по-особому близким, дорогим домом. Теперь каждый раз, проходя сюда, он и боялся встретить Нальбике и ждал этой встречи. Много раз он перехватывал ее пристальный изучающий взгляд из окошка. А когда он работал во дворе, Нальбике частенько выходила из дому и сердито и неловко подметала двор или выскивала себе еще какую-нибудь работу.

Каншау терялся в догадках, не зная, как это понимать, по жить ему стало интересней. И все сильнее казалось, что и Нальбике все это непонятно, но ей тоже интересно видеть его, — вот она и ищет с ним встречи. Может быть, она жалела о том, что когда-то обидела его, но гордость дочери Айдарука не позволяла ей заговорить первой? Каншау и сам мог бы сказать ей, что давно уже позабыл о той давней обиде, но боялся услышать в ответ колкие насмешки, — и молчал.

Так в обоюдном молчании и прошла зима. А ранней весной Каншау отправили пастухом в кош.

IV

...И ТРЕВОЖНАЯ ВЕСНА БИЙЧЕ

Этой весной все вокруг Нальбике — и крутой берег реки, по которому она спускалась за водой, и каменные завалы у подножья высоких скал, и сами неприступные скалы, — все начало узнавать ее. И река, и скалы вопли в ее жизнь давно, но до сих пор она как-то не замечала их. С самого дня ее рождения они приветствовали Нальбике, но она не слышала их. И теперь краской заливалось ее лицо от сознания своей вины. Мир этот был совсем не такой, каким она раньше его представляла. И все люди были очень разные: отец — один, брат — другой, а мать и вовсе не похожа ни на одну женщину в ауле.

Была удивительна и чем-то даже страшна эта весна. В Нальбике рождалось что-то непонятное и порой пугающее ее. Она стыдилась этих перемен и в то же время ловила себя на том, что ей и стыдиться приятно. Купаясь с подружками в реке или сидя с матерью за вышиванием узоров к платьям будущей своей невестки, Нальбике чутко прислушивалась к нарождающемуся в ней новому чувству. Оно приятно щекотало тело, заставляло жадно впитывать в себя все радости дня, вдыхало нежность. Оно заставляло ее хитрить, прятать от матери свои открытия — и это тоже было приятно. И названия всему этому не было. Нальбике не знала, что совершалось чудо — к ее телу прикасалась нежнейшая на свете рука и превращала ее в женщину.

Вместе с этим чувством появилось и другое,

еще более странное: она вдруг стала тосковать о дровосеке! И уж совсем непонятное: ей стало стыдно за те давние свои слова. Она тогда и подумать не могла, что каждым своим словом причиняла боль дровосеку. Ведь слова эти были для нее так естественны: мать еще хлестче выговаривала женщинам, приходившим к ним валять шерсть. А теперь каждый раз, когда мать ругала работниц, в ушах Нальбике звучали ее собственные жестокие слова, и она впадала в уныние: ей казалось, что дровосек никогда не простит ей старой обиды.

Однажды она увидела Каншау во сне.

— Если бы ты была моей сестрой, — сказал он, — я бы тебя убил.

Она вскрикнула и проснулась.

Нальбике никому не рассказывала о своем сне, а утром пошла к реке — по той же тропинке, по которой спускалась в тот день с тяжелым кувшином на плече. В памяти ее, как наяву, возник мокрый Каншау, стоящий по пояс в воде, но теперь он был другой — красивый, с горящими глазами, молчаливый и упрямый... Нальбике обернулась — не подглядывает ли кто за ней? Весенний утренний мир был чист и спокоен. «Он стоял тогда вон на том месте у большого валуна и смотрел на меня», — вспомнила Нальбике. Он и сейчас смотрел на нее — не двигаясь, не опуская глаз, молча. Не тот обозленный, который обещал убить ее, и не тот бойкий дровосек, который однажды зацепил ее мерзлым поленом, — а тот Каншау в рваной одежде, что при самом первом их знакомстве стоял возле коня Карчи и растерянно молчал...

— Несчастный оборванец! — сказала она, чтобы избавиться от наваждения.

Но зачем же спускалась Нальбике к воде? Чей зов звучал в ее ушах? И почему этот несчастный жалчи не уходил, не отворачивался от нее, даже не сердился, когда она ругала его?..

Вечером она спросила у матери:

— Мама, когда какой-нибудь человек стоит перед глазами... Ну, когда ты совсем не хочешь этого человека видеть, а он без спросу стоит и стоит перед глазами — отчего так бывает?

У матери даже в сердце кольнуло, но она была мудрая женщина и спросила равнодушно:

— Кто же это стоит перед твоими глазами?

Однако и Нальбике не была простушкой.

— Никто! — ответила она поспешно. — Я просто так спросила... Если вдруг так случится, отчего это бывает?

Нальбике стойко выдержала выпытывающий взгляд матери, и та ничего не прочитала в ее глазах. Да она и не смогла бы прочесть. Никогда тайный стыд не обжигал лицо этой женщины. И не испытывала она такой радости, когда ничего не понимаешь, а в каждом шорохе чудится твое имя, каждый камень начинает с тобой разговаривать, когда в твоей душе мгновениями смешиваются страх и счастье, песня и плач, когда ты вдруг начинаешь жалеть, что у тебя нет крыльев...

— Дурные мысли у тебя в голове, — строго сказала мать. — Пусть дурные твои мысли никто не услышит.

А Нальбике открыла для себя: неспроста плакала она девочкой, когда отца не бывало дома. Отца она любила и была привязана к нему. И теперь она подумала: «Надо было задать этот вопрос отцу. Он бы ответил иначе».

Мать была зимой ее жизни, отец — весной.

Дровосек был упрям. Чем сильнее Нальбике гнала его от себя — тем ближе он становился ей в мыслях. Она стыдила себя, бийче, пыталась унизить и уничтожить его словом «раб», но острыми камнями падали на ее голову все слова ненависти к нему, а Каншау они не задевали. И чем больше напоминала себе Нальбике о своей гордости, тем беспомощней она становилась. Гордость ее разбивалась, как падающее на камень стекло, — и поняла она, поняла с ужасом, что хочет видеть Каншау.

В мыслях к ней возвращалась прошедшая зима. Нальбике не сознавала тогда, что каждая встреча с Каншау была ее тайным праздником — праздником торжества бийче над бесправным жалчи. А теперь она жалела, что никто не мешал ей издеваться над беззащитным дровосеком. Она была глупой, капризной кривлякой, а он вел трудную жизнь, не имея никакой надежды на счастье.

Прошло лето, и снова наступила зима. Снова в доме Айдарука было много гостей, противно хваливших дочь бия, а Каншау не появлялся. Из кошар отца приходили пастухи, пригоняли овец, привозили масло, сыр, шерсть. А он все не появлялся... И Нальбике не могла спросить о нем, получить хоть таким окольным путем весточку. Что бы тогда подумали люди вокруг? Впервые в жизни ей стало казаться, что быть дочерью богатого и знатного бия не так уж хорошо.

Нальбике удивляла всех домашних. Один день она была беспечно веселой, как говорится — под ногами у нее и трава не гнулась. А на завтра сидела, забившись в угол и тихим грудным голосом пела какие-то неведомые всем

грустные песни. Слова этих песен она придумывала сама, и никто в доме не понимал, о чем она поет и что с ней творится.

У Нальбике не было верной подруги, с которой она могла бы поделиться сокровенным. Стоило ей открыть свою тайну кому-нибудь, даже самому близкому, как ее тут же обсмеяли бы и жестоко надругались бы над ее чувством. Она с горечью сознавала это и впадала в уныние.

И вновь пришла весна. Это весна была мудрее предыдущей: она подсказала Нальбике выход. Ведь любовь — родник, пробивающий даже каменные пласты!

Нальбике сказала отцу:

— Мне надо побывать на пастбище... — Было время окота овец, и пол-аула находилось там. — К свадьбе Шабата я сошью ему каракулевую шубу, а для этого надо отобрать каракулевых ягнят... — И еще она сказала: — Не хочу, чтобы мать с братом знали об этом. Пусть это будет для них сюрпризом!

Айдарук был тронут такой отзывчивостью дочери, — сын его Шабатай еще ни разу не изъявил желания побывать на пастбище, где создавалось богатство их семьи, — и, обрадованный, дал согласие на поездку и снарядил в дорогу провожатым одного из своих бедных родственников. И Нальбике взяла с собой двух подруг, и они поехали на пастбище на арбе, запряженной двумя мощными волами.

Ясным весенним днем волы медленно поднимались в гору. Сил у них было много, но они с трудом помещались на узкой каменистой дороге. И девушки не раз прятали головы, когда волы проходили под нависающей скалой, едва не касаясь ее рогами. Но завались вдруг эта

скала — волы бы даже не вздрогнули! И тяжести арбы они не чувствовали, а, казалось, шли в горы просто так, ради своего воловьего удовольствия, — и на душе у путников было от этого легко и хорошо.

Перед Нальбике впервые открывался большой мир ее родины. Горы, возвышающиеся над всем миром, верные и суровые, вдали сливающиеся с небом; скалы, громоздящиеся друг на друга, высокие и непонятные; девственные леса, поющие и стройные, — впервые она так близко видела все это. Впервые она испытала тот необъяснимый трепет, который появляется от первого прикосновения к чему-то очень близкому и родному. Она даже говорить сейчас не могла, только душа ее пела. Но было и другое чувство, заставляющее ее стыдиться и омрачающее радость, — и чем ближе подъезжали они к кошарам, тем сильнее оно охватывало ее.

— Долго еще ехать? — спросила она.

— Волы — не птицы! — отозвался молодой аробщик и лукаво посмотрел на девушек, а одну из подруг Нальбике прямо-таки ожег горячим взглядом. Потом он показал шестом. — Вон, смотрите, кошары на гребне. Бедняги пастухи с ума сойдут увидев вас... Таких красавиц здесь не было от сотворения мира!

— Болтун! — сказала та, на которую он смотрел.

И тут они услышали песню: кто-то пел там, на склоне. Молодым и радостным был голос певца, будто все окрестные горы принадлежали ему. Овцы, торопливо щипавшие молодую травку, рассыпались по всему склону, а пастуха не было видно. Он пел любовную песню, и ласковый весенний ветер подпевал ему.

— Это наш пастух поет? — спросила Нальбике.

— Здесь кошары Айдарука, — ответил аробщик. — А если это его пастбища — то чьи же будут пастухи?

— И кто же из наших пастухов так хорошо поет? — не унималась Нальбике. Ей хотелось услышать имя Каншау: пел он — она не сомневалась.

— Как пастуха узнаешь по песне? — удивился аробщик.

Нальбике даже не подозревала, что у нее такой недалекий родственник. Как не узнать человека по песне? Не узнать по песне просто нельзя...

И тут с новой силой к ней подступил стыд. Позор: она ехала сюда, чтобы увидеть *его*. Не только не равного ей, но даже не имеющего своего коня! У этого нищего пастуха ничего не было, кроме хыджи¹. От злости на себя она сжала кулаки: такая она была беспомощная, глупая, потерянная. В пей рождались слова протеста, недовольства собой, вертелись на кончике языка, но произнести их Нальбике так и не смогла. «Поверни арбу назад!» — кричал ей этот голос, а она молчала.

В коше их встретил старый пастух Дебош. Он был свободным охотником и вместе с другими небогатыми горцами пас овец в кошнегере². Их кош всегда стоял рядом с кошами Айдарука.

Сказочный был он человек — охотник, каких мало в горах. Нальбике много слышала о нем,

¹ Хыджи — пастушья палка.

² Кошнегер — пастушеское товарищество.

часто видела в детстве. Но в последние годы Дебош в ауле не появлялся и не знал, что взбалмошная дочка Айдарука выросла в такую красавицу.

— Добро пожаловать! — приветствовал он путников, а про себя подивился: девушки в горах — большая редкость.

Потянулись в кош и другие пастухи. Пришел и Карча. Нальбике была почетной и уважаемой гостьей.

А потом была эта странная встреча с Каншау. Он пришел с ягненком в руках — черненьким, каракулевым, с белой отметиной на голове... И сам он — смуглый, стройный, со смеющимися глазами... Никто не подозревал о том, что с ней творилось. Нальбике стояла, прислонившись к плетню коша, пряча руки в длинной бахrome своей белой шали, словно уличенная в воровстве. И когда Каншау сказал тихо: «Добрый день, бийче», — она не смогла ничего ответить.

Но, кажется, он и не ждал от нее ответа. Вежливо поздоровавшись с другими гостями, Каншау вышел, грубо и бессердечно держа ягненка за передние ножки.

— Отпусти... отпусти ягненка, пастух! — крикнула Нальбике вслед ему.

Каншау, не оборачиваясь, бережно опустил ягненка на траву возле тревожно бляевшей овцы — видимо, его матери.

— Пойдемте посмотрим, какие у этого пастуха ягнята, — предложила Нальбике. Утихала предательская внутренняя дрожь, надо было совладать с собой. Она была здесь хозяйкой, что могут подумать люди? Если она хозяйка — так почему она дрожит? И Нальбике властно доба-

вила: — Отец мой добрый, а пастухи пользуются этим...

Но из затей Нальбике ничего не получилось. Вечерело, и черные ягнята сливались с темной. Каншау был занят — помогал новорожденным несмышленишкам найти своих матерей. Стало прохладно, и пришлось вернуться в кош.

На следующий день, когда Нальбике встала, стада в загоне уже не было. Она рассердилась и велела вернуть овец обратно, но их пригнал не Каншау, как она ожидала, а Карча — этот назойливый пастух с жадными глазами, всегда появляющийся тогда, когда тебе больно.

— А где тот, другой пастух? — спросила она в ярости.

— Пошел на охоту с Дебошем, — ответил Карча.

Нальбике было не узнать, так она осунулась за ночь. Ни слова больше не сказав, с палочкой в руке она направилась к стаду. Карча следовал за ней, ловил ягнят, на которых она указывала, и передавал другому пастуху. Тот резал их, сдирал шкурки и расстилал на траве сушиться, посыпав солью. В его сторону Нальбике старалась не смотреть.

В самый разгар работы она спросила у своего родственника:

— А женщина может быть охотником?

— Почему не может? — поспешил ответить Карча. — Женщина все может. Дебош говорил...

— Выгоняй стадо, — приказал ему родственник Нальбике. — Ты выгоняй стадо, ты! — И повернулся к бийче: — Зачем тебе эти разговоры с пастухами? Какие еще женщины-охотники?

— И что говорил Дебош? — спросила она у Карчи, не обращая внимания на родственника.

Карча посмотрел в его сторону, пожал плечами и пошел выгонять стадо.

День для Нальбике был окончательно испорчен.

Окруженная вниманием подруг и пастухов, она бродила по склону, собирая дикие цветы. Светлый и теплый день пропах горным лугом, радостные слова резвились вокруг, но ничто не трогало душу Нальбике, забившуюся в темную глубину, где было так холодно и неуютно...

* * *

Когда Каншау встал, солнце уже пряталось за горой. Быстро собрав свои нехитрые пожитки, он повесил хурджин на плечо. Насввшиея и отдохнувшие бараны теперь паслись не так жадно и не так широко рассыпались по склону. Зазвучал его привычный пастуший свист, которым Каншау направлял овец к хорошему лугу. А сейчас он звал их в путь. Но бараны, хоть и понимали это, сами спускаться не стали, а принялись жадно щипать траву. Каншау пришлось подняться на склон и выгнать их на дорогу.

Теперь он не пел, а задумавшись шел за стадом. Солнце уже совсем закатилось за гору, и воздух заметно посвежел...

Да, удивительным и неожиданным был приезд бийче на пастбище. Увидев гостей и издали узпав среди них *ее*, Каншау не поверил своим глазам и решил, что ему померещилось. Среди многочисленных преданий и сказок, рассказанных Дебошем, были и такие, которые Каншау слушал с замиранием сердца. Вот так же неожиданно являлись джишпы к пастухам в облици их любимых и губили несчастных. Истосковавшиеся от долгой разлуки с родным аулом,

пастухи шли за коварными джиннами, падали со скал в пропасти или совершали чудовищные поступки.

И он, как те пастухи из сказок Дебоша, тоже тосковал по женщине. Нальбике... Даже звуки ее имени были полны для него особого смысла. Ее лицо, ее глаза, ее голос всегда были вместе с ним — когда он ложился спать и когда пас овец. Все песни его народа, которые перепли к нему от Дебоша, были рождены для нее. Все ее слова, даже самые злые, за время их разлуки потеряли для него свою первоначальную колкость и стали добрыми, как будто были сказаны в час любовного свидания, и ласково звучали теперь в его ушах.

Чем дольше он не видел ее — тем сильнее становилась его тоска по ней. Взрослея, он понимал, что, кроме беды и крушения всей его жизни, эта любовь ничего не принесет ему. С самого начала он был обречен на одиночество и тоску. Каншау жил как в лихорадке: чем ясней становилась ему неодолимость преграды, разделявшей их, тем сильнее сжигала его любовь. Он мог многое преодолеть, но избавиться от любви к Нальбике не мог. Да и не хотел...

Однажды на охоте Дебош завел разговор:

— Не нравится мне твой хмурый вид. Не горе и не трудности заставляют джигита вздыхать в твоём возрасте... Скажи, чем больна твоя душа?

И Каншау рассказал ему все. Молча возвращались они с охоты. Мудрый старик не торопился с ответом и только в конце пути проговорил:

— Любовь — такое дерево, что никакую прививку не принимает...

И вот теперь его возлюбленная стояла перед кошем в окружении подруг и пастухов. Сначала ему хотелось со всех ног кинуться навстречу сбывшейся мечте. Бог есть, бог есть!.. — звучало в его душе. Он увидел его страдания, вложил в ее душу частицу такого же страдания — и вот она приехала...

Ослепленную и взбудораженную душу надо было успокоить, чтобы она сгоряча не натворила чего-нибудь безрассудного. Так, наверно, думали руки, когда схватили ягненка и прижали к груди. И помогло! Каншау пошел медленней, оглядываясь, несмело, но с достоинством. Приветствие его было нежным, затаенным.

А бийче не ответила ему!

Один лишь старый Дебош увидел, как больно стало Каншау. Здесь только он один умел заглянуть в душу, потому и увел его на другой день на охоту.

Каншау давно уже привязался к старику. Дебош мало говорил, но учил многому: и тому, что узнал сам, и тому, что знали люди до него. Счастье везде одинаково и любовь одинакова везде, — говорил он. Но если бедный человек наделен такой чуткой душой, как Каншау, — то телу его надо тянуться изо всех сил и научиться многому: лучше богатых скакать на коне, лучше богатых стрелять, лучше их петь, превосходить их в воспитании и вере. Иначе сбегать такую душу трудно...

Он повел Каншау в те места, где обычно паслись маралы. Было время окота маралов, а Дебош никогда не стрелял в них весной, и Каншау никак не мог понять, зачем они идут туда.

— Ты хочешь знать, есть ли в сердце девушки любовь? — спросил старик. — Ты узнаешь

это сегодня. Мы поймаем косулю и подарим ей. Если она любит — отпустит косулю, а если в ее сердце нет ничего — увезет с собой...

Позже Каншау видел, как счастлива была Нальбике. Смотрела благодарными глазами то на него, то на косулю, то на всех вокруг, словно не веря в это чудо. Косуля была красива дикой своей красотой: пугливо вздрагивала от прикосновения руки бийче, напрягалась, ища спасения. Нальбике же была опьянена радостью, этим неожиданным возвращением любимого. С утра испорченный для нее день — вечером стал вдруг счастливейшим днем ее жизни. Она прочитала в глазах Каншау страдание и боль, и душа ее отозвалась на это его страдание и эту его боль. И любовь ее — дикая, как эта косуля, и, как косуля, вздрагивающая от каждого прикосновения страха и неизвестности, — была чиста и первозданна.

Она поцеловала косулю в мордочку, в оба глаза, в уши, погладила по спине и тихонько развязала узел на ее шее...

* * *

Потянулись месяцы ожидания и страха. Надежда блуждала, как та отпущенная на волю косуля. И там, в ауле, и здесь, на пастбище. А осенью, когда Каншау впервые приехал в аул после той зимы, состоялся этот нелепый разговор в абрикосовом саду.

— Научи меня стрелять, — попросила она.

— Зачем это женщине да еще дочери Айда-рука?

Нальбике стояла, прислонившись к дереву. Душа ее вопрошала: «Почему ты не князь? Осанка твоя, манеры и слова — все княжеское...

Ну почему ты не родился князем? А теперь как мне открыться, что я люблю пастуха своего отца?»

Она молчала, и Каншау сказал:

— Можно подумать, что бийче нуждается в защите? За Айдарука и его семью многие готовы сложить головы...

Он говорил, а Нальбике упорно молчала. Станный это был разговор. «Умеешь ли ты любить? — допытывалась его душа. — Почему глаза твои горят таким родным огнем, а слова холодны, как снега Дых-Тау?» А с языка его слетали другие слова:

— Или бийче хочет научиться держать в руках ружье потому, что мужчины гор стали такими беспомощными?

— Разве стрелять — плохое дело?

— Не знаю... Для женщины, наверно, плохое. Если женщины начнут стрелять, каким тогда станет мир? Я бы своей сестре не разрешил.

— А мне брат разрешает, — соврала Нальбике. — И отец тоже. Я хочу делать то, что нельзя делать бийче.

— А я люблю тебя! — выпалил Каншау и добавил тихо: — Я хочу быть твоим рабом и дровосеком...

Белая шаль на голове Нальбике дрогнула, горячим огнем вспыхнули ее глаза. Голос Каншау зазвучал прерывисто и горько:

— Да, я не князь, и ты можешь смеяться надо мной. Но пусть твой князь полюбит тебя так, как я.

Она резко повернулась к нему, и в их разговор неожиданно, как горный ветер, ворвался ее несправедливый упрек:

— Почему ты такой злой? — Нальбике закрыла лицо руками, чтобы утаить свои слезы.

— Ты ударила меня в самое сердце. Ударила в сердце и теперь смеешься.

— Разве я нагайка, чтобы бить?

— Ты бийче и никогда не забудешь этого... Обижайся на меня, если я сказал дерзость.

«Я уже давно позабыла, кто я, — говорила душа Нальбике. — Ты мой князь, а я твоя рабыня...» А язык сказал:

— Почему я должна забывать, что я бийче? Для этого нет никаких причин... — И добавила сердито: — И почему я должна обижаться на тебя? Нет у меня никакого князя!

И она пошла домой — смеясь со слезами на глазах...

Нальбике сказала отцу, что хочет научиться стрелять из ружья, и попросила, чтобы он велел своему пастуху Каншау обучить ее. Айдарук поддержал каприз дочери и, взяв ружье, сам присоединился к ним. Он восхищался меткостью глаз и твердостью рук своего пастуха, радовался и даже гордился тем, что его дочь учится такому мужскому делу, и не спрашивал себя, зачем ей это понадобилось.

Передавая заряженное ружье, Каншау впервые коснулся руки Нальбике, впервые почувствовал ее дыхание на своем лице. Он боялся поднять глаза, горячим потом выступили на его лице стыд и счастье. В эту минуту не было на земле ни бедности, ни бесправия, и Каншау во всем был равен бию и его дочери.

— У Нальбике твердая рука, — похвалил он смело. — Видите, как метко она стреляет!

Нальбике счастливо засмеялась.

— Что ж, — сказал Айдарук, — теперь у ме-

ня в доме есть кому защищать честь рода. Покажет пример своему брату.

— И покажу! — отозвалась Нальбике. — Мой единственный брат всегда будет нуждаться в защите...

На этом месте своих воспоминаний Каншау вошел в аул, гоня перед собой полсотни баранов для пира по случаю женитьбы Шабатая, защищать которого вздумалось его любимой.

V СВАДЕБНЫЕ ДНИ

Как только вернулись джигиты, ездившие по аулам известить всех о женитьбе сына Айдарука и созвать гостей, приготовление к свадьбе пошло полным ходом. Съехались все родственники и друзья, украсили дом коврами, во дворе поставили столы. Особенно тщательно убрали комнату новобрачных. Айдарук был в ущелье самым состоятельным человеком и ничего не жалел для своего сына. Он долго ждал этого дня и готовился к нему. Теперь он сам проверил, как приготовлен угол для невесты, и велел повесить занавес не из простого материала, как делали обычно, а из дорогого шелка. По его распоряжению принесли самую мягкую подушку для стула невесты и лучший в доме коврик под ее ноги.

Были приведены в порядок все сараи. И столы установили не только во дворе, но и в саду. Гостей ожидалось так много, что дом со двором не смогли бы вместить всех.

Девушки из аула, приглашенные помочь, засучив рукава, мыли окна, двери, полы. Более

опытные женщины месили тесто и процеживали бузу¹. Акбийче, хозяйка дома, облачившись в самое дорогое свое платье из парчи, зорко следила за всеми приготовлениями.

Нальбике никогда особенно не увлекалась нарядами. И на этот раз она отказалась от всех своих дорогих платьев. Отвергла она и золотой нагрудник и золотой пояс, а оделась просто, как другие девушки из аула.

В саду в девяти местах резали быков, ставили на огонь большие котлы с мясом. Все кувшины, кумганы и медные тазы были начищены до блеска. За околицу поехали всадники — встречать гостей. В стороне от аула устанавливали мишени для состязания в стрельбе. А на берегу выбирали булыжники поудобнее и потяжелее для состязания по толканию камней. Туда же тащили скамейки для зрителей.

Айдарук волновался, может быть, больше всех, но ничем не выдавал себя. Сегодня, по случаю семейного торжества, он в белой черкеске. На нем пояс, отделанный серебром, и кинжал в золотых ножнах. Блестящие сапоги скрипят при каждом его шаге. На голове высокая бухарская шапка. Никто не сказал бы, что ему пятьдесят лет. Стройный и крепкий, он выглядит намного моложе своего возраста. Незнающему человеку трудно было догадаться, что гости собираются на свадьбу его сына — тридцатилетнего Шабатая. Легче было подумать, что женится сам Айдарук...

Первым из гостей приехал его двоюродный брат по отцу Шонтук с двумя дочерьми. На двух арбах были привезены подарки: четыре

¹ Буза — национальный хмельной напиток.

кувшина ячменного пива, еще четыре кувшина выдержанной больше года овсяной бузы, четыре мешка из бычьих шкур с пшеничной мукой. Замечательный желтогривый скакун с дорогим седлом был предназначен победителю на скачках. И вдобавок ко всему Шонтук привез с собой кунака — приземистого джигита богатырского телосложения по кличке Ёгюз¹.

Звали этого джигита Шабаз, он был из одного с Каншау аула, — молодой, но уже известный в ущелье борец. Немногословный, очень спокойный, он вырос без родителей, но своим независимым характером ничуть не походил на сироту. Мощный, быстрый в движениях, как Рачикау², он смолоду стал уважаемым человеком. Дружбы с ним искали и бедные и богатые. Борцовское крещенье он получил в Черекском ущелье, встретившись со знаменитым Отаром. Рассказывали: уже стареющий Отар, после первой же схватки с Шабазом, признал себя побежденным. Знаменитый борец предсказал ему большую славу.

Шабаз был обласкан князьями, и поскольку на празднества и торжества они не ездили без своих борцов, то он немало повидал в путешествиях с ними. И на этой свадьбе Шонтук многого ожидал от Шабазы, так как диогерский кунак Айдарука должен был привезти своего борца, а Шонтук знал, что диогерцы бороться умели.

Айдарук сам встретил двоюродного брата. Джигиты помогли ему сойти с коня, приняли арбы, распрягли волов. Шабаз легко поднимал мешки с мукой и тащил их в дом. Кувшины с

¹ Ё г ю з — бык.

² Р а ч и к а у — герой нартских сказаний.

бузой и пивом отнесли в сарай, пол которого был устлан свежим сеном и кошмой. По мере того как прибывали гости, сарай заполнялся бочками с пивом и кабардинскими яствами, бурдюками с маслом. Чем больше прибывало гостей, тем сильнее становился шум, и нельзя было понять, кто о чем говорит.

Под вечер приехали самые знатные гости. Из Диогера прибыл князь Иналук с женой княгиней Езегетхан. Но к великому огорчению Шонтука, он не привез своего борца. А Айдарук подумал: видно, и на родине Иналука беспокойно, иначе отчего же обычно словоохотливый князь был таким молчаливым?

* * *

Прошло уже три дня, как уехали за невестой. Чтобы познакомиться с новыми родственниками и, соблюдая все обычаи, увезти невесту из дома ее родителей, этого срока было достаточно, — и сегодня невесту ждали в доме Айдарука.

В ожидании гонцов, которые должны были сообщить о приближении свадебной процессии, Айдарук еще раз все осмотрел, нигде не нашел неполадок и удовлетворенно вздохнул. И все же полного покоя в душе таубия не было. Тревожили его уехавшие за невестой. Правда, таматдой отправился Шонтук, а тот знал свое дело хорошо. С дигизой — подругой невесты — тоже все сразу было ясно: это место по праву заняла старшая дочь Шонтука. Спорили только о товарище жениха, и, когда перебрали всех молодых родственников и приятелей Шабатая, выбор остановили на Мурае — сыне Ерюзмека.

Именно Мурай и вызывал теперь беспокойство Айдарука. Он знал, что Мурай неравнодушен к Нальбике и в ауле даже поговаривают о том, что скоро Айдарук породнится с Ерюзмяком. А Айдаруку давно уже был неприятен жадный Ерюзмяк, он и мысли не допускал о родстве с ним. Правда, Мурай мало походил на своего отца и считался лучшим джигитом в окрестных аулах. Недаром о нем говорили: «Не человек — огонь!» Но все равно душа Айдарука не лежала к их роду, и он не хотел приближать Мурая к своему дому. Однако в день семейного торжества он не стал противиться общему мнению, а теперь раскаивался в своей уступке...

Когда прискакали гонцы со знаменами, стреляя вверх из ружей, Айдарук, к своему удивлению, почувствовал вдруг холодную дрожь. Он даже не смог сразу шагнуть навстречу гонцам и принять поздравления. Все-таки он женил единственного своего сына. Правильно ли он выбрал новых родственников для Шабатая? Смогут ли они в это тревожное время стать ему опорой? Но, подумав, он решил, что не ошибся. Родители невесты, теперь его второй дочери, были известны не только в горах, но и в России. Они были состоятельными, да и взгляды их на жизнь во многом совпадали со взглядами Айдарука. «Нет-нет, — успокоил он себя, — если даже меня не станет, они не дадут Шабатаю сойти с правильного пути...»

Новые выстрелы заставили его встрепенуться. Послышалась свадебная песня — орайда.

Всадники, сопровождающие невесту, приблизились к аулу, — и тут дорогу им преградил большой завал из камней и бревен. Соорудили его аульские парни, чтобы остановить свадеб-

ную процессию и, по обычаю, получить ценные подарки. Еще не принимающие участия в свадьбе девочки, женщины с грудными детьми на руках, любопытные мальчишки и глубокие старики стояли на плоских крышах своих домов и глазели на величественную процессию.

Скачущий впереди всех с синим знаменем в руках Мурай осадил коня перед завалом и высыпал на головы парней горсть серебряных монет. И вторую горсть швырнул он, а потом вытащил пачку бумажных денег и одарил всех парней. Такая щедрость сына скупого Ерюзмека удивила всех: и тех, кто строил завал, и тех, кто ехал в свадебной процессии. Осознав, что проявляет расточительность, несвойственную их роду, Мурай и сам удивился. Но тут же, заметив довольного Шабатая, понял, что поступил правильно и дальновидно: теперь тот наверняка поможет завоевать ему капризную Нальбике...

Ошеломленные богатым подарком, парни быстро разобрали завал и пропустили фазтон, в котором сидела невеста. Уши коней, запряженных в фазтон, были повязаны красными, синими и белыми лентами, развевающимися по ветру. Их дополняли серебряные язычки в отделке сбруи. Белая шаль невесты, закрывая ее всю, лежала волнами, как снежное облако. По одну сторону невесты сидела ее дигиза — дочь Шонтука, а по другую — джигит в синей черкесске, родственник невесты, сопровождающий ее. А рядом с кучером восседала гармонистка.

Когда подъехали к дому, гармонистка заиграла так, словно приглашала всех в полет. И у всех, кто любил небо, кто имел слух, у кого были здоровые руки и ноги, — у всех вокруг сразу выросли крылья. А когда к окрыляющим

звукам гармонии присоединились протяжная и степенная мелодия свирели и горячее хлопанье в ладоши, — Мурай бросил знамя скачущему рядом с ним всаднику, встал на копе во весь рост и, широко разметав руки, пачал плясать на седле. Все, кто видел его таец, не верили своим глазам: он плясал на копе, будто парил в воздухе — высоко подпрыгивал, крутился вприсядку на седле, на пальцах ног прошелся вдоль всей спины коня, от головы до хвоста. И все это Мурай проделал, ни разу не сбившись в ритме танца, словно попал в свою родную стихию. Окончив танец, он ступил на гриву коня, взял знамя, высоко поднял его и первым въехал во двор.

Так пачалась свадьба Шабатая.

* * *

Скачки должны были состояться после обеда, но наездники еще утром съехались на место скачек и стали готовиться к состязанию. Хотя глаза у коней горели огнем нетерпения и они вставали на дыбы, перебирая передними ногами в воздухе, легкие джигиты, сидя на них, как орлы, не давали им нестись вихрем по полю. От злости горячие копи грызли удила и рыли копытами землю.

Среди наездников был и Каншау. Он готовил бурого жеребца Айдарука к скачкам. Каншау не знал еще, кто поскачет на жеребце, но ему хотелось, чтобы знаменитый жеребец Айдарука обогнал всех.

Ведя жеребца на поводу, Каншау придирчиво оглядел других наездников и их коней. Все кони были красивы и стройны, плохих тут не было.

— Красивее и умнее всех здесь ты! — сказал Каншау жеребцу, косящему па него все понимающим глазом. — Но чтобы прийти первым, мало быть легким и даже крылатым. Надо еще иметь сердце... — Он вскочил па копя и пустил его размяться по склону.

Каншау был уверен, что па буром поскачет кто-нибудь из рода Айдарука. Но близился полдень, а наездника все не было. Среди соперников же, песомненно, самым сильным был Мурай. Он пришел позже других наездников и в окружении нарядных девушек, желающих посмотреть па скачки. Усадив их на удобные места, он легко вспрыгнул на своего коня и пустил его вскачь. Поравнявшись с Каншау, Мурай небрежно спросил его о том, кто будет скакать па буром и хорошо ли подготовлен конь к скачкам. Каншау ответил, что о наезднике ничего не знает, а как подготовлен бурый — покажут скачки.

— Ну, смотри! — бросил Мурай угрожающе и ускакал.

«Великолепный у тебя конь, — подумал Каншау, провожая сына Ерюзмека равнодушным взглядом. — Ноги тонки, уши остры, а дрожь в паху издадека видно...» И вдруг в нем вспыхнуло желание потягаться с Мураем, доказать ему и всем вокруг, что он ни в чем ему не уступает. Он припомнил, как в дни свадьбы Мурай крутился возле Нальбике, как старался угодить Шабатаю, как много в нем буйного мужества и порой прорывающейся ласки. Еще вчера, когда Айдарук поручил ему подготовить бурого к скачкам и даже сегодня утром, когда Каншау приехал на место скачек, у него и в мыслях не было принять участие в состязани-

ях. Каншау понимал: без своего надежного коня нечего и мечтать о победе на скачках. А скакать просто так не имело смысла. Но нахлынувшее вдруг желание потягаться с кичливым соперником отогнало все эти благоразумные мысли, и теперь Каншау лихорадочно искал, как бы ему помериться силами с Мураем.

Среди девушек, пришедших посмотреть на скачки, была и Нальбике. Когда Каншау встретился с ней взглядом, вся кровь отхлынула от его лица. В эту секунду он почувствовал себя мальчишкой на побегушках. «Вот сейчас придет Айдарук, приведет своего наездника, который толком и не знает бурого, и скажет, ласково улыбаясь: «Каншау, отдай ему коня и благослови его». И во рту у Каншау разом пересохло, а ноги его онемели. Пересилив себя, он пришпорил бурого. «Ну что ж, значит, так написано у меня на роду, — попробовал он успокоить себя. — О чем мне жалеть? На моей свадьбе скачек не будет...»

Устав от этих горьких дум, Каншау хотел прогнать их прочь, но они никак не уходили и ему самому некуда было от них деться. А гости уже прибывали, становилось шумно и жарко. На камнях, на острых выступях скал, на деревьях сидели люди. Состоятельные приезжали верхом и располагались вдоль пути следования наездников.

— Пусть будут прокляты эти скачки! — вырвалось у Каншау. — Проклинаю тот день, когда приехал сюда...

«Выше голову, выше голову», — услышал он чей-то голос. Рядом никого не было, никто не знал, что творится в его душе, а голос, ободрая, звучал в ушах Каншау.

Но и Каншау заупрямился: «Брошу сейчас коня и уйду в горы. Больше никто меня здесь не увидит... А Нальбике пусть выходит замуж за Мурая. По крайней мере, ей не придется тогда стыдиться своего мужа...»

Он спрыгнул на землю, долго распутывал повод. Конь фыркал и смотрел на него добрыми, преданными глазами. А голос не унимался: «Выше, выше голову!..» Каншау натянул повод, привязал его к седлу и толкнул коня в шюю. Но бурый не сдвинулся с места. В ярости Каншау ударил его в пах нагайкой. Конь напрягся от боли и с укором посмотрел на Каншау влажными глазами, не понимая, за что его бьют. Каншау снова поднял нагайку, но вместо того, чтобы ударить, обнял голову коня, прижался к ней щекой и заплакал — бесшумно, горько...

— Эй ты, жеребец, чего жеребца обнимаешь? — услышал он голос Мурая за спиной. — Что ты ему шепчешь? Или хочешь послать сватом к кобылам?

Каншау не обернулся, не ответил. Лишь сильнее прижался щекой к голове коня, сильнее стиснул кулаки, сильнее зажмурился...

— Джигиты, все ли готовы? — донесся до него голос осетинского гостя.

— Все... все готовы, — вразнобой отозвались наездники.

Каншау вытер глаза, глубже надвинул шапку, отвязал повод от седла и медленно пошел, ведя бурого за собой.

— А кто у тебя будет скакать? — обратился Иналук к Айдаруку. — Я главный судья скачек, а до сих пор не знаю.

— Разве Илячина нет здесь? — удивился

Айдарук. Оглядевшись вокруг, он увидел Каншау, спокойно ведущего жеребца, и воскликнул обрадованно: — Вот оц, мой орел! Посмотри, какая у него шея!

— А кто поскачет на нем? — повторил вопрос Иналук, одобрительно оглядывая Илячина.

— Кто же? — Айдарук озабоченно обежал глазами своих родственников и поморщился, не найдя среди них ни одного наездника, достойного скакать на таком коне, как Илячин. — Кто же, черт возьми?!

В свадебной суматохе он совсем упустил из виду, что вместе с конем надо готовить и наездника. А теперь было уже поздно. Выручить его мог только один Каншау.

— На Илячине поскачешь ты, — сказал ему Айдарук, когда тот подошел ближе.

Каншау не поверил своим ушам и онемел от радости. Он и надеяться не смел на такую удачу!

— На что это похоже? — возмутился Ерюз-мек. — Опозорить весь род!

— Род на месте, — возразил Айдарук, пряча свою оплошность и давая понять, что в решении, принятом им сейчас, нет ничего неожиданного. — Каншау мне как сын, — сказал он, повысив голос. — И я считаю его своим сыном... А скакать должен тот, кто умеет сидеть на коне!

Он говорил так властно, что все, зашумевшие было, сразу приумолкли, не смея с ним спорить.

— Айдарук правильно поступает, — поддержал его Адыхам парочито громко, разглядев в этом поступке бия тайный смысл. Похоже, Айдарук согласился-таки с ним сделать Каншау

тем самым деревянным клипом, который в это неустойчивое время расколется единство братьев. А этот случай на скачках даст хорошую зацепку говорить о равенстве таубиев и бедяков, — Каншау тоже человек, — добавил Адыхам еще громче прежнего, — и притом человек замечательный!..

Вот так случилось, что Каншау сел на Илячина и присоединился к всадникам, изнывающим от нетерпения. Иналук еще раз оглядел их всех, высоко поднял паган и выстрелил.

Всадники долго скакали плотной кучей, безуспешно стараясь обогнать друг друга. Но через несколько кругов вперед вырвался ерюзмековский скакун с Мураем. «Вот и все, — подумал Каншау. — Разве обгонишь такого ловкого джигита, который тащует на седле, как на ровном полу?» Но на ближнем повороте, разглядев, как Мурай суетливо торопится и прищипривает коня, Каншау понял, что тот не придет первым. «Неужели Мураю неизвестно, что от частых ударов поги коня немеют?» — удивился он и сильнее прижался к гриве Илячина.

Каншау хорошо узнал бурого жеребца, когда выгуливал косяк лошадей на пастбище. Хвалил Илячина и старый Дебош — большой знаток коней. В каждом настоящем скакуне, говорил он, глубоко и крепко сидит дух первенства, яростное желание обогнать всех. И на скачках не кнут и шпоры, а эта ярость дает скакунам крылья... А Мурай, судя по всему, и понятия не имел об этом.

Наверно, трудно и даже невозможно узнать все повадки коня, если скакать на нем лишь время от времени, а не пасти его каждый день,

не чистить, не мыть в ручье, не делиться с ним доверчиво всеми своими тревогами и надеждами. И Каншау почувствовал свое превосходство над Мураем. Спору нет, тот — ловкий джигит, а вот душу коня не понимает. Да и как ему понять, если для Мурая конь не живет на свете сам по себе, а лишь существует для его услады? И хоть нелегко научиться танцевать на седле, но для коня это всего лишь забава — и доверия его этим не купишь. И выходит, пастух всегда должен быть лучшим наездником, чем бий. Что ж, у каждого сословия свои преимущества! И Каншау понял, что теперь он просто обязан обогнать Мурая — и не только ради себя и своей любви к Нальбике, но и ради всех пастухов на свете.

Острее прежнего ощутил он свою вину перед Илячином.

— Прости меня, бурый, — шепнул он коню. — Я запутался и ударил тебя, невиноватого. Потом я отплачу тебе лаской... А теперь скачи, даю тебе полную волю.

И Каншау готов был поклясться, что жеребец понял его. Понял, простил великодушно и рванулся вперед изо всей своей ярости, о которой говорил когда-то Дебош. Их опережало четверо всадников, не считая Мурая, и бурый стал обходить их одного за другим. Обезумев от соперничества, скакуны неслись, словно не касаясь земли ногами. Вот и суетливого Мурая, молотящего своего коня нагайкой, обошли они с Илячином.

Каншау не оглядывался, чтобы не сбить вольного полета коня. Душа его ликовала. Он не видел земли под копытами Илячина, не различал людей по бокам дороги: лица их сли-

лись в одну сплошную белесую полосу, реву-щую от восторга.

— Да, нет коня, равного бурому жеребцу, и нет наездника, равного Каншау, — признал Иналук. — Посмотрите, как они дополняют друг друга, будто это одно существо. И не на ногах коня мчатся они, а на крыльях!

Ерюзмек услышал, как осетинский гость похвалил не его скакуна, а жеребца Айдарука, и побагровел от злости. Он был уверен, что желтогривый скакун, привезенный Шонтуком для приза победителю на скачках, достанется его сыну Мураю. И теперь он злился и на своего коня, и на бурого жеребца Айдарука, и на Мурая, а больше всех на Иналука, похвалившего Каншау, не дожидаясь конца скачек. «Силы у моего черно-бурого еще есть!» — убеждал он себя, надеясь на чудо.

Но чуда не случилось — и Каншау с Илячином пришли первыми.

И только теперь Каншау увидел, что Илячин покрыт пеной. И счастливую Нальбике увидел он в толпе. Это был его самый радостный день. «Может быть, второго такого в моей жизни не будет», — подумал он, сходя с коня. Его ждали, а он не осмеливался подойти к старшим, все еще не до конца веря в успех и свое счастье, боясь услышать слово, которое могло бы омрачить этот радостный день.

А там, возле главного судьи скачек Иналука, таубии и гости спорили. Нелегко было им признать, что этот великолепный наездник — простой пастух и желтогривого скакуна с дорогим седлом придется в такой торжественной обстановке присудить батраку. В глубине души и сам Айдарук жалел об этом. Нет, он не считал

Каншау недостойным и искренне был рад, что тот отличился. Но он хотел, чтобы этот приз получили кто-нибудь из другого ущелья, — пусть и там говорят о свадьбе Шабатая, вспоминая ее каждый раз при виде желтогривого. Если бы победителем стал паездник из его рода, он так бы и сделал: подарил бы призового коня гостю из другого ущелья. Но и Каншау обидеть Айдарук тоже не мог. Да и разговоры тогда поймут недобрые: будто бы таубии не считают простых людей достойными дорогого приза...

Когда Каншау подошел с несколько виноватым видом, ведя Илячина за собой, его, по настоянию Айдарука, равнодушно встретили, похвалили и поздравили. Каншау все это принял молча: младшие перед старшими молчат. И в ответ лишь сказал:

— Я — что, поздравления заслужил Илячин. Скакать на нем — все равно что лететь.

— Желтогривый скакун Шонтука твой, — заключил Иналук, довольный его скромностью. — Бери его и живи долгие годы.

Борец Шабаз вручил ему повод желтогривого и шепнул:

— Молодец, доказал, что бедняки не хуже таубиев могут скакать на коне. Я тебе всегда буду другом...

Каншау и ему не смог ничего ответить толком. Молча сел он на желтогривого, взял еще не успокоившегося после скачки Илячина под уздцы и тронулся с места. Но тут же остановился, заслышав голос Айдарука:

— Скачки кончились, теперь надо бы показать конные игры. Я хотел бы, чтобы ты еще раз порадовал гостей своим искусством. Заодно посмотрим, что за конь этот желтогривый.

Не сказав ни слова, Капшау бросил Шабазу повод Илячина и вихрем пронесся мимо восхищенных гостей. Желтогривый конь был незнаком Капшау, но он сразу увидел, что тот побывал в умелых руках и прошел хорошую выучку. И Капшау смело доверился ему, как будто знал его давно. У него было такое чувство, что желтогривый приходится дальней родней Илячину, — может быть, его троюродный лошадиный брат...

На середине площади Капшау остановился и несильно ударил кося пагайкой. Желтогривый рванулся, и Капшау начал выполнять упражнения джигита — одно трудней другого. Он скакал стоя, сидя, лежа, висел на шее кося, переходил через бедра, на скаку снимал подпруги и переоседывал желтогривого. Гости хлопали в ладоши, кричали, требовали от Капшау все новых и новых упражнений.

Одна лишь Нальбике стояла опемев, закрывая глаза белой палью каждый раз, когда он выполнял что-нибудь особенно опасное. Она и радовалась и боялась. В глубине души Нальбике гордилась своим избранником, но в те минуты, когда Капшау делал безумные петли, забыв обо всем на свете, чувствуя только послушного кося и счастье полета, она сердилась и ругала его. Ведь каждое неверное движение могло обернуться непоправимой бедой — и тогда ничто не утешило бы ее горе. Да и сама эта лихая игра, которой прежде Нальбике, как истинная горянка, всегда восхищалась, на этот раз предстала перед ней бессмысленной мужской затеей, придуманной лишь для того, чтобы женщины волновались за своих любимых...

Едва Капшау закончил упражнения, как

на площадь ворвался на копе Мурай. Теперь Нальбике не закрывала глаз и наблюдала за игрой Мурая безмятежно, даже с явным восхищением. «Видит бог, он владеет копом, и смелости ему не занимать, — решила она благосклонно. — Но все равно он никогда не вытеснит из моего сердца Каншау. Пока дышу...»

Чтобы Нальбике лучше разглядела его искусство, Мурай держался поближе к ней. Но вместе с тем он, несомненно, был и мужественным джигитом, лихим и отчаянным в своей преданности конной игре. Может быть, он даже с большим мастерством повторил все то, что показал Каншау, и главное — не остановился на этом, пошел дальше. Когда на полном скаку он встал на голову на крупе копя — вся площадь ахнула и затаила дыхание. А Мурай проскакал так целый круг и снова как ни в чем не бывало вскочил в седло, — и восторженный рев прокатился по всей долине. «Вижу, ты самый лучший джигит во всем нашем ущелье, — признала Нальбике. — И здесь тебя не в чем упрекнуть. Нет, наверно, девушки, которая сейчас не влюбилась бы в тебя, а я вот не могу. Сердце мое отдано другому, и если ты настоящий джигит, пойми это...»

И Каншау честно признал бы превосходство Мурая над собой в конных играх, если бы тот не вертелся все время возле Нальбике. А теперь это очевидное для всех превосходство соперника повергло его в уныние. «Кто помешает Мураю жениться на Нальбике? По общему мнению, он достоин дочери Айдарука, и никаких непреодолимых преград перед ним не стоит, не то что передо мной...» И каждый раз, когда Мурай приближался к Нальбике, в душе

Каншау вспыхивало такое чувство, будто тот хочет украсть ее у него. Рассудок советовал ему не смотреть в ту сторону, но белая шаль Нальбике, как магнитом, притягивала к себе его взгляд.

Глядя на победоносную игру Мурая, Каншау подумал: все дело в том, что сыпку бия не надо работать. Пока Каншау рубил дрова и пас чужих овец — Мурай выдумывал замысловатые упражнения и оттачивал каждый свой шаг, каждый взмах руки. Ну и в природной ловкости ему, конечно же, не откажешь. Авдобавок Мурай привык первенствовать во всем и ради того, чтобы всемирно отличиться и доказать свое превосходство над другими, готов сломать себе шею, — особенно сегодня, после поражения на скачках.

Когда кончились копыные игры, платок, предназначенный для победителя, привязали к шее коня Мурая. Он не спеша проехал круг почета, чтобы все могли вдоволь налюбоваться им, остановился около девушек, снял с шеи коня платок, бросил его Нальбике и ускакал...

На следующий день гостей ожидали новые состязания: стрельба, толкание камня и борьба. Когда все желающие участвовать в состязаниях разбились на группы, Нальбике попросила, чтобы и ей разрешили стрелять. Ее желание вызвало переполох. По стародавним обычаям это было недобрым предзнаменованием: уж если женщина взяла ружье — не миновать народу беды.

Другую женщину и близко не подпустили бы к стрельбищу, но Нальбике отказать не посмели: она была дочерью Айдарука и сестрой Шабатая. Ей вручили заряженное ружье, и она

стала прицеливаться — спокойно, закрыв правый глаз, как учил ее Каншау. Все удивились ее умению держать оружие. А Нальбике, не обращая внимания на любопытных мужчин, сгрудившихся вокруг нее, плавно нажала на курок и, не интересуясь, куда попала, попросила, чтобы ей еще раз зарядили ружье. И вторым своим выстрелом она попала в круг. Чтобы до конца испытать себя, она решила выстрелить и в третий раз. «Первая пуля за Каншау, — загадала она, тщательно прицеливаясь, — вторая за отца, а третья за... — И выстрелила. — За себя...»

Для всех гостей было открытием: Нальбике ничуть не отстала от лучших стрелков-мужчин, и все три ее пули попали в самый малый круг. Она заставила говорить о себе и тем отблагодарила Каншау, который научил ее метко стрелять.

VI

ПРЕРВАНЫЙ ТАНЕЦ

В эти свадебные дни Ерюзмековы заговорили о своем желании породниться с Айдаруком. Пока гости не разъехались, пока Айдарук был в хорошем расположении духа, они решили «открыть двери». Узнал об этом Каншау, узнала и Нальбике.

А Каншау не мог послать сватов в дом Айдарука. Не мог он просить бия, чтобы тот отдал свою дочь за батрака. Мучительно ища выход и не находя его, он отчаивался, чувствовал себя как никогда прежде одиноким и беспомощным. Сердце его просило полета, мужест-

во его требовало действия, а он, как птица со сломанными крыльями, не мог оторваться от земли.

И Нальбике, до появления в доме сватов от Ерюзмека, не допускавшая и мысли, что кто-то так просто, мимоходом, может решить ее судьбу, теперь вдруг усомнилась. После женитьбы брата и после появления сватов она поняла, что от нее самой ничего не зависит. Ее добрый, умный, справедливый отец, прежде всегда исполнявший все ее капризы, теперь, выдавая ее замуж, даже спрашивать ничего не станет — как не стал спрашивать у своего сына, на ком тот хочет жениться. Поехал сам, посмотрел невесту и засватал. И Шабатай увидел свою жену только в час брачной постели. А с нею могут обойтись и того хуже.

А потом до нее дошла весть, что отец ответил сватам хотя и неопределенно, но почти обнадеживающе. И Нальбике почувствовала себя так, будто очутилась в лесу после пожара — нет ни одного уцелевшего дерева, ни одной травинки, ни одной птицы... Пусть у отца не было оснований отказать Ерюзмеку, а что делать ей? Воспротивиться этому браку? Но она просто не имела права не согласиться: этим она причинит боль матери и отцу, ответит неблагодарностью на их родительскую заботу. Бежать? Но куда? Оскорбленный Айдарук отречется от нее, а не менее оскорбленный Ерюзбек будет преследовать Капшау и не успокоится, пока не погубит его. Что же ей делать, что?! Куда прислонить голову, кому сердце открыть?

Иной раз, устав от этих безысходных дум, Нальбике завидовала простым девушкам из

аула. «Лишенные многого, чем владею я, они в большинстве случаев выходят за своих любимых. На работе, на чужих свадьбах они имеют возможность возвращаться в кругу царней и узнавать их. А мы, дочери биев? Может быть, один раз в году бываем на свадьбе и там не имеем права говорить, смотреть куда хочется, смеяться. Да разве такое возможно? Если увидят бийче смеющейся или разговаривающей с кем-нибудь, — тут же осудят ее, сочтут неблаговоспитанной. Так недолго и позору войти в дом таубия...»

Пожалуй, Нальбике и не должна была думать так о себе самой. Ей многое позволяли в доме, и еще больше она сама позволяла себе. Но, обладая трезвым от природы умом, Нальбике хорошо понимала, что все это до поры до времени. И сейчас как раз на нее надвигалась эта роковая для нее пора.

И как настойчиво ни пыталась она примирить свою любовь с бесправным своим положением — ничего у нее не получалось и впереди ничего хорошего не предвиделось. Неосознанная вначале и вдруг ставшая ей такой необходимой любовь оказалась теперь между двумя мирами, и моста между ними не было. Первый мир — мир отцов и традиций, мир чести и славной гибели — не отвечал ее новым жизненным устремлениям, и Нальбике не было туда пути. Для этого мира она была дурочкой-бийче, влюбленной в своего батрака, а такое в этом мире не прощается. Другой мир — мир простых и честных людей — не мог защитить ее любовь. У этого мира было много своих забот, своих несчастий, своей силы и своего бессилия. Этот мир, вздумай он приютить ее у себя, мог впасть

в немилость мира сильных. Поэтому и туда Нальбике пути не было.

Перебрав все свои возможности, Нальбике поняла, что у нее остается единственный способ сохранить верность Каншау. Она должна была убить свою любовь к нему. Но это значило — убить себя...

Своей честностью и редким даром сочетания силы и благородства Каншау был очень похож на самого Айдарука. И молчаливый поединок между отцом и ее братом насчет места Каншау в дни свадьбы не случайно решился в пользу отца. Вообще в нынешнее трудное время глупо было бы пастраивать против себя такого преданного их дому человека, как Каншау. Впрочем, судьбы мира мало интересовали Нальбике, и она ничего не понимала в происходящем. Ее приучили думать, что женщины это вовсе ни к чему. Однако, размышляла она, было бы лучше для всех, если бы, не кичась своим положением, таубини и прочие белоручки жили в согласии с народом. Порой ей казалось, что и отец думает так же, но мужчины не любили делиться своими сокровенными мыслями с женщинами, и Айдарук не был исключением.

И совсем неожиданно, сама того не сознавая, Нальбике первая пошла войной против своего рода, против всего того, что в последнее время мучило ее...

Свадьба близилась к концу. Гости, далекие и близкие, подняв последние тосты, высказав последние пожелания, покинули дом, и на дворе состоялся прощальный той. Измученная бесконечными думами и недосыпанием, Нальбике стояла среди девушек и не замечала, кто танцует и в честь кого стреляют. В забытьи, будто

сквозь сон, она услышала имя Каншау и встре-
пенулась. Кто-то вытолкнул Каншау в середину
круга и пастойчиво просил танцевать. И тут
же она слышала злой голос:

— Клянусь, этот жалчи Айдарука не знает
своего места. Даже позабыл, что он из кара-
халка!..¹

«Какие злые слова, — подумала Нальбике. —
Есть среди гостей бессердечные люди. Как мож-
но прямо в глаза сказать такое?»

Каншау расправил руки, как крылья, и про-
шелся внутри круга, ища себе девушку для тан-
ца. С ним пошла бы любая из стоящих здесь де-
вушек — какое удовольствие потанцевать с та-
ким джигитом! Но Нальбике вдруг решила, что
она сама должна танцевать с Каншау. Никто,
кроме нее, не имеет права танцевать с ним! Мо-
жет быть, это единственный их танец во всей
жизни...

И, не думая о последствиях, Нальбике шаг-
нула в круг навстречу Каншау. Но это было уж
слишком! И без того немало горя причинил
жалчи Каншау сыну Ерюзмека. И допустить
этот новый позор Мурай просто не мог. Он пу-
лей влетел в круг, встал перед Нальбике и, не
обращая внимания на Каншау, будто его тут и
не было, начал танцевать. Каншау схватился
за книжал. Друзья Мурая набросились на него,
крепко стиснули, не давая пошевелиться, и вы-
вели из круга.

Мурай танцевал, упиваясь своей лихостью и
делая вид, что ничего особого не произошло.
А Нальбике не понимала: танцует она или сто-
ит на месте. Руки и ноги были как не свои, мы-

¹ К а р а х а л к — простой народ.

сли в голове путались. Поступок Мурая и его друзей предстал перед ней во всей своей подлости. Она еще не знала, что сейчас сделает, но была уверена, что сможет доказать свою любовь к Каншау и отомстить его обидчику. А пока она пошла танцевать, скрывая лицо под белой шалью, чтобы Мурай раньше времени ни о чем не догадался.

Люди вокруг кричали, стреляли из ружей в честь Мурая и бийче. Гармонистка играла стоя, в ладоши хлопали все — молодые и старые. А Нальбике ничего не слышала, сбивалась в танце и сбивала Мурая.

— Сейчас поймешь, что значит быть оскорбленным, — шептала она, пряча лицо под шалью. — Сейчас будешь стоять, не смея от позора поднять свою гордую голову... Сейчас... Сейчас...

И в разгар танца Нальбике ушла из круга, бросив Мурая. Она знала, что по горским понятиям большего позора для джигита нет. Но ей хотелось, чтобы и Мурай испытал то, что по его воле пришлось испытать Каншау.

Вокруг все разом затихло, померкло. Кажется: застыв от удивления, люди превратились в камни.

Опозоренный Мурай целую минуту просто-ял неподвижно, все еще не веря, что его на самом деле бросили посреди танца. Потом палитыми кровью глазами Мурай посмотрел вокруг и рванулся прочь из круга, нетерпеливо раздвигая лес человеческих тел. Он с разбега вскочил на своего коня, отчаянно огрел его нагайкой и перепрыгнул через плетень. Но, проскакав всего лишь с десяток шагов, он осадил коня, вытащил маузер, вернулся и стал искать кого-то в

толпе. Но тот, кто был нужен ему, не попался на глаза.

Мурай заметил серебряный полумесяц на крыше дома Айдарука и выстрелил в него. Полумесяц рассыпался, осколки покатались по железной крыше. И еще раз он выстрелил в небо. Большой черный ястреб, дергаясь всем телом и чуть шевеля раскинутыми крыльями, упал во двор. Подстреленный ястреб никого к себе не подпускал, а вздумавшим подойти к нему угрожал крыльями и хищным клювом. Вскоре он умер. А Мурай все искал — теперь уже тоскливыми глазами — того, кто был ему нужен сейчас больше всех на свете. Но так и не нашел. И тогда он еще раз сильно огрел коня и, не сказав ни слова, ускакал.

Шабатай не видел опозоренного Мурая: он прибежал во двор, когда того уже не было здесь. Почерневший от гнева, он схватил Нальбике за волосы и поволок в дом. Там он бросил ее на пол и стал бить кулаками. Нальбике не плакала, не просила прощения. Разъяренный Шабатай рванул на себя спинку деревянной кровати, оторвал ее и стал бить сестру доской. А Нальбике под его ударами радовалась, что все-таки отомстила за Каншау. И вдруг ее поразила мысль: ведь и его могут наказать, даже убить. Она попыталась встать, но от сильного удара упала и потеряла сознание...

Все произошло так быстро, что старшины рода и аула и все гости, бывшие на тое, не успели ничего предпринять. И лишь когда взбешенный Шабатай так грубо увел в дом Нальбике, все засуетились. У кого был конь — на коне, у кого его не было — пешком поспешили за Мураем. Из дома выбежал обезумевший Ша-

батай, оттолкнул гостя, седлающего коня, сам вскочил в седло и поскакал.

Скоро он опередил всех и увидел Мурая. Тот стоял на краю скалы, спиной к пропасти. А подскакав поближе, Шабатай разглядел, как Мурай поднес маузер к виску. Конь Шабатая скакал по каменистой дороге, искры летели из-под копыт. Но крик его летел еще быстрее:

— Мурай, не губи себя! Мурай!..

И тут грянул выстрел. Шабатай соскочил с коня и побежал к Мураю. Тот еще стоял, раскачиваясь из стороны в сторону. «Может, не он стрелял?» — подумал Шабатай. Снова грянул выстрел. «Оп!» Мурай полетел в пропасть, словно прыгнул с малой высоты. Задыхаясь, Шабатай подбежал к краю пропасти и успел увидеть падающего Мурая.

— Безумный, безумный! — застонал он.

Он видел, как Мурай упал в Черек. Торопясь принять его, бурная река распахнула волны-двери и так же торопливо закрыла их — и не стало Мурая. «Я не мужчина, если не отомщу!» — поклялся Шабатай и, не ища тропинки, стал напрямик, отчаянно спускаться к реке.

Подоспевший Адыхам послал одного из джигитов гонцом в аул известить о несчастье. А сам пошел вниз, выискивая тропинку среди скал. Когда он вслед за Шабатаем спустился к реке, то увидел наполовину втиснутого сильным течением в щель окровавленного Мурая и плачущего над ним Шабатая. Самоубийца, наверно, хотел, чтобы тело его не нашли, и выбрал самую глубокую пропасть, куда взор человека был не в силах проникнуть. Но река еще не успела толкнуть его тело в расщелину, и в прозрачной воде лежал великолепно одетый джигит — злой

и отрешенный в своей тоске от всего земного, однако с ясным выраженным исполненного долга на лице — как он его понимал...

VII

СЕМЕНА НЕВЗОШЕДШИЕ

Когда Каншау вернулся в кош, Карча встретил его неприветливо, ничего не спросил, даже не поинтересовался, откуда у него такой дорогой конь. Насупившись, как небо перед дождем, он пошел к стаду. Каншау сказал вслед ему, что сменит его, а Карча ответил, не оборачиваясь:

— Очень скоро я совсем оставлю тебе все стадо. Так что будет возможность отблагодарить Айдарука за приглашение на свадьбу.

Каншау видел, что Карча все больше скатывается к открытой вражде. И еще ему стало ясно, что за время свадьбы Карча передумал здесь многое.

Все это время Карча страдал от злости, не имея силы простить обиду. Он сознавал: обижаться на то, что таубий не пригласил на свадьбу своего батрака, — глупо и бессмысленно. Но, с другой стороны, пригласил же он Каншау, который, видит бог, меньше Карчи заслуживал этой чести. Как-никак он пятнадцать лет подряд пас овец Айдарука, умножал его богатство, не щадя себя. А в день большой радости его почему-то оставили в стороне.

Будучи от природы человеком мелким и завистливым, Карча не понимал, что кроме ослиной работоспособности, надо еще иметь в запасе слово, чтобы вовремя его сказать, мужество,

чтобы его проявить. И никакого превосходства Каншау над собой он не находил. Правда, этот Каншау был красив собой, сообразителен, ничего не боялся. Но что тут такого? Разве он сам не владеет всеми этими качествами? Конечно, владеет, вот только люди почему-то этого упорно не замечают. Уверив себя в этом, он стал негодовать на окружающих его людей. Но все-таки больше всего злился он на Каншау, который приехал в кош неопытным сопляком, а живя рядом с ним, перенял у него все знания па-стуха и теперь ходит в героях.

А вернувшись на лошади, Каншау нанес ему еще один удар. «Ишь ты, ушел пешком, а вернулся на коне, — подумал он завистливо. — Везет же людям...»

И теперь Карча стал с новой силой завидовать Каншау. На него навалилась внезапная бессонница, и долгими ночами он мысленно перевоплощался в Каншау, носил его одежду, его мысли, его имя. Став им, Карча видел рядом с собой Нальбике, ощущал ее тепло, ее ласки, ее дыхание. Его имя звучало везде — скалы приветствовали его, люди восхищались им. А когда проходила ночь и наступал день, он снова становился Карчой и чувствовал себя таким маленьким, таким ничтожным, что весь белый свет казался ему темницей.

В один из таких дней он окончательно решил уйти от Айдарука. Батрачить ему оставалось немного, а за пятнадцать лет своей работы он должен был получить не один десяток овец. Почему бы ему и не уйти теперь и не поставить где-нибудь свой кош? С его трудолюбием и бережливостью он сможет в несколько лет догнать в богатстве самого Айдарука. Вот тогда все за-

говорят о Карче! А такие, как Каншау, пойдут к нему батрачить. Пусть попробуют тогда не считаться с Карчой... И он решил уйти, хотя до свадьбы Шабатая подумывал остаться еще на пять лет у Айдарука...

Однажды, уже осенью, в коп приехал Айдарук. Он был приветлив и привез гостинцы чабанам. Но в глазах его чувствовалось какое-то смятение, тоска. «Что-то тяжелое носит он в сердце, — подумал Каншау. — Потому и озабочен». Но спрашивать не стал.

— Я хотел отпустить тебя домой, — обратился к нему Айдарук. — Давно ты не видел своих родителей, да и они соскучились по тебе... Выбери барашка пожирней и поезжай. Погости дома...

Каншау не удивился: такое было уже не в первый раз. Но сегодня Айдарук был совсем другой — подавленный, равнодушный. И говорил измученным голосом.

— Что-то случилось с тобой, Айдарук, — сказал Каншау. — Могу ли я узнать, что мучает тебя?

— Неважно себя чувствую. Потом расскажу тебе.

Каншау не настаивал. Почувяв что-то неладное в доме Айдарука, он насторожился, но спросить о Нальбике не посмел.

Он стал собираться в дорогу, а к Айдаруку подошел хмурый Карча.

— Срок мой истек. Если тебе не трудно, считай положенных мне овец и отпусти.

— Знаю, знаю, Карча, — отозвался Айдарук. — Вот вернется Каншау, и я сразу же отпущу тебя.

Карча не осмелился возразить ему, но не-

довольства своего не скрыл. Айдарук молча сел на коня и уехал вместе с Каншау. По дороге он рассказал ему, что происходит сейчас в ущельях балкарцев.

— Тебя послушают, — убеждал он Каншау. — Объясни карахалку: не следует гневить бога. Все мы созданы богом, и миром управляет он. Ему одному ведомы пути, по которым мы должны идти... А не поймут этого — прольется кровь, и все останется на месте. Так всегда было раньше, так будет и теперь...

Каншау были не очень ясны мысли хозяина. Но, как и Айдарук, он тоже не хотел, чтобы зря пролилась кровь карахалка. Не в силах сам разобраться в том, что происходит в мире, он спросил:

— Что же случилось? Почему поднимаются бедняки? И кто такие большевики?

— Бедняки не виноваты... — Айдарук вздохнул и устремил остывшие глаза вдаль. — Они совсем не виноваты, — повторил он снова. — Они темные, верят разным пустым словам. А большевики им говорят: раз царя свергли — теперь будет равенство. Понимаешь, каждый будет сам по себе бием: ты бий, и я — бий. Что из этого получится?

Каншау озабоченно думал.

— Говорят: пужна свобода, — вслух размышлял Айдарук. — Мы мирными были. В наши мирные очаги проникли гяуры — и теперь не будет нам мира. Сын пойдет против отца, брат против брата, батрак против своего хозяина. И тогда нарушится мирный сон людей и погибнет доброта... Вот какие дни приходят к нам, Каншау. Если мы сумеем остаться людьми, кровь не прольется. Я за всю свою жизнь

никого не обидел. И больше всего боюсь крови. Все отдам, всем поделюсь, но не стану пачкать руки в крови, не хочу смотреть, как плачут сироты...

Голос Айдарука дрогнул, и в глазах его сверкнули слезы. Не в первый раз Каншау поразила его доброта и человеколюбие. Вот если б все бии были такими...

Айдарук верил, что только доброта могла сблизить людей и помочь бедным. А теперь бедняки хотят силой оружия преобразовать мир. И это пахло кровью, бедой, голодом. Все вокруг шло не так, как хотелось Айдаруку, и в последние дни он чувствовал себя как никогда слабым, обнищавшим, будто потерял уже все свое богатство и влияние в ущелье...

Очень осторожно Каншау сказал:

— Слов нет, Айдарук, ты добрый. Но я не уверен, что все таубии, даже уздечи думают так же, как и ты. Многие из них готовы сжечь сакли бедняков, заковать их в кандалы, отнять у них слово, волю... Вот хоть Ерюзбек. И даже твой родственник Шоптук... Руки многих таубиев обогреты кровью бедных.

Айдарук ничего не мог сказать в ответ. Это уже звучало как обвинение всем таубиям.

Раньше Каншау даже не задумывался обо всем этом. А сейчас его обожгла мысль: а ведь и его место с теми, кто, по словам Айдарука, напрасно требовал себе свободы и готовился с оружием в руках добиваться ее. Теперь он ясно понял, о чем в начале их разговора просил его Айдарук, когда советовал ему выступить перед карахалком. И, поняв это, Каншау смутно, как в бессвязном сне, впервые увидел вдруг в Айдаруке своего противника. Его напугала, а вер-

ней, смутила эта мысль, которая показалась ему предательской, — и он, искупая свою невольную вину, поспешно пообещал:

— Я никогда не дам тебя в обиду!

А Айдарук пожалел, что открыл ему свою душу. Теперь его неверие в себя и свою затею еще больше усилилось.

— Ты для меня сделал так много, — продолжал Капшау. — Я никогда этого не забуду.

Айдарук неожиданно для себя вспыхнул:

— Карахалж должен запомнить одно: таубии ни у кого ничего не отнимали, богатство они приобрели не насилем. А не захотят понять этого — сами же и сгорят в своем огне...

Дальше разговор терял всякий смысл, а спор их ни к чему не мог привести. Они оба одновременно поняли это и умолкли. Айдарук чувствовал, что теряет еще одного верного человека. А Капшау думал совсем о другом: «Не рассказать ли ему о моей любви к Пальбике? Но если он даже благословит нас — то кому я буду принадлежать? Чье поле буду пахать, чьих овец пастить? И чью песню стану петь?»

На перекрестке дорог Айдарук повернул коня к своему дому.

— Счастливого тебе пути, Капшау.

— До свидания, — отозвался Капшау, не поднимая головы.

В глубине души Айдарук создавал, что жизнь в горах идти по-прежнему не может. В последние месяцы слишком ясно чувствовался тот вековой гнев, который был скрыт до этого времени, но давно уже созрел в паре и просился наружу. Теперь теряли прежнее значение и плеть, и угроза, и даже ссылка. Для своего времени Айдарук был образованным

человеком, и не видеть этого он не мог.

В зрелые свои годы он много путешествовал, и везде было одинаково нехорошо. А когда он был еще подростком, их дом посещали незнакомые ему люди, которых очень уважал отец. С их слов он понял: насилие противно человеческой совести, и, лишив свободы одних, другие сами становятся несвободными. Вместо того чтобы подавлять мысль, следует просвещать народ. Для чего богатство, если оно не служит доброму делу? И, наслушавшись этих разговоров, Айдарук загорелся желанием просвещать своих темных аульчан.

Став самостоятельным, он вспомнил юношескую свою мечту и попытался ее осуществить. Айдарук был твердо убежден, что только просвещение могло изменить людей и всю жизнь вокруг. Он открыл школу и начал сам обучать детей бедных и богатых. Первыми против него восстали таубни: «Если все будут учиться, кто станет пасти скот?» Айдарук возразил: «Об этом пусть думают те, у кого есть скот. А тем, у кого его нет, не о чем беспокоиться». Тогда, разозлившись не на шутку, таубни запретили своим детям ходить в школу Айдарука, а сами перестали с ним разговаривать. А вслед за ними и бедняки, зависимые от таубиев, отозвали из школы своих детей.

Добрые семена Айдарука не взошли.

Очутившись между двух скал, Айдарук жил мучительной жизнью. Он пытался соединить два берега, но все его старания рухнули. Теперь ему самому надо было выбрать: по какому берегу он пойдет? Идти одновременно по двум берегам он не мог, да и никто не сумел бы. Если оставить свой берег и перейти на дру-

гой, — он лишится всего, и тогда ему станет еще труднее. Утратив богатство, он потерял бы всю нынешнюю свою силу, и его слово в ущелье уже ничего не значило бы. А оставаясь на своем берегу, он должен был придерживаться законов этого берега, многие из которых сам же не одобрял.

И как раз в это время в горные теснины стали проникать тревожные вести. Их приносили в аулы люди, род занятий которых трудно было угадать. Изредка возвращались и ссыльные горцы, ставшие непохожими на горцев, но не смирившиеся, а просветленные и закаленные. От них жители аулов узнали, что принесет им приближающаяся революция.

Теперь тревога Айдарука перешла в душевное смятение. То, что неотвратимо надвигалось на них, уже не было делом одного человека — даже и самого могущественного. Речь шла об осуществлении желаний целого народа, всей мощи которого ни сам Айдарук, ни весь его круг раньше даже не представляли. И снова, как никогда прежде требовательно и безотлагательно, предстал перед ним выбор своего пути и своего берега. И здесь Айдарук вдруг обнаружил, что, в сущности, выбор давно уже сделан и он всеми своими корнями навечно привязан к миру баев и таубиев. И не потому ли погибали все прежние добрые его семена, что он, сам того не ведая, уподоблялся нерадивому сеятелю, бросающему семена на камни? А теперь бедняки, чтобы посеять добрые семена и собрать урожай, хотели очистить поле от этих вековых камней, а заодно и от Айдарука — со всей его добротой, школами и боязнью пролить кровь...

Айдарук сам испугался своих мыслей. Это была бы слишком тяжелая плата за любовь, даже самые справедливые преобразования.

«Тогда что значат все твои красивые слова, твоя готовность пожертвовать всем ради того, чтобы не пролить кровь? — спросил его внутренний голос. — Ты просто болтуш! Надел на себя овечью шкуру, хвастался своей добротой — разве это не награда бедным? А если ты мужчина, преврати свою доброту в силу и отдай ее пугающимся...»

Шабатай не понимал отца, не пускал его в свою душу и сам ничего у него не спрашивал. Айдарук тосковал по сыну-помощнику, продолжателю всех его дел, искал в нем опору и утешение, но тот уходил от него все дальше и дальше. Шабатай был полон ненависти к беднякам и жаждал крови. В горах издавна заведено, чтобы сын прислушивался к мнению отца, жил и действовал по его совету. Но Шабатай совсем не походил на Айдарука. Он был отличным рубакой, а беды других лишь радовали Шабатаю, еще больше оттая его благополучие.

Айдарук долго не понимал, от кого Шабатай унаследовал свой характер. В его родовом древе не было такой колючей ветки. Все мужчины в роду Айдарука были мирными, не любили жестокости. Сам Айдарук за всю свою жизнь ни разу не поднял ни на кого плети. Перебрав всех дедов и прадедов до седьмого колена, Айдарук вернулся к своему времени, и тут перед его глазами встала Акбийче. И Айдарук понял, откуда у сына жажда повелевать.

Акбийче, мать Шабатая, была упрямой и властной. Ежедневно в доме работали несколь-

ко женщин, которые щипали, сушили, расчесывали на гребне, а потом взбивали лучком шерсть и укладывали на циновку для валяния. Не было конца этой изнурительной работе. Веселыми работницы бывали редко, да и то лишь тогда, когда Акбийче уходила куда-нибудь. Женщины работали с душой, какие только узоры не придумывали они для кошм. Особенно удавались им кошмы с окаймленными краями. Акбийче отправляла их своим многочисленным родственникам как дорогие подарки.

Но у Акбийче делали не только кошмы. Самый тягостный день для женщин-батрачек наступал тогда, когда они начинали валять белую шерсть для бурок. Теперь они не имели права разговаривать, смеяться, оглядываться. Порой казалось: еще немного — и Акбийче запретит им дышать. И если жепские слезы не смачивали войлока, она считала, что этот войлок будет недолговечным. Женщины опаливали войлок на легком огне, а Акбийче кричала им: «Лучше бы опалить вам свои бесстыжие лица!» По ее мнению, они без любви выполняли ее поручения. Такую немилость несчастные мастерицы, конечно же, не заслуживали, — это хорошо понимал Айдарук и чувствовал себя пеловко из-за жестокости своей жены. Но не так-то просто было ее образумить.

Айдарук надеялся, что с годами она состарится и успокоится. Но Акбийче зверела все больше и больше, стаповилась пемыносимой не только для батрачек, но и в семье. Ипой раз она была даже страшной: казалось, она сердится на камни, деревья и горы вокруг — за то, что они не старятся вместе с ней. Услышав

однажды, что бедняки не довольны таубиями, она потребовала высечь всех недовольных. Но желание ее не исполнили — и тогда она всю свою лютую ярость вылила на бедных женщин, превратив их работу в настоящую пытку.

А Нальбике выросла другим человеком. Акбийче не имела над ней власти и не смогла сделать ее похожей на себя. На дочь больше влиял отец, хотя для него и был далек таинственный и непопятный женский мир.

В сущности, подумал Айдарук, он был несчастным мужем и только наполовину счастливым отцом...

Айдарук не заметил, быстро он возвращался домой или медленно. Так и не успев додумать свои мысли и лишь признав себя несчастным, он въехал в аул. На крышах саклей полуголые мальчишки играли в кости. Проезжая мимо них, Айдарук с удивлением поймал себя на том, что ему неловко, будто он в чем-то виноват перед этими юными голодраццами. Все дело в том, что их трудно уже назвать мальчишками. «Не так уж они малы, чтобы ходить без штанов и не понимать, что это стыдно, — решил он. — Их отцы и матери трудятся не покладая рук: обрабатывают землю, разводят скот, а их повзрослевшие дети ходят без штанов... Нет, не вечно же терпеть им такую жизнь...»

Ему даже немного смешно стало, что после всех своих размышлений, осуждающих падающую революцию, он споткнулся на этих беспштаных подростках. И еще он подивился тому, как это не замечал раньше, что подростки эти позорят не только себя и своих родителей, но и весь аул, а больше всего — его,

самого богатого тут человека, на которого работают их родители. Странно, что он не видел всего этого прежде...

Не оглядываясь, Айдарук прищпорил коня и заторопился домой. Но тут же вспомнил, что в доме у него важные гости, приехавшие собирать отряд для белогвардейцев, — и повернул коня на другую дорогу. Он понял, что сможет сейчас спрятать свою голову только у Адыхама-эфенди, и поскакал вверх по ущелью.

VIII

ИНЫЕ ВРЕМЕНА

Каншау, приехав к себе в аул, никого не застал дома. Соседские мальчишки, радостно блестя глазами, сказали ему:

— Инал пошел драться с Шонтуком!

— Какая драка?

— Шонтук у твоего отца быка отнял.

— Отнял быка? — не поверил Каншау. —

Да за что?!

Шонтук был старшиной Верхнего аула, и бесчестность его часто возмущала аульчан. Но чтобы он у кого-то отнимал быка — такого еще не бывало.

— За что, за что!.. — загалдели мальчишки. — Захотел отпять — и отнял. Надо было сделать ему сабан-сый¹, а твой отец не сделал...

Дальше Каншау не стал слушать: почувствовав беду, он поспешил на помощь отцу. Но, прискакав к дому Шонтука, никого там не на-

¹ Сабан-сый — подарок главе аула в день выхода на пахоту.

шел. И соседи сказали, что ничего не видели и не слышали. Каншау решил, что мальчишки посмеялись над ним, и повернул коня назад. И тут он вспомнил шоитукковские сараи на холме за аулом и поскакал туда.

На полпути он встретил Шабаз на пахоте.

— Ассалом алейкум, Ёгюз, — да будет доброй твоя работа, — приветствовал его Каншау. — Не считай меня глупцом за то, что не схожу с коня. Спешу.

Весело ответив на приветствие, Шабаз остановил волов, пожал Каншау руку и легко стащил его с коня.

— Откуда песешься, куда так спешишь, аман?

— Приехал посмотреть, как живут мои старики, а тут слухи неважные...

И Каншау рассказал ему все, что узнал от мальчишек.

— Так ты заботишься здесь о своих бедняках, — упрекнул он Шабаз.

— Нет, так дело не пойдет, — очень серьезно ответил тот, распряг своих волов и пустил их пастись, а сам пошел вместе с Каншау.

Они подошли к сараям как раз в ту минуту, когда спор между Ипалом и Шоитуком переходил в драку. Каншау издали заметил, как Шоитук замахнулся на его отца. «Твое счастье, если не успеешь ударить его, — подумал он, ускоряя шаг. — Не ударишь — твое счастье... Твое счастье...»

Увидев бегущих к нему джигитов, Шоитук опустил руку.

— Что, ты поймал моего отца, когда он воровал у тебя? — спросил Каншау, задыхаясь. — Что он тебе сделал?

— Неблагодарные! — упрекнул Шонтук отца Капшау. — Я твоему сыпу копя подарил!

— Слова верные, — вмешался в разговор Шабаз. — Только ведь желтогривый достался тому, кто заслужил его в честном поединке.

Шонтук понял, что джигиты не шутят, и смягчился.

— Ай, алапы, алапы, шуток не понимаете... — Он постарался засмеяться, но у него не получилось. — Как я мог отнять у него быка? Пусть запрягает на здоровье.

— Нехорошая эта шутка, Шонтук, — сказал Капшау спокойно. — Твое счастье, что не ударил старика.

— Ай, собачий сын, как у тебя язык поворачивается так разговаривать со мной? — вскипел вдруг Шонтук. — Почитал бы бороду: как-никак я старшина аула. Если бы даже я ударил его, что тут такого? Он у меня работал да и младше меня...

Шабаз шагнул вперед.

— Нет, так не пойдет. Не смей оскорблять ни Ипала, ни других. Твои желания — не закон для нас.

— Вот как? — удивился Шонтук.

Он уже собирался сесть на копя, но вдруг раздумал и отошел от него. Капшау заметил, что у бия дрожат руки. Перекидывая пагайку из одной руки в другую, Шонтук старался подавить в себе нахлынувшую ярость. И вдруг молнией палетел на Шабазу и хлестнул его три раза пагайкой по лицу. И уже через секунду на лице Шабазу выступили кровавые полосы.

Довольный, что наказал Шабазу за дерзость, Шонтук быстро сел на копя и сказал:

— Теперь берите быка и уходите.

Закрывая рукой лицо, Шабаз кинулся к нему, схватил коня за повод и потребовал:
— Слезай!

Шонтук попробовал оттолкнуть его ногой, но Шабаз даже не пошевелинулся. Схватив руку бия с нагайкой, он сжал ее с такой силой, что Шонтук побагровел от боли и бессильно сполз с седла.

Каншау стоял как вкопанный, начисто забыв, что еще можно остановить Шабазу. А тот сжимал руку бия ниже локтя и... улыбался. На открытом добродушном лице его не было ничего мстительного, и злыми выглядели лишь полосы от нагайки. Шонтук вскрикнул. Слышно было, как затрещала его кость.

— Я тебя нукером считал... в гости приглашал... — припомнил бий. — Ты мой хлеб ел...

— Это еще надо посчитать, кто чей хлеб ест, — ответил Шабаз. И словно ничего не произошло особенного, по-прежнему улыбаясь, он легко поднял несчастного бия, посадил его на коня и сказал напоследок: — Поезжай и помни!

Конь тронулся с места. Шонтук, разом лишенный речи, былого папыщенного достоинства и всей своей мощи, уехал с поломанной рукой.

Трое оставшихся долго молчали. Инал чувствовал себя виноватым. Если случится теперь что-нибудь с Шабазом, а не случиться просто не может, — то эту беду на своего соседа накликал он. И беда эта будет стоить дороже его быка. Да, сейчас он готов был пригнать во двор Шонтука даже двух быков — лишь бы тот простил Шабазу. Но Шонтук не простит, он будет стремиться избавиться от непокорного силача. Независимый и сильный Шабаз

давно уже пугал таубия, — в ауле все это знали. Знали и то, что Шоптук старался приблизить к себе Шабазу не из любви к нему, а опасаясь его. И Иналу стало ясно, что теперь, потеряв всякую надежду на мир с Шабазом, Шоптук пойдет на все, чтобы из камня постелить постель зарвавшемуся бедняку...

— Бежать тебе надо, — сказал он Шабазу. — Спрячь голову где-нибудь, пока все забудется.

— Куда бежать? — Шабаз заглянул Иналу в глаза и улыбнулся ему своей скудной улыбкой. Потом взял у Каншау коня, подвел к Иналу. — Садись, аксакал, гоши своего вола верхом. А нам с Каншау надо поговорить.

Инал не на шутку забеспокоился. До него доходили слухи, что борец Шабаз связан с абреками и еще с какими-то приезжими, которые тайно останавливаются у него. Слухи были упорными, но выяснить их никто не решался, боясь силача. А Шабаз тем временем жил себе спокойно, пахал своими мощными, под стать хозяину, волами делянки аульчап за небольшую плату и по-прежнему был молчалив. Не хотелось старику оставлять единственного сына с этим непонятным человеком. Но опасений своих он не высказал, тяжело сел на коня и погнал вола домой, беспокойно оглядываясь.

Друзья молча проводили глазами старика и пошли к горе. Шабаз так сосредоточенно грыз соломишку, будто советовался с ней. Каншау был рассеян и угрюм. По дороге он вкратце передал Шабазу свой пышный разговор с Айдаруком.

Они поднялись высоко. Шабаз растянулся на траве. Земля была холодная, и трава не гре-

ла. Каншау сел рядом, сцепив руки между коленями.

— Нет! — сказал Шабаз, всматриваясь в далекое синее небо. — Не бежать падо, а бороться. Сейчас всем биям не до Шоптука. Сам говоришь: Айдарук просил тебя посредничать между ним и нами. Некогда теперь биям тягаться со мной из-за Шоптука, есть у них дела поважнее...

Каншау задумался. Он не готовился к той борьбе, о которой говорил Шабаз. И не понимал он еще, что молодость его совпала со временем больших потрясений, — не видел, как цесся горный поток неминуемых перемен, выходя из своих вековых берегов. А этот поток все сильнее втягивал его в себя, в свою ярость, в свое необузданное течение. И лишь теперь, после слов Шабаза, Каншау почувствовал, что стремительный поток вплотную подступил к нему, вот-вот захватит его и понесет.

Нет мирного пути к спасению, говорил Шабаз. Близится буря, которая должна разрушить в горах все межи, а вместе с ними и злость, отчаяние, нищету. И еще, уверял Шабаз, пастанет такое время, когда все люди будут вдоволь есть, хорошо одеваться и даже учиться — кто сколько захочет.

— В городе Петрограде победил... про-ле-та-ри-ат, — сказал Шабаз. — Там установлена Советская власть, а во главе ее стоит Ленин.

— А где этот... Петроград? — спросил Каншау.

— Там... — Шабаз махнул рукой на север. — Самый главный город России.

— А кто эти, что победили?

— Про-ле-та-ри-ат? — переспросил Шабаз,

гордясь, что хоть и по слогам, а научился произносить это трудное слово. — Это люди, у кого ничего нет. Такие, как мы с тобой.

— А разве у нас ничего нет? — удивился Каншау.

— А что есть?

— Да у какого горца нет хотя бы пары быков?

— А чью землю ты пахешь этими быками? Чей скот пасешь? И почему Шонтук поднимает руку на твоего отца?

Каншау надолго замолчал.

— А кто такой Лешин? — спросил он наконец.

— Он знает, как всем бедным стать свободными и богатыми. Он о нас думает.

— Откуда он знает нас?

— Таких, как мы с тобой, на земле очень много... — Шабаз сел и, как Каншау, сцепил руки между коленями. — Нет, дальше так жить нельзя. Мы тоже люди, у нас есть своя земля. Понимашь, что такое родная земля? Имя народа, сила народа... А сейчас земля разорвана, разделена между князьями и богатыми на куски, как шкура вола на чабуры. Кому досталась спинная часть, кому паховая, оттого и грызутся между собой. Считай, сила народа разорвана, разделена — вот и нет у нас имени. Сколько я ездил, нигде не говорят о балкарцах, как о едином народе. А всё — баксапцы, чегемцы, словно племена какие-то... И вот теперь на землю пришел человек и сказал: так жить нельзя. Надо быть народом, надо всем быть свободными.

— Так никогда не будет! — с болью в голове сказал Каншау и глубоко вздохнул. — Даже

подумать трудно: все люди равны... — А душа его, наперекор словам, встрепенулась: тогда никто не помешал бы ему быть счастливым с Пальбике. Но это все сказки, а сказку можно послушать, но верить ей нельзя... — Так только в сказках бывает, — повторил он вслух. — Бедного пастуха приводят к царю, и тот испытывает его сообразительность и отвагу. И если пастух с честью выдержит все испытания, царь делает его свободным и дарит ему целое ханство!

— И у нас будет свое ханство. Хапом своей земли станет народ... Ленин вернет нам родину, отнимет ее у князей.

— А пайдется у Ленина столько свобод и столько ханств? — усомнился Каншау. — Сам говоришь: слишком много на свете людей без земли и свободы... — Они помолчали, и Каншау сказал с глубокой тоской, прощаясь со своей мечтой о равенстве: — Давай, Шабаз, думать, как тебя спасти. Это дело. А то, что ты говоришь, это сказки. И от того, что ты станешь свободным, твой род не изменится. Ты — бедняк и останешься бедняком.

И он встал. Встал и Шабаз.

— Пройдет немного времени, и ты сам все поймешь. Упрашивать тебя не стану, сейчас каждый сам выбирает себе дорогу. Я уже выбрал свою твердо: уеду сегодня ночью. Если подумаешь быть вместе со своими — то наши дороги сойдутся.

— Я еще два года должен работать у Айцарука, — сказал Каншау.

На это Шабаз ничего не ответил, и они разошлись в разные стороны.

IX
СВЕТ
НАДЕЖДЫ...

В этот свой приезд Капшау твердо решил поговорить с Айдаруком. Рано или поздно он должен был открыть ему свою тайну. Капшау надеялся, что добрый Айдарук, видя страдание Нальбике и его честные намерения, поймет их обоих. Пусть он даже не выдаст свою дочь за него замуж, но паверняка посочувствует им. А то и поможет обойти те преграды, которые стоят на их пути друг к другу. И в любом случае, надеялся Капшау, уляжется смятение, вызванное разговором с Шабазом, и он снова обретет душевный покой.

Ободренный всеми этими мыслями, Капшау на следующий день после стычки с Шоптуком поехал в Иижпий аул. Однако Айдарука дома не оказалось. И Нальбике была больна и не пожелала его видеть.

Измученный, одинокий, он поехал тихим шагом в кош.

Почью ему приспичась Нальбике. Она была плохо одета, растрепана и почему-то пасла чужих овец. Эта пеллепица разбудила Капшау, и больше он уже не мог уснуть. «Шабаз требует, чтобы я пошел против Нальбике, — подумал он. — Нет, это не в моих силах. Лучше жить в темнице, чем воевать против нее!»

Потом, сидя на соломенной подстилке, он думал о сказочном мудреце Ленине и обо всем том, о чем так хорошо знал Шабаз, а он и понятия не имел. В темной тишине коша сидеть было тоскливо, и Капшау встал, прислушиваясь. Храпел славший у стада Карча.

Стоя у плетня около Карчи, Капшау вспомнил слова Айдарука: «Прольется кровь, и все останется на месте. Так было раньше, так будет и теперь...» И он подумал: «Надо убедить Шабаз, чтобы тот не ездил по аулам, не возбуждал в людях ненависть друг к другу».

Он разбудил Карчу и спросил его:

— Ты богатый или бедный?

— Что ты мелешь? — разозлился Карча.

— Богатый ты или бедный? — повторил Капшау свой вопрос.

— Сегодня я стану богатым! — оживился Карча. — Приедет бий и выделит мою долю. Двести двадцать баранов, я уже подсчитал!

— Тебе можно позавидовать.

— А что ты думал? Я не Карча, если через два года не обгону своего Айдарука! — И, подбрав от этих мыслей, Карча предложил великодушно: — Хочешь, я возьму тебя в жалчи?

— Спасибо, — сказал Капшау.

— Я тебя не обижу, — настаивал Карча.

— Да меня и Айдарук не обижает.

— Ты глупец. Мы с тобой одного сословия. Айдарук своего копя тоже не обижает, по на нем он ездит!

— Тогда отчего ты не сбросишь с себя Айдарука? — спросил Капшау, пораженный совпадением слов Карчи с тем, что говорил ему Шабаз.

— А что это дало бы мне?

— Свободу.

— Свобода! — Карча усмехнулся. — Свобода нужна птице. Дай мне сто овец вместо свободы — и тогда посмотрим, кто будет лучше жить: свободный Шабаз или я?

— Ты прав, — признал Капшау.

— Еще как прав! — похвастался Карча. — Подожди, твой Айдарук еще придет ко мне просить овцу для праздничного стола.

— И ты дал бы ему? — спросил Каншау с насмешкой.

— О, я заставлю его склонить голову предо мной! — размечтался Карча, не заметив насмешки. — Его и всех других, кто сейчас живет лучше меня. Всех!.. Двести двадцать баранов! — Карча вскочил и подпрыгнул несколько раз, словно вступил в танцевальный круг. — Скорей бы приехал бий... Аллах, как хочу видеть своих овец. — Глядя на сумрачный рассвет, он возвел обе руки к небу, взмолился: — Аллах, дай твоему рабу утешение в скромных его надеждах! — И, закрыв глаза, шепотом прочитал какую-то длинную молитву, прикасаясь просящими ладонями к лицу. И напоследок обратился к Каншау: — Я сегодня пойду искать место для своего копа. Если придет бий, ты его удержи до моего возвращения.

Каншау не стал ему отвечать. Поднял стадо и пошел пасти овец.

Айдарук приехал в кош только через неделю и привез с собой нового жалчи Бато. Этого бездомного, безродного и очень доброго человека Каншау знал. Рассказывали, что в молодости он батрачил у какого-то таубия и влюбился в его дочь, за что был заживо погребен. Спасся он чудом и в долгу у таубия не остался. Бийче, жестоко осмеявшая Бато за его любовь, была наказана: про нее сочинили песню, за уничтожение которой братья бийче предлагали оседлающего коня. Но к тому времени Бато уже исчез из родных мест и к дальнейшему позору своих обидчиков никакого отношения

не имел. Абречил он в дальней стороне или где-то батрачил, никто не знал, по жила о нем веселая память в аулах.

Но и камни в горах не вечны. К старости Бато все было забыто. И однажды он как-то незаметно снова оказался в своем ауле. «Вернулся умереть, — сказал он. — Мужчина должен умереть на своей земле».

Скоро Бато пошел себе и запятие. Холодными зимними днями он возил дрова на двенадцати ишаках: хозяину ишака два воза, себе — один. Таким образом, каждый день он имел четыре воза дров. Он их продавал, обменивал на зерно, масло. В общем, жил он неплохо, и в ауле в нем нуждались...

А теперь этот Бато стоял у коша и, кажется, обдумывал свой первый разговор с собаками, которые еще не знали, что он будет вторым пастухом, и подозрительно смотрели на него.

Айдарук был перазговорчив. Карче он лишь сказал, что заработок свой тот может получить овцами или деньгами. Заслышав о деньгах, Карча на минуту заколебался. Было заманчиво, положив в кармап пятнадцатилетний заработок, пуститься по миру. Но эта мимолетная вспышка прошла, и он с достоинством вытащил палку с ежегодными отметками.

— Здесь двести двадцать пасечек.

— Я прибавлю еще десять барапов, — сказал Айдарук, даже не взглянув на документ своего жалчи.

Сначала Карча растерялся. Затем, быстро сообразив, снял свою шапку и бросился обнимать бия. Он бормотал слова благодарности, заикаясь и чуть не плача.

— Каншау, помоги ему отделить своих овец, — распорядился бий, а Карче сказал: — Я доволен тобой, ты был хорошим пастухом.

— Золотой человек! Шейх! — на ходу говорил Карча.

На чисто выбритой его голове проступали крупные капли пота. Сгорбившийся и ставший от неожиданного счастья еще меньше ростом, он догонял Каншау, догонял свое будущее, и некогда было ему оглянуться назад.

— Если жив буду, и тебя не обижу, — обратился бий к Бато. — По время трудное, сам знаешь... Слышал я, — прибавил он с горечью, — что наши дома будут поджигать.

— А у меня нет своего дома, — простодушно признался Бато.

— Жив буду — еще построю тебе дом, — сказал Айдарук — уже как бы для своего успокоения.

Каншау отделил Карче всех причитающихся ему овец. Карча пересчитал их и, словно боясь, что овец отберут, поторопился угнать свое стадо к месту, где он облюбовал себе кош.

— Доволен ли он? — спросил Айдарук у Каншау.

— Очень доволен, бий.

— Это хорошо... Очень хорошо, — одобрил Айдарук, думая о чем-то своем.

— Что нового в ауле? — Каншау хотел узнать, что слышно о Шабазе и выздоровела ли Пальбике, но прямо спросить не решился.

— Что может быть хорошего в ауле, если даже ты не оправдал моих надежд? — урекнул Айдарук. — Я тороплюсь, подай копя.

Каншау помог ему сесть на коня. На прощанье Айдарук предупредил:

— Я слышал, па коши совершают палеты. Какие-то люди убивают пастухов, угоняют скот. Будьте начеку. Оружие я пришлю, у Бато пет ничего.

И Каншау еще раз упустил возможность сказать Айдаруку сокровенное слово, которое могло решить его судьбу. Упустил и, онемевший от досады, долго еще стоял у коновязи. А вечером он рассказал Бато о своей любви к Нальбике. Бато всю ночь промолчал. И утром, уходя к стаду, ничего не сказал. Лишь вечером, когда они сидели у огня, он посоветовал:

— Бегите...

Каншау припомнил, что Дебош ничего не советовал, только помог узнать, есть в сердце девушки любовь или нет. А этот старик был более решителен. Каншау удивленно посмотрел на Бато.

— Айдарук свою дочь за тебя не отдаст, — пояснил тот.

Не па это ли намекал и Дебош, когда сравнивал любовь с деревом, что не принимает никакой прививки?

— Но ведь я не птица, чтобы бросить все и улететь, — сказал Каншау — скорее не Бато, а себе самому.

— Лучше па время стать птицей, чем потом всю жизнь ругать себя.

— Бий видит во мне чуть ли не сына...

— Это не задевает его чести.

Они долго молчали, думая каждый о своем.

— Все равно я должен сказать ему, — решил Каншау.

— Оу-эй, горец, у тебя нет головы...

Утром Каншау собрался ехать в аул. Одна-

ко дороги не всегда приветствуют желания, если даже они самые добрые, самые простые.

Х

*...И СВЕТ
МЕСТИ*

Приземистая мощная фигура Шабазы возникла как из-под земли как раз в ту минуту, когда Каншау седлал коня. От неожиданности Каншау даже позабыл ответить на приветствие. Никогда еще он не видел Шабазы таким жизнерадостным.

— Похоже, твоя жена родила близнецов! — пошутил Каншау и пригласил гостя в кош.

— Не обещал приехать, а приехал. Привез тебе важные новости. — Шабаз огляделся. — Ты один теперь?

— Нет, со мной Бато. Но сейчас пошел в Чегемские коши попросить соли.

— В Бештау¹ состоялся съезд народов Северного Кавказа, — торжественно сказал Шабаз. — На Тереке установлена Советская власть. Выступали посланцы Ленина и говорили, что надо создать республику горцев. И наших балкарцев на съезде было много... Начинается, брат, гражданская война!

Хотя Каншау понял не все слова, но расспрашивать Шабазу не стал. Он главное понял: случилось необратимое, хорошее оно или плохое, но случилось. И ему теперь надо было найти свое место в этом взбудораженном мире.

— Карахалк Кавказа поднимается на борьбу за свои права по примеру петроградского

¹ Бештау — Пятигорск.

пролетариата, — продолжал Шабаз, а Капшау мельком отметил, что теперь тот не спотыкается на трудном слове: видно, не один раз пришлось ему говорить это слово в последние дни — вот и наловчился. — И у нас в ущелье есть уже отряд. Скоро мы сбросим вековой груз бедности и горя с плеч... И ты, Капшау, должен быть с нами. Будут жаркие бои в ущелье. Я приехал за тобой.

— Ты был таким же батраком, как и я. Откуда ты знаешь так много, а я ничего не знаю и не понимаю? — спросил Капшау.

— Я подружился с очень умным человеком, он мне открыл глаза. С радостью познакомил бы и тебя с ним, но его уже нет в живых: погиб за свободу...

— Ты тоже погибнешь, Ёгюз.

— Я этого не боюсь. Жить рабом жалко.

— А убивать друг друга — даже за свободу — не жалко?

— Нет, — твердо, как о давно решенном деле, ответил Шабаз.

— А я, Ёгюз, убивать не могу.

— Ты не мужчина! Считаю, мы не знали друг друга.

Не попрощавшись, Шабаз быстро вышел из коша, сел на коня и ускакал.

Многое передумал в этот день Капшау. Устав от назойливых мыслей, он спустился к реке. «Ты не мужчина!» — сказала ему река. Хотел присесть на камень, но тут же услышал: «Ты не мужчина!» Все вокруг — горы, скалы, деревья, ручейки, тропинки — хором кричало ему: «Ты не мужчина... Ты не мужчина...» Никто его не принял, никто не захотел выслушать.

Ему почудилось вдруг, что окрестные скалы сомкнулись вокруг него, отрезали от всех дорог и тропинок. Как сказочный Бийпёгер, он оказался запертым среди скал. Добрый мир был далеко за пределами этих каменных стен. И не стало выхода для Каншау: на небо взлететь — не было крыльев, в землю уйти — не хватало сил. Ему захотелось убежать, спрятать где-нибудь голову, чтобы и он никого не видел и его тоже не видел никто.

И тут Каншау услышал странный одиночный выстрел. Он не был похож на обычный выстрел в горах: скалы не повторили его, земля не отозвалась, словно и не было полета пули, рассекающей воздух. Выстрел прозвучал как-то нерешительно, глухо и тут же затих.

Но раздался он оттуда, где пас овец Дебош. Каншау давно уже не бывал у старика: непонятная робость не пускала его. Он знал, что Дебош не упрекнет его вслух, по своим осуждающим молчанием будет отговаривать от напрасной боли. А разве он сам не убеждал себя разлюбить Нальбике и напрасно не мучиться? Но все благоразумные советы здесь ничего не значили. Однако с молчанием Дебоша он все-таки боялся встретиться.

А теперь прозвучал этот странный глухой выстрел, скалы разомкнули свой круг — и Каншау понял: только Дебош мог успокоить его, лишь он один мог объяснить ему все. Нет, не их с Нальбике судьбу, а этот вот назойливый, постоянный зов, идущий с той незнакомой и пугающей его дороги, куда так настойчиво звал его Шабаз. И чем плотнее закрывал он свои уши, чтобы не слышать этого зова, — тем сильнее тот охватывал его и требовательней

звал в дорогу. Оттого Каншау в последние дни и избегал людей, словно в нем поселился вор.

И вот настал час, когда Дебон должен был прямо сказать: идти ему с Шабазом или нет. Пусть старик молчит, когда он приходит к нему со своей любовью, но пельзя молчать, когда мужчине зовет дорога...

Каншау продирался сквозь заросли, раздвигая руками пахучие кусты орешника. Он спешил: какое-то недоброе предчувствие толкало его в спину. Поднявшись на каменистый склон, он увидел вдали у леса разбредшихся овец. Это были овцы дебошевского кошнегера, но кто пасет их сегодня? Каншау побежал, сам того не замечая, хотя пастух и не уводил от него стадо.

Добежав до первых овец, он крикнул обычное пастушьё приветствие:

— Да умножится стадо! — но никто ему не ответил. Он еще раз крикнул — и в ответ услышал удивительную для гор тишину. Или это от быстрого бега заложило уши? Нет, он улавливал, как овцы щиплют траву, а вот пастуха нигде не слышно и не видно.

«Наверно, мальчик какой-нибудь пасет и печаянно уснул», — подумал Каншау и присел отдохнуть и дождаться Дебона или его подпаса. Он успел хорошо отдохнуть, а пастухов все не было. Тогда он крикнул, как кричат пастухи в горах:

— Э-эй-хе-э-эй!

От такого крика спящий должен был проснуться, а ушедший далеко — откликнуться. Но никто не отозвался — и Каншау понял, что овцы пасутся без хозяина. Надо было искать пастуха, Каншау уверился: случилась беда.

Нет, на склоне между камней никого не оказалось. А так часто бывает: камень, сорвавшись со скалы или сам собой или от ноги вездесущей овцы, уносит жизнь пастуха. Но сейчас произошло что-то другое. «Не было обвала, был выстрел... Этот глухой странный выстрел». У Каншау сильно забилося сердце. Он побежал в лес — опять не замечая, что бежит.

И на ближней поляне в лесу Каншау увидел окровавленного Дебоша. Тот уткнулся лбом в землю, как бы в долгой молитве, а трава вокруг него была залита кровью. Старая и верная его бердапка висела на ветке, дулом вниз.

Каншау опустился рядом с ним на колени, повернул Дебоша лицом к себе. Охотник еще дышал. Окровавленными руками он шарил по своему телу, как будто искал что-то.

— Дебош! — крикнул Каншау. — Отец... — прошептал он, с трудом переводя дыхание от подступивших слез. — Что случилось?

Дебош узнал Каншау, и тень облегчения прошла по его лицу. С видом человека, последнее желание которого исполнилось, он опустил голову на грудь Каншау.

— Нет у меня родных... — тихо сказал Дебош. Он помолчал, и было не понять, собирает он свои силы или уже навсегда потерял их. Губы его беззвучно шевелились, видно было, как он напрягается, чтобы сказать что-то очень для него важное. — Земля везде одинакова, — шепнул он в грудь Каншау. — И нет на пей такого клочка, где не было бы кладбища... Похоропи меня здесь... Жил в горах, в горах и останусь...

— Кто?! — спросил Каншау, прижимая го-

лову старика к себе, словно пытаюсь защитить его от смерти. — Кто тебя убил? Я должен знать.

— Сам... — ответил Дебош. — Это смерть ко мне пришла. Когда пора умереть, человек глушеет. Вот и я... Повесил ружье... а обратно оно мне в руки не далось... Ему нужны крепкие руки...

У Капшау пропали все слова. Только теперь он начал понимать, кем был для него Дебош. Обидно и горько стало ему при мысли, что, живя рядом со стариком, он так редко видел его и говорил с ним, а часто тратил время на пустяки, как будто Дебош был вечным.

— Я знаю, почему ты меня избегал... и почему сегодня пришел ко мне, — сказал Дебош уже слабеющим голосом. — Со своей болью человек всегда один. И любовь слишком святое чувство, чтобы делить его с третьим человеком... А тебе, джигит, слишком много отпущено, чтобы жилось спокойно. Так у тебя не будет... И мира не будет между богатыми и бедными. Здесь не богатые виноваты, а богатство... Богатство — бес, на которого нет управы. Оно, как соленая вода: чем больше пьешь — тем больше пить хочется. Кто найдет на него управу, тот сделает людей счастливыми... Но когда это будет? И оттого, джигит, твоя любовь преждевременная...

Дебош умер поздно ночью. Его похоронили, как он и завещал, там, где он случайно застрелился.

* * *

Капшау тяжело поднимался по склону: он устал, складывая каменную стену вокруг мо-

гилы Дебоша. Обогнув скалу, Каншау увидел свой кош и четырех незнакомых всадников. Он ускорил шаг.

— Чей кош? — спросил один из всадников, когда Каншау подошел ближе.

— Кош бия Айдарука, а вы кто будете?

— Мы бойцы гражданской войны, — отозвался второй всадник.

— А где гражданская война?

— Где мы — там и гражданская война, — ответили всадники хором.

— Вы люди Шабаз?

— Какой такой Шабаз? Мы сами по себе... свои люди.

Каншау остро пожалел, что в свое время не узнал у Шабаз, что такое гражданская война и кто с кем воюет на этой непонятной войне. Но уже на правах хозяина, он спросил с крепким мужским недовольством:

— Что вам здесь надо?

— Ты за кого? За бия или за нас? — с угрозой спросил первый всадник, слезая с коня.

— Я здесь за хозяина, — спокойно ответил Каншау. — Если приехали с добром, слезайте с копей, пейте айран. А если с враждой, то хоть и много вас, а я один, но как говорится: из многих — умрет много, а из малого числа — мало.

— Стадо Айдарука не твое, мы его уголим. А тебя и пальцем не тронем: ты такой же бедняк, как и мы.

— Ключка шерсти от паршивой овцы не увезете. — Каншау взялся за рукоять своего кинжала. — Не дело бедных угонять чужие стада.

Первый всадник тоже схватился за кинжал, а Каншау вытащил кинжал из ножен. Но тут

сзади другой всадник набросил веревочную петлю на шею Каншау и резко дернул. Падая, Каншау успел кинжалом рассечь веревку. На него накинулись, связали руки и ноги, приволокли к коновязи и крепко приторочили к столбу.

Потом всадники, не торопясь, пили айрац, смеялись над пезадачливым пастухом и угнали айдаруковское стадо.

Впервые в жизни Каншау охватила жажда мести. Удивительное это было чувство — сильнее всех прежних его чувств. Даже любовь к Нальбике на время отодвинулась от него. Каждого всадника он запомнил в лицо, и не было теперь для него выше цели, чем отомстить им.

Бато вернулся к обеду.

— Оу-эй, жив ли ты, горец? — забеспокоился оп.

Развязывая Каншау, Бато рассказал, что ночью какие-то люди напали и на чегемские коши.

— Опи! — решил Каншау. — Я знаю, по какой дороге они пойдут.

— Оу-эй! — воскликнул Бато — то ли от испуга, то ли от восторга, припомнив свою лихую молодость.

Все тело Каншау горело полосами от следов туго стянутой веревки. Но боли оп не чувствовал: жажда мести горячила кровь. Оп попросил Бато оседлать ему копя, а сам достал из-под сена ружье.

— Кош оставить нельзя, — сказал оп Бато. — А я догоню их... Если что случится, скажешь бию: был честен перед ним до конца.

Бато молча подвел к нему коня.

В этих местах всё было знакомо Каншау.

Он поехал в обход, и там, где копчалась белая скала, спустился в ущелье и двинулся по реке вверх. В самом глубоком месте он спешился, стреножил коня и дальше пошел пешком. На повороте дороги он по узкой тропинке взобрался на скалу, откуда все вокруг было хорошо видно, и спрятался в пещере. Вход в нее заслонял осколок скалы, уже заросший травой. Над скалами висело послеобеденное солнце. Лишь теперь проникал сюда свет — редкий дар неба ущелью.

Каншау заметил в ущелье Тыкыр группу вооруженных всадников. Были ли они как-то связаны с угонщиками скота — трудно сказать. Хорошо вооруженные всадники спешили куда-то и, судя по всему, им было сейчас не до скота.

Потом он увидел и другую группу всадников, которые пробирались по этому склону ущелья. Шабазя среди них он не нашел. Проводником этой группы ехал Карча. На выходе из ущелья обе группы встретились, поехали дальше вместе и скрылись за горой. Карча отделился от них и не спеша, ведя своего коня на поводу, пошел в сторону кошар.

Скот Айдарука появился позже. Те же четыре всадника гнали его. На поляне они остановились. Один из всадников, поймав в стаде овцу, стал резать ее у реки, другой погнало стадо на склон пастись. И пока туша жарилась на большом огне, трое толкали камни, боролись, состязались в меткости. Каншау следил за ними, не мешая им развлекаться. У него было хорошее зрение, и, внимательно всматриваясь в каждого, он изучал их, определял достоинства. Всадники метко стреляли, безмятежно весели-

лись. Ему тоже стало весело. Решив посостязаться с ними в меткости, он выстрелил в ту же мишень, в какую целились и они.

Вот это было зрелище! Один из всадников, уронив ружье, бросился за камень, остальные прижались к земле.

— Эй, вы, горе-джигиты, чего разлеглись, вставайте! — крикнул Каншау. Прицелившись в того всадника, который утром накинул ему на шею веревку, он сбил с него шапку. — Какие у вас трусливые шапки: сами бегут с голов!

Один из всадников выстрелил в его сторону. И другой стал стрелять.

Каншау был молод, неопытен и не умел быть осторожным. Он посмотрел на скалы, на небо, на реку. Все было хорошо кругом, молоды были скалы, небо, река Черек. И оттого, что все вокруг было таким молодым и мирным, Каншау неожиданно для себя самого выскок из-за камня и крикнул:

— Перестаньте стрелять!

По крутому склону к нему поднимался один из угонщиков скота. Так быстро он поднимался и так велика была его злость, что Каншау на миг опешил, не зная, что теперь делать. «Какой смелый пастух, — говорил он утром, связывая Каншау. — Содрать с него штаны и пустить голодранца домой...»

Каншау припомнил это, снова скрылся за камнем и направил послушное ружье в сторону приближающегося всадника. Веревку утром тот затягивал туго и говорил позорные слова. Другие поддерживали его и смеялись над Каншау... Смерть рождалась в дуле ружья.

— Собачий сын! — услышал Каншау и выстрелил.

Эхо отпрянуло от скалы: сначала гулкий выстрел, потом крик — страшный, пропитательный, печеловеческий. Скалы загудели хором, стали перебрасывать друг другу этот крик, и чем дальше — тем страшней звучал он.

С дымящимся ружьем в руке Капшау спустился к поверженному всаднику. Умирающий, как недавно и Дебош, в последней судороге искал что-то руками на своем бесчувственном теле. Этими руками лишь несколько часов тому назад он ловко привязал Капшау к коповязи. А ртом, наполненным теперь кровью, он тогда жестоко смеялся над связанным пастухом. А теперь этот пастух стоял над ним, хотел радоваться — ведь он сполна отомстил за свою обиду, — и не мог.

Ужас содеянного сковал Капшау. Он убил человека... Скалы, горы, деревья, камни — все умолкло и молча наступало на него. Он хотел крикнуть: «Нет!», но голос не рождался в нем. Там, где обычно возникал голос, было пусто, незнакомое чувство страха и вины торжествовало там.

Ничего не помня, он спустился вниз — туда, где только что были всадники. За собой, как палку, он тянул остывшее ружье. Капшау хотел наказания, хотел и себе такой же пули, какой он убил человека. Остудить горячую пулю в груди, очистить совесть могла только ответная пуля. Но внизу никого не было.

Потом он снова поднялся наверх, словно надеясь, что убитый ожил. Капшау опустился рядом с ним и рукой тронул его лицо. Было оно холодное и злое. И ни о чем уже было ему страдание всех живых на свете.

Капшау встал. Угнанное стадо, спасенное

им, ждало его. И честь свою и достоинство он тоже спас. Но он был теперь другим. Что-то умерло в нем, а что — Каншау и сам не знал.

* * *

Когда Айдарук приехал в кош, Каншау ничего не сказал ему о том, что его стадо пытались угнать. Бий сам привез оружие для Бато. Но это было скорей выполнение обещания, чем забота о защите своего имущества. Айдарук был более печален, чем в прошлый раз. Сейчас он походил на усталого путника, завернувшего в чужой кош попить айрана. Путник этот не знал дорогу дальше, но и не стремился узнать о пей у пастухов. Айдарук пробыл в коше полдня, так и не поговорив толком со своими пастухами.

И, уже собираясь уезжать, он сказал:

— Не смею в такое время надеяться на верность. И все же, если выберете другую дорогу, не оставьте скот в лесу. И помните: я не враг ваш...

Каншау помог ему сесть на коня и, держась за уздечку, вышел на дорогу.

— Вернись, Каншау. Спасибо, — поблагодарил Айдарук.

И тогда Каншау остановил коня, уткнулся головой в его шею. Глухо и отчаянно зазвучали слова:

— Бий! Я люблю твою дочь.

Не к густой гриве, растекшейся по шее коня, прижимал Каншау свое лицо, а к тысячам обоюдоострых ножей. И раньше слов бия ножи эти начали резать горячее лицо Каншау.

— Лишенный совести! — перво-наперво сказал Айдарук.

Еще сильнее прижал Каншау свое лицо к тысячам лезвий.

— Я тебя любил как сына, — еще сказал Айдарук. — А ты прятал в груди такой камень.

Вместо ответа Каншау прочитал стих за-
помнившейся ему суры Корана:

— «Мы ведь создали человека из капли, смеси, испытывая его, и сделали его слышащим, видящим...»

Айдарук вспылил:

— Аллах издевается над уверовавшими в него и поощряет неверовавших!

— Вы отнимаете жизнь у меня и Нальбике...

— Лучше бы я умер вчера!

— Береги вас аллах. Я не думал никого оскорбить.

— А что же ты думал? — Айдарук уже совсем потерял самообладание. — Что думал?! Родством своим прибавить мне чести? Или славы? Богатство мое думал приумножить?

— Не судьба, значит...

Растерянный Каншау опустил голову. Такого злого ответа он не ожидал. От доброты Айдарука и следа не осталось: видно, Каншау замахнулся на самое святое для бия.

— Если Шабатай узнает — он тебя убьет.

Айдарук тронул коня.

— Лучше бы он убил меня вчера... — Острые ножи перестали колоть лицо, и Каншау вскинул голову. — Больше я не останусь в кошше. Считайте, со мной вы в полном расчете: желтогривый стоит этого.

Айдарук уехал, ничего не ответив.

Ночью Каншау вернулся в кош и долго ворочался на соломенной подстилке. Рядом вздыхал Бато — сочувствовал ему и вспоминал

свою далекую молодость. Под утро Капшау успел, и ему приспичило Пальбике. На этот раз она была хорошо одета и принесла ему белый башлык.

XI

РАНА ИЗЛЕЧИМАЯ

И РАНА НЕИЗЛЕЧИМАЯ

Маленький босоногий глашатай поднимался с одной плоской крыши на другую и кричал:

— Па сход! Па сход! Адыхам-эфенди зовет на сход! Па сход в Нижний аул!

По мере того как по горбатым дымоходам или через трещины тяжелых чинаровых дверей этот крик проникал в сакли, из них выходили сначала такие же, как этот глашатай, босоногие маленькие мужичины в шароварах из домотканого сукна, а то и вовсе без шаровар, но в латаных шубейках. Они оглядывались по сторонам и, не предупреждая родителей, ветром мчались туда, куда глашатай звал взрослых. Потом из саклей выходили мужичины в глубоких лохматых шапках и женщины в толстых платках. Молча и деловито спускались они по кривым узким переулкам, на ходу перебрасываясь редкими словами.

Скоро все жители аула собрались перед правлеищем и застыли в ожидании — кто стоя, кто облокотившись на каменные заборы, кто сидя на валунах. Появился и Адыхам-эфенди в сопровождении аульного старшины Ерюзмека, Шонтука, Карчи и еще одного, незнакомого здешним человека, — скорей всего не балкарца.

— Жамаут! ¹ — обратился Адыхам к собравшимся. — На прошлом нашем сходе мы узнали о свержении ненавистного всем нам гяурского царя. Кавказ избавился от кровавого царя, и теперь у нас свое мусульманское правительство, которое будет руководить с Кораном в руках. Сколько раз говорили мы о свободе, о земле, о пастбищах? Теперь наше правительство взяло на себя заботу о нас. У кого нет земли, у того будет ее вдоволь, и главное, жамаут, наша вера будет в неприкосновенности...

С разных мест Адыхам услышал возгласы одобрения. Громче всех кричали старики.

— Но ни желанная свобода, ни земли, ни тем более пастбища так просто, сами собой не придут в наши обнищавшие аулы. Для того чтобы все это было у нас и мы могли беспрепятственно служить аллаху, нам следует защищать свое правительство.

— От кого защищать, — крикнул кто-то из толпы.

— От заблудших, — сразу ответил Адыхам. — От большевиков, — твердо прибавил он и заключил: — Кто они? И чем занимаются! Абреки. Босьяки. Воп из нашего аула большевичок Шабаз. Кто он? Лентяй, скандалист... К плохому человеку не подходи, говорят, а если подошел, то обрежь подол своего платья... Вместо того чтобы поддержать законное мусульманское правительство, они потакают гяурам и хотят заменить царскую неволю большевистской...

— Они хотят свободу, обещают землю, — крикнули из толпы.

¹ Ж а м а у т — народ, общество.

— Где у Шабазы земля? — громко спросил Карча и угодливо засмеялся. — Правда, морда у него — можно пахать двумя быками!

Карча почувствовал, что его выступление Адыхаму не понравилось, и спрятался за спиной Ерюзмека. Но эфенди неожиданно повел речь о нем:

— Вот Карча — беднейший из бедных. А теперь кто богаче — я или он? — Карча подался вперед и встал рядом с Ерюзмеком. — Честный закон гор, — продолжал Адыхам, — кто работает, тот голодным не бывает.

— Истиной Корана звучат слова нашего дорогого эфенди, — снова вылез Карча. — Вот там Жарахмат стоит. Поставьте рядом свободу и пару овец — и он выберет овец. Верно я говорю, Жарахмат?

— Верно, верно, — отозвался охрипшим голосом старик.

— Кто даст нам землю, того и будем защищать, — раздался другой голос из толпы.

В разговор вступил Ерюзбек:

— Вот мы и собрались вести о том речь. Сейчас повсюду идет мобилизация. От нас требуют сто всадников.

— Теперь ясно, чем болеет живот временно-го правительства! — выкрикнули из толпы.

— А сто камней в лоб не хочет это правительство?

— Не шумите, аланы. Надо думать, прежде чем говорить.

— Если мы подчиняемся этому правительству, то следует и слушать его.

— Сначала дайте нам землю, а потом мы дадим вам всадников.

Шум прокатился по толпе. Очепь внимательно слушавший все выступления Инал решил выяснить для себя что-то очень важное. Рядом с ним, облокотившись о каменный забор, стоял его сын Каншау, который в случае отправки всадников должен был идти одним из первых. Инал сбил со лба лохматую овечью шапку и спросил:

— Если царь свергнут, то почему его портрет до сих пор висит в правлении Ерюзмека? И чем отличается временная власть от царя, если она так же, как и белый царь, отнимает у нас сыновей? Еще я хочу знать: если мы дадим всадников, то против кого они будут воевать?

На эти вопросы Адыхам не взялся отвечать. А Ерюзбек склонился к приезжему и зашептал ему на ухо. Потом все трое переглянулись, и слово взял приезжий, по ни на какие вопросы отвечать он не стал.

— Вы должны понять, — угрожающим голосом сказал он, — всадники нужны для сохранения единства горских народов. А отправка добровольцев нужна для укрепления сил Временного правительства. Отказ же или даже простое нерадение нельзя рассматривать иначе как измену родине...

Понуриив головы жители аула надолго замолчали. Мужчины ниже надвинули на лбы лохматые шапки, а женщины глубже спрятали лица в тяжелые платки. Была весенняя пора, и каждый должен был сам позаботиться о клочке своей земли, чтобы тот не остался невспаханным.

И каждый отец, каждая мать, у кого были взрослые сыновья, хотели бы помешать горю,

что стучалось в их двери, но не знали, как это сделать. Когда они стекались сюда на сход, в них жила надежда на лучшее, а теперь приходилось мириться с худшим. Многие из них таили свои сомнения и, надеясь, что им дадут землю, не задавали никаких вопросов, чтобы не прогневить начальство. Все-таки в них еще теплилась надежда, и, чтобы совсем не потерять ее, они готовы были на лишения.

И Капшау мог бы о многом спросить, по рядом с отцом он, как истинный горец, молчал. Молчал он и тогда, когда напуганные отцы, подходя к столу, пазывали имена своих сыновей, пряча глаза от верных и покорных жеп. Он знал, что и отец пазовет его имя, глядя в упор на пришельца. Потом он отойдет, униженный, от стола, будет трудно подниматься по узкому переулку домой. Промолчит и не сомкнет глаз всю ночь, а наутро распрощается с ним и сам раньше его уйдет очищать свой клочок земли от скатившихся с гор камней.

Слава аллаху, есть отец! И покуда есть отец, дороги сына благословенны...

А пришелец был доволен. Он записывал имена и фамилии всадников и аккуратно у каждого отца брал подписи — отпечатки их грубых, сухих пальцев. Потом он объявил, что через день всадники должны отправиться во Владикавказ, а сопровождать их будет он сам.

Капшау было все равно. Не было в его сердце ни горячего желания ехать, ни резкого отказа. Скорее, он почувствовал даже облегчение. Эта неведомая, опасная дорога как раз выходила очень кстати. И было ему все равно: правая или неправая она, эта дорога. Главное, он мог уехать отсюда, исчезнуть. Убежать от

унижения, от назойливых мыслей, от встречи с теми, кто затоптал его веру, его надежды. И еще: он надеялся найти там, куда он уедет, свою гибель, — и это избавило бы и Пальбике от позора и вечного страха. Право, очень кстати выходила ему эта дорога.

Но прежде чем пуститься в дорогу, он должен был совершить два дела. Сначала Каншау считал, что у него три дела, но ночью он решил с Пальбике не встречаться — не встречаться никогда. Так будет для них обоих лучше, подумал он. Оставалось попрощаться с Бато и встретиться с Карчой. Ему надо было выяснить, кто же все-таки эти грабители, назвавшие себя бедняками и мстителями? И почему тогда Карча оказался вместе с ними. А теперь он с Ерюзмеком и с Адыхагом-эфенди.

Он должен был обязательно встретиться с Карчой и спросить у него, что за всадники были с ним в ущелье? О таких ли отрядах говорил Шабаз? Надо было узнать, как Карча, тихий и жадный, не успев поставить свой кош, связался с какими-то всадниками, — может быть, и с ним говорил Шабаз? Не уяснив себе всего этого, он не имел права уехать.

Утром он оседлал желтогривого. Горы были заняты весной. И хотя у Каншау не было сил восхищаться ими, они были добры в своей красоте и знали его, — хорошо знали они этого всадника. И очень скоро доказали, что многие знают горы, а горы знают немногих.

Кош Бато был уже совсем близко, когда Каншау натолкнулся на незнакомых всадников. Попяв, что Каншау один и чужой, незнакомцы начали его допрашивать, а заодно и окружать.

— Как зовут?

— Каншау, сын Инала, из Верхнего аула.

— Танай, бери за повод его копя. Я ему не верю.

— Зачем мужчине неправда? Меня этому не учили. Может быть, вас учили?

— Думаешь, пашку только ты носишь?

Один из всадников выдвинулся вперед и вплотную подъехал к Каншау.

— Я узнаю его, это бывший батрак Айдарука. На его совести смерть...

Он не успел договорить. Каншау ударил копя и понесся по лесистому склону. Прижавшись к гризве копя, он скакал, не оглядываясь. Всадники почему-то не погнались за ним, а только открыли пальбу.

Но горы заслонили Каншау — сначала деревьями, а потом скалами. И лишь спустившись к ущелью, Каншау понял, что ранен, а горяча даже и не заметил этого. Попытался и не смог стать на ноги. Все в нем задрожало, заныло, он не выдержал и упал на землю.

Пуля угодила ему в ногу. Каншау скрутил жгут из прошлогодней сухой травы, туго перевязал рану. Кинжалом срубил ветку рябины и сделал палку. Держа копя под уздцы, он выбрался к дороге и долго стоял здесь, опершись о шею копя, а потом по крутому склону двинулся вверх, к айдаруковскому кошу.

— Оу-эй, жив ли ты, горец? — приветствовал его Бато и сообщил последнюю новость: — Какие-то бандиты угнали всю скотину чегемцев, коши сожгли, а пастухов увели с собой... Оу-эй, что с твоей ногой?

— А кош Карчи? — спросил Каншау.

— Кош не тронули... Пуля попала в ногу?

— Попала. Ты умеешь перевязывать?

— Приходилось, — скромно ответил Бато.

Зашли в кош. Бато быстро согрел воду, умело промыл рану. Потом прямо за кошом парвал каких-то трав, положил их на рану. Скинул свою пательную рубаху, разорвал ее и туго перевязал погу. Поверх надел шерстяные ышимла, сменил солому в чабурах и помог надеть их на поги.

— Я должен встретиться с Карчой, — сказал Каншау, напившись айрана и почувствовав облегчение.

— Оу-эй, к чему такое?

— Ему придется объяснить мне одно дело. — Опираясь на палку, Каншау встал, положил руку на плечо Бато. — В ауле мобилизация. Я хотел попрощаться с тобой, но теперь... Теперь все пропало.

Бато помог ему сесть на копя и простоял у коновязи до тех пор, пока Каншау не скрылся из глаз.

Увидев Каншау в своем копе, Карча испугался.

— Не бойся, я тебя не трону, — успокоил его Каншау. — Но ты похож на демона, который успеваешь быть везде.

— Так, так... — бормотал Карча, не спеша пригласить гостя в кош. — Я бедный человек, никому не делал зла...

— Как жаль, я так и не постиг твое благородство почти за десять лет, что мы работали вместе. А теперь какую пользу могу я тебе принести? — Каншау слез с копя.

— Человек с человеком встретится. Сегодня не знаешь, что ждет нас завтра, — все еще боязливо говорил Карча, словно молился после

грехопадения. — Не забывай меня, устроившего несчастную свою жизнь честным трудом...

— Тебя не забудешь. Скоро повсюду станут приводить в пример твое имя! — Капшау привязал копя к наспех поставленной, шатающейся коповязи.

Не поняв подлиппого значения слов, сказанных Капшау, Карча не знал, как дальше вести разговор, и замолк.

— Вот, алац, как нехорошо получилось. — Капшау, прихрамывая, без приглашения пошел в кош. — Пас овец с тобой почти десять лет и не понял, что ты за человек. Теперь вот приехал исправить свою ошибку.

— Что за человек? Обыкновенный... Пей айрап.

— Нет, ты скажи, кто ты? — Капшау спял со степы ружье Карчи. — Несколько дней тому назад ты был вместе с бандитами, а вчера стоял рядом с Ерюзмеком... Кто ты?

— Какие бандиты? Что говоришь, Капшау?

— Я тебя застрелю! — И Капшау поднял ружье.

Карча задрожал.

— Не знаю... Меня запугали... Чего не сделаешь ради бедных своих овец...

— Против кого эти бандиты?

— Они говорят: один бий в девяти шубах, а у девяти бедняков ни одной... Угоняют байские стада.

— Тогда почему тебя не трогают? Ты ведь тоже теперь бай!

— Я хотя и бай, а свой... — Он оживился и на минуту переборол страх. — Я не то что ты: проливаешь кровь бедных, спасая байские стада.

Каншау чуть не уронил ружье из рук. От острой боли в ноге он закрыл глаза. И стоя так, с закрытыми глазами, он вспомнил, как эти защитники бедных привязывали его к коновязи и потешались над ним...

— Они, а с ними и ты, Карча, не бедные, а собаки. Жаль, у меня тогда патронов не было больше...

— Да, ты в долгу не остался.

— Надо было прикончить одного тебя, а всех остальных оставить.

— Я честный человек, — упорствовал Карча.

— Ты честный человек? Ночью грабишь байские коши, а днем предаешь своих помощников. Ты честным трудом устраиваешь свою жизнь?! А обманутые тобой люди волками воют в лесах.

Карча съежился, обмяк. Не в силах ни защищаться, ни нападать, он сел.

— Где чегемцы? — спросил Каншау.

— Угнали вместе с отарой.

— Так вот, Карча, пайдешь их и скажешь: пусть чегемцев и весь скот возвращают обратно. И запомни, если с Бато что-нибудь случится, ответишь головой. Уж тебя уничтожить я всегда в силах.

Каншау повесил ружье на свое место и с трудом вышел. И когда он уже сел на коня и собирался уезжать, Карчу угораздило сказать слова, которые привели его к самому большому позору во всей его жизни:

— Слышал, Айдарук отказался отдать тебе дочь?

Каншау снова почувствовал острую боль в ноге, снова закрыл глаза и молча тронул коня. Но Карча еще сказал:

— А теперь я испытаю свое счастье. Ты не обижайся: я богатый теперь. На днях мои сваты будут в доме Айдарука...

Капшау повернул копы и резким взмахом руки подозвал Карчу к себе.

— Подними хвост копы, — потребовал Капшау.

Карча замялся.

— Подними, собачий сын!

В поте лица Карча прищоднял хвост желтогового.

— Теперь поцелуй конский зад.

Карча опустил хвост копы и побежал в кош за ружьем.

— Остаповись! — крикнул Капшау и схватил свое ружье. Карча замер на месте. — Его зад почетней твоей головы, собака.

Карча поцеловал зад копы.

— Помпить будешь.

Капшау вернулся в аул, когда лучи солнца спустились с крутых склонов и осветили пизину. Нагретая веселая земля пахла свежеспашеным полем, и на веселой траве паслись ягпята, оберегаемые суетливыми овцами. Уже цвели вишни и сливы. И уже прилетели ласточки и спешили свить свои гнезда на знакомых по прошлому лету карнизах. Аул жил полной жизнью.

— Все хорошо обошлось... — Капшау, успокаивая, обнял мать. — С этими людьми я однажды встречался. А рана заживет. Досадно только, что перед дорогой.

— Никуда я тебя не пущу, — настаивала Каралхан. — Не дам растерзать моего единственного сына... Мне ничего от них не надо, пусть тебя оставят в покое.

— Отец дал слово, нехорошо нарушать его, — сказал Капшау.

Каралхан перестала плакать. Только ниже надвинула черный платок на свое исхудавшее лицо. Не одна она тревожилась в этот вечер за судьбу сына. Сто матерей плакали сейчас в этом ауле, сто дорог, одна страшнее другой, проходили по их сердцам и сто копей стояли цаготове.

Утром Капшау уехал из аула с двумя ранами: скрытой и тяжелой раной в сердце и другой, открытой раной в ногу. Вторую рану обещали залечить быстро.

XII

КОРОТКИЕ СЛОВА ПЕСНИ

Все радости любви кончились для Нальбике в день гибели Мурая. Этот день многое объяснил ей и заставил разом повзрослеть. Она лучше узнала жизнь и удивилась ее жестокости. В одной руке жизнь держала счастье, а в другой позор. А счастье Нальбике было и се позором, — и кроме нее самой, об этом знали теперь многие. Знали и осуждающе молчали: не было в горах такого постыдного закона, чтобы бийче влюблялась в батрака.

После свадьбы брата, она пребывала в постоянном страхе за Капшау. За себя Нальбике не боялась, считая, что надежно укрыта в двухэтажном отцовском доме: пока стоял этот дом, ее никто не мог обидеть. Обида, а то даже и гибель подстерегали Капшау: горцы, не умеющие мстить женщине, легко могли расправиться с ним. Не было у Капшау надежной за-

щиты, не было у него двухэтажного бийского дома...

Иногда ей удавалось отогнать этот страх от себя. Тогда к ней приходили давнишние дни, когда девочка Пальбике спорила с ненавистным подростком — таким здоровым и глупым. Потом первая невеста в ауле Нальбике смотрела на скачки и восхищалась своим избранником-победителем. И сама состязалась в стрельбе, выходила с подругами собирать дикий укроп и как бы невзначай встречалась с Каншау.

Приходили к Пальбике и другие дни — пасмурные, дождливые, и в них часто грохотал гром. Странная была их любовь: ведь они не сказали друг другу ни одного нежного слова. Она редко видела Каншау, но привыкла думать, что они всегда вместе и самые лучшие в мире слова уже сказаны ими. А самые лучшие дни — те, когда им хотя бы украдкой удастся свидеться. Нальбике казалось — нет, она твердо знала: то чувство, какое испытывает она, передается и ему, и он также страдает вдали, проводит бессонные ночи и одинаково с ней несчастлив.

Узнав о том, что Каншау был в ауле и не попытался встретиться с ней, Пальбике пообещала себе забыть его, не думать о нем, не растравлять душу. Пусть он найдет равную себе девушку и женится... Но она говорила это только умом, — усталым, растерянным умом. В душе же она по-прежнему была с Каншау, вместе с ним пасла овец, пела ему свои тайные песни, где было совсем немного слов, но слова эти каждый раз звучали по-новому и гораздо сильнее, чем прежде...

В тот горький час, когда брат звереки избивал ее, Нальбике решила не подчиняться воле

родителей. Тогда же она репила, что станет жить лишь до тех пор, пока будет жив Капшау, и не изменит ему никогда.

Но на что рассчитывала Пальбике? На доброе сердце отца? Только он один мог, презрев обычаи, благословить их. Айдарук много раз оставался человеком, когда бийское самолюбие требовало жестокости. И он очень любил дочь. Пальбике это знала. Однако, как показала жизнь, взгляды людей его круга имели власть и над Айдаруком. Как-то он сказал дочери:

— Хочу, чтобы ты была счастлива.

В ответ Пальбике рассмеялась, чем расстроила отца и вызвала его гнев.

— У тебя нет совести! — сказал он. — Уважения к родителям нет.

Пальбике заплакала.

— Лучше бы я умер!

— Лучше бы у вас не было дочери. Уйду из дому, если вам так легче.

— Пожалей отца, брата.

— У меня давно нет брата.

— Пальбике, что ты болтаешь?

— Нет у меня брата. Нет у меня здесь никого.

— Мой дом был лучшим во всей округе... За что мне выпала такая доля?

— Прости меня, отец.

— Все рушится... Позор... Пальбике, ты разумная, сильная, помоги мне: я задыхаюсь... Я ведь бий, наш род самый древний... Завещание отцов на моей шее, как я нарушу его? Весь наш род никогда не простит мне этого... Пальбике, подумай. Мне некому больше сказать об этом, Пальбике, дочь моя...

— Я не могу быть советчицей, отец, — ска-

зала Нальбике. — Лучше бы у вас не было дочери. — И ушла.

В своей комнате она пыталась понять отца. Да, он хочет ей добра. Но что такое добро? Зачем оно, если не приприсит человеку счастья? И во имя чего творится это добро? Во имя сохранения рода в чистоте? Но чем Капшау хуже Шабатая? Чем она сама отличается от аульских девушек? Разве только тем, что одевается получше и почище. Так это не добро, это всего лишь богатство и привычка дочери бия... Нет, Нальбике не нашла оправдания своему отцу.

«Надо убежать с Капшау — и все!» — решила она.

При случайной и мимолетной встрече с Капшау в день отправки всадников Нальбике не успела ничего сказать. Она лишь шепнула ему, что знает об отказе отца. Он ответил: «Без тебя мне нет жизни». Но она ждала от него действия: как мужчина он должен был найти выход. Она сказала: «У тебя есть конь...» Пока Капшау соображал, что стоит за этими ее словами, его окликнул офицер, и больше им не удалось поговорить...

Почему после отказа отца Капшау не искал встречи с ней? Почему он не считал нужным даже попрощаться? Сто *почему* и тишина окружили ее, сто *почему* и обида тяжелым камнем давили грудь, и Нальбике снова оставалась наедине со своим страхом. Ночами она раскрывала окно и прислушивалась к тишине. Иногда очень ясно, словно совсем рядом, она слышала его голос, его шаги, топот его копы. Порой он звал ее, голос его слышался ей в гомоне галок за окном, — и Нальбике возненавидела крикливых птиц, мешающих ей своим гвалтом разо-

братъ, что говорит ей Каншау. Наступал рас- свет — и она ходила по воду, выискивала себе дело в ауле и жадно прислушивалась к разгово- рам. Кто-то поджег чей-то дом, кто-то где-то погиб, кто-то на ком-то женился. Все это было скучно, и Нальбике ничего не запоминала.

Она избегала встреч с домашними. Ей ка- залось, что и те сторонятся ее. Но одной было легче, а с ними она чувствовала себя еще бо- лее одинокой. Кроме тоски, для нее ничего уже не осталось в отцовском доме. Нальбике научи- лась быть молчаливой и научилась терпеть. Она сказала себе: «Буду ждать».

До самой осени она не получила ни одной вестн от Каншау. А осенью гражданская война вплотную подступила к балкарским аулам, и в горах начались бои.

XIII

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В теплый осенний день Каншау поднимал- ся на своем желтогривом по крутому склону. Внизу темнело ущелье, и отсюда дно его не было видно. Противоположная южная сторона ущелья с еле заметными турьими тропинками на пологом низу и мелкими серыми скалами стояла отдельно, немного наклонно и крепко — как опора северных отвесных скал. «Есть ли здесь место, хотя бы с ладонь, куда не ступа- ла моя нога? — подумал Каншау. — Наверно, нет».

Он остановился над кручей, сошел с коня и, держа его за повод, стал спускаться вниз. Там, вдоль крутого берега реки, как мертвая змея, вытянулась узкая старинная дорога с разру-

пенными защитными стенами, со следами арб, с частыми тенями скал, со своей судьбой и историей. Она то исчезала меж камней, то появлялась совсем неожиданно у края обрыва.

Сколько раз скакал он по этой дороге, когда в мире не было никаких споров, — Капшау казалось, что тогда было именно так, — а здесь кампи и даже тени их были постоянными, и он верил: так будет всегда. Сейчас же, выйдя на эту дорогу, он подумал, что теперь и все эти кампи и та же тень скалы тоже не вечны. Разрушатся скалы, и тени изменятся, а то и совсем их не станет. Кампи превратятся в пыль, и дорога умрет, ее похоронят жестокие потоки.

Он знал: эта узкая дорога — свидетель многих бед. Здесь каждый камень прятал за собой и убийцу, и мирного пастуха. Здесь погибали и в честной схватке и случайно, сорвавшись со скалы. Но Капшау дорогу не вибил. Не вибил он и кампи, пещеры, стены, — все они честно служили людям, не разбирая, кто из них злой, а кто добрый. Но тогда мир не делился еще на два воюющих лагеря...

Капшау убежал из кавалерийской сотни, стоящей в Моздоке. А несколько месяцев назад после лечения во Владикавказе его определили в эту сотню, и он защищал далекую и непонятную ему родину от близких и понятных ему людей. Он видел: многие всадники возвращались из боя разочарованными. А иные просто исчезали, и их объявляли врагами родины. Он видел также: не было мира в их сотне, не было согласия. И солдаты не радовались после выигранных сражений. И высоким словам, которыми потчевали их офицеры, солдаты не верили. Командиры пьянствовали.

В последующие дни он разобрался и в том слове, что так часто употреблялось командирами, а солдатами всерьез не воспринималось. Крестьянским своим умом он сделал для себя совершенно правильный вывод: у каждого честного человека есть родина, и каждый честный человек должен ее защищать. Вот только надо было раз и навсегда решить — от кого ее защищать?

Это был самый трудный вопрос во всей жизни Каншау. И ответом на него был этот побег.

Там, в кавалерийской сотне, он часто вспоминал слова Шабазы, его правоту и боль. Для Шабазы слово родина имело глубокий смысл, было нерасторжимо связано с его жизнью. Поняв это, Каншау открыл и в себе крепкую связь со всем тем, о чем говорил ему Шабаз. Теперь он искал его в горах...

Тут его окликнули сверху. Два всадника смотрели с кручи на дорогу, положив свои ружья поперек седел. Каншау вошел в узкое ущелье, спешился, завел желтогривого в пещеру и стреножил его там. Нарвал возле пещеры высокой горной травы, положил перед конем и снял с него удила.

А всадники тем временем спустились к нему. Один остался с ружьем в руках у входа в пещеру, другой подошел к Каншау.

— Не бойтесь, я не чужой, — сказал Каншау. — Долго убежал от Шабазы, а теперь сам возвращаюсь к нему.

Тот, что стоял у входа в пещеру, узнал его и сразу же подтвердил, что Каншау — не чужой для них человек.

Шабаз встретил его весело. На первый

взгляд он мало изменился, вот только глаза стали построже, да в голосе нет-нет и прорывалась командирская нотка.

Каншау рассказал ему все, что видел и испытал на чужой и бессмысленной дороге. Вечером, устав от разговоров, он опустил голову на камень, у которого сидел, и тот показался вдруг ему теплым и мягким. Никогда не знал Каншау, что камни бывают и такими. Ему даже почудилось, что отзывчивому этому валуну накануне боя так же тревожно, как и ему, и, может быть, большую долю бед, что приносит война, камень возьмет на себя. И Каншау преисполнился любовью к камню...

Он уважал и одно время даже любил Айдарука. Доброта Айдарука сильно мешала Каншау увидеть печеловеческую жестокость других таубиев. Он думал тогда, что все они не так уж жестоки и не такие уж скряги, как говорят. Долгие годы Каншау жил рядом с Карчой, а тот ненавидел всех людей на свете — и богатых и бедных. Казалось, во всем мире у него не было ни одного близкого человека. Никогда он не упоминал о матери или отце, словно вышел из скальной щели. Об Айдаруке он говорил всякие гадости, а когда тот приезжал в кош, бегал вокруг него и пресмыкался. И теперь в разговорах о биях и богачах Каншау порой слышались кое-какие отголоски давних речей завистливого Карчи.

А вот Шабазом двигало совсем иное. Он боролся, а если нужно, готов был и умереть за то, чтобы ничто не угнетало людей и они стали по-хорошему гордыми. И в земле Шабаз видел не одну лишь пашню и сенокосные угодья. «Земля — сила и имя народа!» — говорил он, и

Каншау решил: если есть на свете справедливые слова — то они должны быть такими...

— Мой конь чуть не споткнулся, но это все позади, — сказал Каншау, и ему стало радостно, что он наконец-то пошел свою потерянную трошпкку.

Шабаз предупредил его, что завтра ожидается бой в ущелье. Каншау присмотрелся к партизанам. Вокруг было много людей, но у них было мало ружей и патронов. Как в древние времена, когда люди еще не знали огнестрельного оружия, они собирали камни и складывали их в стену. В теснине эта каменная стена на добрую сотню шагов вдоль края отвесной скалы могла заменить целую артиллерийскую батарею. Когда белогвардейцы, не услышав ни единого выстрела, войдут в ущелье, партизаны обрушат всю эту каменную стену на их головы. И тем, кто в эту минуту окажется внизу, не будет пути ни вперед, ни назад. Теснина зажмет их, как могила, и спешные тучи савапом падут на них...

Шепот прокатился по цепи партизан. Каншау вскинул голову и глянул вниз.

Во главе отряда белогвардейцев ехал Шабатай, а рядом с ним Карча. «Этот ни перед чем не остановится, — подумал Каншау о брате своей возлюбленной. — Если мы их не задержим и они ворвутся в аулы, не пощадят никого».

И все-таки, несмотря на все бессердечие Шабатая, Каншау сомневался, сумеет ли выстрелить в него, если бой сведет их друг против друга. «Какой бы он ни был, но он лежал в одной утробе с Пальбике. Если убью ее брата, как посмотрю ей в глаза? И к тому же я вырос в их доме, делил с ними хлеб...»

Капшау был уверен, что белогвардейцы не пройдут ущелья, пока будет жив хоть один партизан. «Да, у нас мало ружей и не хватает патронов. Но все наши джигиты горят нетерпением вступить в бой. И я вместе со всеми знаю теперь, за что воюю...»

Бой пачался неожиданно. Капшау даже не заметил, кто первый выстрелил.

— Вали камни! — крикнул Шабаз.

Грохот камней, крики застигнутых врасплох белогвардейцев, ржание коней, свист пуль — все смешалось, превратилось в сплошной рев. А партизаны все сбрасывали и сбрасывали камни. Шабаз перебегал с одного места на другое, поторавливал, ободрял, сам кидал тяжелые глыбы на головы врагов. И в то же время в действиях его не было суетливости, и он не так дрался сам, как руководил всем боем. Капшау порадовался, что за эти месяцы его друг стал настоящим командиром. «Вот тебе и Егюз!»

В теснине образовалась свалка. Спасаясь от камней, белогвардейцы кидались в бурную реку, карабкались на скалы, ища укрытия. Казалось: еще пять минут — и бой кончится полной победой партизан. Но тут в их тылу появился вдруг Шабатай с частью своего отряда. Шабаз тревожно переглянулся с Капшау: в бою на вершине горы с хорошо вооруженным врагом партизаны теряли многие преимущества и прежде всего не могли теперь применить каменную свою артиллерию.

— Там был заслон... Неужели измена? — сдавленным от гнева голосом сказал Шабаз.

Но разбираться сейчас не было времени, и он передал команду по цепочке: незаметно от-

ходить к другому склону, где было удобнее принять бой. Шабаз легко взвалил на себя пулемет и побежал, неумело пригнувшись. За ним, прикрывая друга, поспешил Каншау.

Отряд Шабатая первым открыл огонь. Партизаны отвечали редкими выстрелами, сберегая патроны. Шабаз за пулеметом выжидал, когда враги подойдут ближе. Каншау, лежа от него шагах в десяти, стрелял только наверняка, когда был уверен, что пуля его попадет в цель. Он вспомнил, как в последнем бою в «дикой дивизии» пулял в пустое небо, и пожалел, что не сохранил тех патронов. Скупыми очередями заговорил пулемет Шабаза.

Не ожидавшие такого стойкого отпора белогвардейцы дрогнули. Шабатай вскочил на камень, крикнул:

— Труссы! Бойтесь босых оборвапцев... Вперед!

Шабатай ринулся к засевшим за камнями партизанам. Стрелял он беспорядочно: злость мешала ему целиться. Пули партизан высекали рядом с ним каменную крошку, но ни одна не попала в него. Каншау не спускал глаз с бегущего Шабатая. Несколько раз он прицеливался, но не стрелял. И лишь когда Шабатай, притаившись за обломком скалы, высунул руку с маузером, целясь в Шабаза, Каншау выстрелил. Рука Шабатая, как тряпка под сильным порывом ветра, отпрянула назад и больше не поднялась.

А потом Каншау усталыми от напряжения глазами видел, как раненный в руку Шабатай выскочил из-за обломка скалы, скользя и падая, побежал назад и куда-то в сторону — то ли спасая свою шкуру, то ли в надежде поднять

остатки отряда в повую атаку. Каншау сопровождал его петляющий бег виптовкой, но каждый раз, когда можно было стрелять, перед его глазами вставали Нальбике или Айдарук, — и он так и не выстрелил.

«Собака, конечно, — думал он о Шабатае, — но сын Айдарука. И пусть человек он бессердечный, но я танцевал на его свадьбе и искренне желал ему добра... Если уйду отсюда живым — то как покажусь на глаза Нальбике? Вот перед тобой убийца твоего бессердечного брата! — Он горько усмехнулся. — Как жесток этот мир, и как он издевается над нами...»

Каншау спохватился, что, увлекшись своими мыслями, давно уже не стреляет. Да и никто из партизан тоже почему-то не стрелял. Или уже некому стрелять? «Неужели один я остался в живых? — подумал он со страхом. — Все погибли в честном бою, а я тут размышляю».

Между скалами завывал ветер: казалось, скалы плакали. И вороны слетались уже к месту боя. Глубоко внизу шумел Черек, отвергая и оплакивая пролитую кровь.

«Все останется — и вражда, и любовь. А мы превратимся в землю. И земля расцветет. Только тем, кто станет посить траур по нас, она покажется потухшим очагом...»

Каншау пересчитал патруны. Подполз к убитому партизану: у того не было ни одного. Ко второму, третьему... Собрав немного патронов, он сел, вытер пот с лица и вдруг заметил нескольких белогвардейцев, что вышли из дальнего укрытия, и среди них Шабатая. Они, видимо, решили, что все партизаны перебиты, и шли спокойно, во весь рост. Каншау притаил-

ся, потом отполз назад, бессознательно ища выгодное место для стрельбы. Вспомнились слова Шабазы: «Последний, решительный бой». А где он сам? Только сейчас Каншау обнаружил, что на прежнем месте нет ни Шабазы, ни его пулемета. Неужели погиб? Но не было времени искать его.

«Жить рабом жалко...» Много месяцев эти слова Шабазы жили в сердце Каншау. Но смысл их он понял до конца лишь в часы этого боя. Понял и удивился тому, что слова эти произнес другой человек, а не он. Ведь он давно уже думал точно так же и всей душой презирал рабство. Но это убеждение скрывалось в нем так глубоко, что порой он и сам не понимал себя. И сейчас, когда, судя по всему, жизнь его подходит к концу, Каншау поблагодарил судьбу за то, что на его пути встретился Шабаз. Но Шабазы не было рядом, и теперь он сам должен был решить свою судьбу.

Когда Каншау нашел заветный камень и хорошо за ним устроился, первое и самое сильное желание его было — глоток воды. Потрескавшиеся губы его пропахли камнем. Ему казалось: внутри него — густой черный дым, и потушить его может глоток воды. Внизу шумел многоводный Черек, вдали белели громадины ледников, — а ему пужен был только один-единственный глоток воды...

Каншау выстрелил. Ближний к нему белогвардеец, громко и коротко вскрикнув, упал. Другой поклонился над ним и тоже больше не выпрямился. Каншау облизнул сухим языком губы — и языку стало больно. Осталось еще пятеро белогвардейцев, и среди них Шабатай. Спрятавшись за камнями, они открыли паль-

бу. Состязаться с ними Каншау не мог. Патроны были дороги ему, как родные братья. Когда их было шесть — Каншау был сильным. Теперь осталось четыре.

Шабатай, в рваной черкеске, с чисто выбритой головой, пополз вперед. «Большая голова, — подумал Каншау, — может быть, даже умная, а ищет себе смерть». Он приготовил пулю для Шабатая, но его опередили: выстрелили сзади. Шабатай тяжело встал с винтовкой в руке, не понимая, откуда пришла смерть, выругался, попытался выстрелить, хотя и не знал, куда целиться, и рухнул на землю.

— Туда ему и дорога, — сказали из засады. — Бежим, пока целы. Здесь за каждым камнем партизан... Не хотел он этого понять и погубил еще двоих...

Каншау видел, как четверо, пригибаясь к земле, побежали назад — трусливо, подло, убив своего командира. И хотя Шабатай был злейшим его врагом, первое, что пришло сейчас в голову Каншау, — убить его убийц. Убить за трусость, за подлость. Он даже винтовку свою вскинул, но тут же выронил ее из рук и привалился плечом к камню. Такой спокойный еще недавно, когда смерть вплотную подступила к нему, он стал теперь дрожать, как будто его настиг приступ лихорадки. Голова у него закружилась, в глазах погас свет...

Он очнулся под вечер и пошел искать Шабазу. Тот лежал, неловко согнувшись, в луже крови. Каншау дотронулся до него, перевернул на спину. В лесу начала куковать кукушка. Тело Шабазы еще не остыло, казалось: вот-вот он заговорит. Но он уже ничего не мог сказать. В охваченном красным закатом лесу блуждали

давно сказанные им слова: «Мы тоже люди, у нас тоже есть своя земля. Понимаешь, что такое родная земля? Имя народа, сила народа...»

Капшау вытер свое лицо нахлущими камнем и кровью руками и не понял, слезы у него на лице или пот. Кукушка перестала куковать. Теперь слезы падали на сумрачную землю. Закат был красен, как кровь. И смертью своей и всей своей жизнью Шабаз не дал Капшау оплакивать себя и сказал ему: «Иди!»

Он спустился со склона. В пещере коня не было. Поднявшись на выступ, Капшау увидел в бинокль: Карча на желтогривом гонит табун оседланных лошадей, — наверно, переловил лошадей убитых белогвардейцев. Капшау глянул вниз, на дорогу: кошица входила в ущелье. Больше ему тут делать было нечего.

Пока Капшау шел к ближайшему, хорошо знакомому роднику, ему было все равно. Позже, распластавшись на земле, он жадно пил студеную родниковую воду и чувствовал, как спала к губам его, а потом и ко всему телу возвращается жизнь.

Капшау положил под себя шапку и сел. Рядом бурлил родник, приветствуя белый свет, даря жизнь всему вокруг. В вечной борьбе родник искал себе путь, а Капшау сидел усталый, измученный. Он хотел собрать свои разрозненные, ускользящие мысли и понять, что ему теперь делать. А вечер постигал его и торопил. «Да, я должен сегодня же увидеть Нальбике, — решил Капшау. — Никуда не пойду, не увижу ее. Увижу — и все станет ясно».

В лесу было тихо и мирно, казалось: во всем мире никогда не было ни одного выстрела. Птицы возвращались к своим гнездам.

И туры паслись под строгим присмотром вожака...

«А там, в бедных саклях, плачут матери, — подумал Каншау. — И моя мать плачет, и Нальбиже... Несчастные женщины! Неужели вам неведомо, что когда сшибаются камни — один из них трескается, зажигая искры... Наш долг — уничтожить зло на земле. Этот долг мы исполним, чего бы нам ни стоило. Если надо, мы умрем за справедливую жизнь. Я не знаю, какой она будет и когда наступит. Но когда она придет, не плачь обо мне, мама...

Отец! Может быть, я не вернусь. Но я уйду вместе с жестоким миром, и уж никто потом не посмеет поднять на тебя руку. Не горюй, отец, свою дорогу Шабаз оставил мне...

Родник! Это завещание я дарю тебе. Передай его людям...»

За полночь Каншау вошел в аул. Все здесь было ему мило: и лай собак, и степенный шум реки, и тусклое мерцание окон в ночи. На миг ему показалось, что он и не покидал никогда весь этот родной ему мир, и стало мучительно больно за те минуты, когда он сидел у родника и прощался с жизнью.

Он вошел в сад. Высокое осеннее небо мерцало множеством мелких звезд, глотая редкие синие дымки, идущие извилистыми тропинками из высоких плетеных дымоходов приземистых саклей. Пахло свежее испеченным чуреком. Каншау вспомнил, что уже сутки ничего не ел, но тут же прогнал прочь шевельнувшийся было в нем голод. В переулке, который вел во двор Айдарука, на огромном пне сидели двое с ружьями и мирно беседовали. «Охраняют

дом, — подумал он. — Значит, тут важные гости».

Комната Нальбике была на втором этаже. Обойдя дом, Каншау увидел сквозь ветви большой вишни слабый свет в ее окне. Ему хорошо было знакомо это окно, и он, не раздумывая, влез на дерево. Достигнув уровня окна, он разглядел за стеклом Нальбике, лежащую в платье на топчаче. Ему показалось, что она ждет его. Каншау срубил кинжалом ветку и тихо постучал ею в уголок окна. Нальбике вздрогнула, вскочила, бросилась к окну. Длинные волосы ее были растрепаны, глаза опухли. В лице ее не было ни кровинки, как будто она вышла из могилы.

— Это я, — прошептал Каншау.

Нальбике уронила голову на подоконник и заплакала от счастья.

Каншау по ветке подполз к окну, прыгнул и повис, ухватившись за подоконник. Ветка сломалась с громким треском. Нальбике обхватила его голову, помогла Каншау влезть в комнату и тут же погасила свет. Внизу послышались озабоченные голоса.

— Наверно, ветер сломал ветку, — сказал один.

— Дурак, никакого ветра нет, — возразил другой.

— Тогда что же здесь шумело?

— Откуда мне знать. Может, к бийче залез кто-нибудь!

— Глупости ты говоришь. Кто осмелился бы, когда мы здесь? Кому не дорога жизнь?

— Алап, комната бийче вон та, да?

— Да, вон то окно. Что, хочешь к ней в гости?

— И ты бы не отказался!

— Не болтай. Услышат нас — по голове не погладят.

— Пойдем. Лучше бы сейчас быть с нею, чем сидеть на этом дурацком ине...

Они приглушенно засмеялись и ушли. Нальбике перевела дыхание и, припав к коленям Каншау, заплакала. Каншау гладил ее волосы, мокрое от слез лицо, прижал ее к своему сердцу, бьющемуся, как пойманная птица. Нальбике, онемев от слез и страха за судьбу Каншау, целовала его небритое лицо, потрескавшиеся губы и глубоко запавшие глаза. Потом, припав к его груди, она успокоилась и затихла, не смея открыть глаз и посмотреть на него, не смея вспомнить недавнюю свою слабость.

— Все восначальники белых у нас, — прошептала она ему в грудь. — Только что легли спать. О тебе говорили... Хотят поймать тебя.

— Я к ним сам сейчас пойду.

— Как можно так шутить? — обиделась она. — Даже врагу своему такого не пожелаю.

— Нальбике, я... я не хотел крови, не хотел убивать... Но теперь иначе нельзя. Я понял многое.

— Ни на шаг тебя не отпущу!.. Хочешь, убежим куда-нибудь? Куда ты хочешь, а?

— Прости меня, но сделать тебя счастливой я не могу, — с тоской в голосе ответил Каншау. — Надо быть счастливым самому, чтобы дать счастье другим. А такие, как я, счастливыми не бывают...

— С тобой в пещере проживу, буду спать на камне, накрывшись тучей, — и стану счастливой. Убежим, Каншау! Прямо сейчас, по-

чью... У тебя есть хороший конь, утром мы будем уже за перевалом. Там живут родственники моей матери, они не оставят нас на улице.

— Пристаннице найдется и поближе. Но пойми меня, Нальбике, я не свободен в своих поступках. Идет борьба, и мы обязаны довести ее до конца.

— Весь мир помешался... Неужели все дороги для нас закрыты и ты опять пойдешь в огонь?

— Отец твой отказал мне, брат твой обещал убить... И я должен выполнить завещание Шабазы... Не повезло тебе, Нальбике, со счастьем. Видно, прав был Дебош, и любовь наша преждевременная...

— Проклятье тому, кто разделил мир, — бессильно сказала Нальбике. — Оставим все это. Поешь что-нибудь и ложись, отдохни.

Нальбике принесла чурек, айран и свежесбитое масло. Каншау съел все, что она принесла, и выпил айран.

— Дай-ка я сниму твои чабуры, — заботливо сказала Нальбике.

Сонный, измученный Каншау, как во сне, погладил волосы любимой. Нальбике помыла ему ноги и помогла умыться...

— Увези меня отсюда, — попросила Нальбике ночью. — Воюй, если ты без этого не можешь, а я буду ждать тебя в другом месте. Здесь я больше не могу...

— Хорошо, я увезу тебя, — согласился Каншау. — Теперь это нам не стыдно... Но не сейчас.

— Тогда рана быстро зажила?

— Быстро... Ты думала обо мне?

— Думать о тебе... Нет, не то. У меня все

время пыла и сейчас поет грудь... Я чувствую беду, Каншау. Спаси себя и меня. Ведь ты можешь, зачем откладываешь?

— Завтра ночью я тебя увезу. Днем я должен похоронить Шабазу.

— И ты погибнешь, как он... Оставь этот опасный путь. У меня есть деньги, ты будешь жить как князь...

Нальбике заплакала, понимая, что ей не переубедить Каншау. А тот погладил ее по лицу и ничего не сказал.

Так они и уснули.

Горластый петух разбудил Каншау. Он быстро встал и глянул в окно. Звезд на небе осталось совсем мало. Каншау сказал проснувшейся Нальбике:

— Подожди этот день, вечером я тебя увезу.

— Самый длинный день в моей жизни...

— Счастья я тебе не обещаю.

— Все поровну, Каншау.

— Да, поровну. Прощай, родная.

— Счастливого тебе пути, счастливого...

Каншау выпрыгнул в окно, схватился за сломанную ветку вишни и тихо спустился на землю. Вокруг никого не было. Он проскользнул в знакомую конюшню и вышел оттуда с седлом. Быстро пересек сад и подкрался к тому месту, где паслись кони. Табунщик крепко спал под копной. Каншау поймал коня, оседлал и вскочил на него. Как бы предчувствуя недоброе, конь сильно заржал. Табунщик проснулся, разглядел в полутьме удаляющегося всадника и вскинул ружье. Выстрел гулко ударил в предутренней тишине.

XIV

УРОКИ ДОБРА

Погоня настигла его на самом краю скалы. Каншау прямо с коня прыгнул в пропасть.

Он надеялся, что разобьется и не попадет живым в руки врага. Но он остался жив, съехав на каменной плите с большой высоты. «Почему ты не хочешь забрать меня к себе, аллах?» — первое, что пришло ему в голову. Он лежал на берегу реки, у самой воды. Берег этот, как и все вокруг, было знакомо Каншау. Он решил пройти по руслу к трещине в скале и спрятаться там от погони, но не смог двинуть правой ногой: вся ышимла на этой ноге пропиталась кровью. «Терпенье, яркая звезда мужества — терпенье», — подбодрил себя Каншау. Хоть и на одной ноге, он попытался все же добраться до скальной трещины. С трудом поднялся, опираясь на левую ногу, шагнул и упал.

В беспомощности ему чудилось, что кто-то сражается рядом с ним, не пуская к нему преследователей. Его знобило, все тело наливалось каменной тяжестью... Потом он полз и, кажется, кинул в кого-то камнем... Что-то тяжелое павалилось на него и стало заламывать ему руки... Откуда-то послышалась знакомая песня о Сосруко: ¹

Нарты в путь далекий собрались,
Они в пути без огня и пищи остались...

Больше он ничего не слышал и не помнил. Связанного по рукам и ногам, его на коне привезли в аул...

¹ Сосруко — герой нартских сказаний.

В полночь Каншау очнулся. По ту сторону реки был знакомый дом, крытый железом. Там пели и веселились. «Волки радуются своей победе», — подумал Каншау. Когда в доме затихло, река донесла до него чей-то далекий плач. «На аул напали волки...»

На рассвете его повели на допрос. Он узнал многих таубиев из соседних аулов, но Айдарука среди них не было. Каншау посмотрел в окно на горы. Вон на том склоне он играл в детстве... А оттуда возил дрова, когда работал здесь дровосеком... Он вдруг испугался, что воспоминание о Нальбике ослабит его душу, и приказал себе ничего больше не вспоминать. «Нет, не победите нас, не победите...»

Перед хорошо одетыми и хорошо воспитанными людьми стоял, опираясь на палку, пастух с бескровным лицом и глядел на них без страха и раскаянья. Он был отступником, поднял оружие на тех, кто защищал неприкосновенность гор, неприкосновенность веры, неприкосновенность обычаев. И теперь эти хорошо одетые и хорошо воспитанные люди смотрели на него с омерзением.

— Где Шабаз? — спрашивали его, и Каншау порадовался, что они не знают о гибели его друга.

— Где нужно — там и находится, — ответил он. — Каждый камень его кунак.

— Не скажешь живым, скажешь мертвым.

— Чего волнуетесь? Он сам придет к вам, вот только не знаю: обрадуетесь ли вы ему.

— Я надеялся, ты станешь хорошим человеком, а ты изменил нашей вере и нашей земле, — сказал Адыхам.

Каншау не стал ему отвечать.

— Ты сын мирного Инала. Зачем запачкал руки кровью?

Со спокойным лицом смотрел Каншау на человека, у которого когда-то учился и которого уважал. Давно уже жил этот человек на земле и еще собирался жить. Каншау ни в чем не был виноват перед ним и лишь повторил любимую молитву эфенди:

— «Аллах не взыскивает с них за пустословие в их клятвах. Ибо в сердце их болезнь. Пусть же аллах увеличит их болезнь! Для них — мучительное наказание за то, что они лгут...»

— Сто ударов! Сто ударов! — нетерпеливо крикнул офицер.

Адыхам-эфенди встал и вышел из комнаты.

Посреди широкого двора сидел Айдарук, уставившись глазами в землю перед собой. Адыхам молча сел рядом с ним. Не глядя на него, Айдарук глухо спросил:

— Что с ним... с моим пастухом?

— Назначили сто ударов... — глядя в сторону, ответил Адыхам.

Они долго и трудно молчали. Это были большие люди в ущелье, а теперь их несло по течению, как щепки. Айдарук тяжело вздохнул.

— Перестань, — сказал эфенди. — Потерявший копя по плетке не плачет. Сейчас более, чем когда-либо, нужна трезвость ума.

— Когда запах крови щекочет поздри людей, кому нужен твой трезвый ум? В моем доме мои же кунаки не послушались меня: поставили виселицы в моем саду... — И воплем боли и отчаяния у него вырвалось: — С каким лицом должен я жить теперь? Скажи ты со

своим Кораном в руках, с каким лицом я выйду к людям?

— Каждая пуля летит своей правдой, и верховный судья всему — аллах!

— Нет никакого верховного судьи, Адыхам! Вот что страшное открыл я для себя.

— Аллах да спасет тебя, Айдарук! Что ты говоришь? — ужаснулся эфенди. — Кайся!

— Нет его и не было никогда! — Айдарук вскочил. В лице его была такая отрешенность и такая тоска, что Адыхам растерялся. — Я жил сказкой, — говорил Айдарук, шагая взад-вперед возле сидящего Адыхама. — Хотел сеять добрые семена. Но землю для этих семян я не пахал, не сажал деревьев, не пас овец... Моя княжеская гордость даже не позволила сделать счастливой единственную дочь... И вот, Адыхам, теперь я стою на краю пропасти, а ты со своим Кораном в руках скажи, что я сделал для облегчения участи тысячи моих аульчап? Чтобы преградить дорогу горю и бедности в палнем ущелье, что я сделал? И ты сказал ли хоть один раз мне, таубию, об этом? Оттого, Адыхам, и стою я на краю пропасти, а в моем доме не радость и смех моих кунаков, а виселица и плач...

— Ты восстаешь против мирового порядка, — ответил эфенди очень спокойно. — Есть маралы и есть кроты, есть копи и есть ослы, а также есть могучие чинары и есть кустарники... И людской род устроен точно по такому же подобию. Ужасно было бы жить, если б вдруг все стали князьями...

— Ты все это говоришь как выученную сурру Корана, — перебил его Айдарук. — А между тем сам не веришь в справедливость этой

мудрости. И не пристало кривить душой в такой день: в моем саду виселицы и лицо мое горит от позора... Если я князь, то князь для своего народа. Без него мы никто — ни ты, ни я.

Адыхам-эфенди думал о другом:

— Придут большевики и повесят тебя как князя в твоём же саду.

— Наверное, это будет высшая справедливость! — в запале закричал Айдарук.

Адыхам буркнул:

— Как не быть справедливости, если какой-нибудь батрак, раб по своему духу, вздернет на виселице такого человека, как Айдарук.

У Айдарука вырвался стоп, и он разом потух и сторбился, словно на него взвалили непосильную тяжесть.

— Я пойду, — сказал Адыхам, вставая. — Хотел услышать от тебя иные слова... То не гнев народный бушует вокруг нас, а тщеславный дьявольский клик горстки безбожников. Ты думаешь, они облегчат участь народа? Перед нами и грехом тебя остановят честь и достоинство князя, а что остановит безродного безбожного батрака, надели его аллах властью? Такой, став властелином аула, у брата потребует его сестру, у матери — дочь, лишь бы удовлетворить свою тщеславную плоть... И в такой день ты застеснялся виселиц в своём саду.

— Не знаю, Адыхам, — с горечью признался Айдарук. — Голова моя ничего не соображает... Слово ослеп я, ничего перед собой не вижу.

— Аллах да прояснит твою голову.

Айдарук целовко, как-то по-мальчишески

подошел к эфенди, положил обе руки на его плечи и, не поднимая глаз, глухо сказал:

— Помоги Каншау, я его как сына любил. Если с ним что случится... Не знаю, что будет со мной, но хочу, чтобы он остался в живых. Ради дочери... Не суди меня. — И когда Адыхам молча отошел от него, он шагнул за ним с протянутыми руками. — Адыхам, иди туда, ведь у тебя в руках Коран... Помоги ему.

Но Адыхам так ничего и не ответил ему.

* * *

А бить Каншау приказали Карче.

Ни один мускул Каншау не дрогнул. Он лишь просил: «Мужество, не покидай меня, не посрами перед этими изуверами...»

Накапуне был дождь. Теперь туман поднимался к вершинам. День обещал быть хорошим. Карча торопился.

...Четыре, пять, шесть...

«Терпенье, терпенье, терпенье... Светлая звезда мужества — терпенье...»

...Семь, восемь... четырнадцать...

«Вынесу, вынесу я! Пожить бы еще хоть неделю. Проскакать верхом на коне...»

...Двадцать... Тридцать три... Сорок...

«Неужели ни разу не смогу сесть на копя? Палач мой, не срамысь, бей как мужчина... Баран, превращающийся в волка. Но они не признают и тебя. Черная у тебя кровь, несчастный, черная кровь... А теперь и душа твоя черная... Правое дело победить нельзя. А если даже они и победят — ты все равно останешься слугой...»

...Сорок семь... Сорок девять, пятьдесят.

После сорока ударов тело его уже не чувст-

вовало боли. Он посмотрел на свои пальцы — они вонзились в землю, как корни. Он попробовал выдернуть их и не смог. А потом ему показалось, что он упирается в большой тяжелый камень, стараясь сдвинуть его с места, но земля уходит у него из-под ног, проваливается, а камень давит на него все сильнее и сильнее.

«Светило солнце, почему же пошел град?» Капшау прислушался и различил вдалеке человеческий говор. «О чем они говорят?» — подумал он, забыв, что лежит под камнем. Потом показалось: камень лопнул и своим куском ударил его в затылок... «Как я опустился, боже мой! — обиделся он на себя. — Вдруг не выдержу? А разве не позор — лежать под этим камнем?..»

Затем он увидел, как его пальцы-корни стали толще и земля треснула около каждого пальца. По трещинам потекли красные капли.

«Что это? Мои глаза перестали видеть...» Насилу поднял голову, осмотрелся. Скалы с гордыми гребнями, бывало, надвигались на него, а теперь они пятились и теряли свою высоту. Раньше не раз приходилось ронять шапку, глянув на их вершины. Почему же они стали теперь такими низкими? Прислушался: почему речка не шумит? Не может быть, чтобы весной речка высохла.

«Нет, нет, все на месте, только со мной что-то случилось. Наши горы... теплые, теплые горы... Они и сейчас, наверно, такие же, как при деде... Самые теплые в мире горы».

А потом перед его глазами встал гибкий и сильный парень. Он нагнул ветку рябины и высасывал сок ягод прямо с дерева. «Какой он

счастливым, — подумал Капшау. — Рябина налита соком и солнцем...»

Он хотел вспомнить еще что-нибудь, но это ему не удалось. Его тело все сильнее прижималось к теплой земле. Он позабыл и о камне, который давил ему в спину, и о пальцах-корнях, намертво вросших в землю, — все теперь стало для него безразлично.

После пятидесяти ударов Карча присел отдохнуть. Часовой торопил его, но у Карчи были свои давние счеты с Капшау, и ему нужна была сила, чтобы не продешевить и расплатиться сполна. А когда он отдохнул, на площадь приехал Адыхам-эфенди, слез с коня и с пагайкой в руке подошел к Карче. Чтобы доказать свое усердие, Карча стал бить смертника с еще большим озлоблением. И вдруг эфенди в гневе обрушился на Карчу и хлестал его пагайкой, пока тот не свалился. Часовой, пораженный беспричинной яростью уважаемого его начальниками почтенного человека, не знал, как поступить.

Адыхам склонился над Капшау.

— Заблудший! Дьявол и тебя не пощадил. И что мне с вами делать, сбившимися с пути?..

Растерянность была на его лице. Всегда знающий, что сказать людям и что делать, теперь он терялся в догадках, как себя вести. Наступало время, которое Адыхам уже не в силах был понять. И не о Капшау думал он, спасая его от смертельных ударов. Эфенди дальновидно решил оказать услугу Айдаруку, чтобы еще сильнее войти в доверие таубия и заставить его не колебаться в это тяжкое время.

Поздно ночью Нальбике пришла к сараю, куда был брошен избитый Каншау. Часовой не хотел ее пропускать, но она сунула ему золотую монету — и дверь сарая распахнулась.

Каншау лежал на охапке соломы. Нальбике кинулась к нему, потрогала его лоб, послушала сердце. «Живой, мой сокол, живой...»

Она вышла и вскоре вернулась с буркой, расстелила ее возле Каншау и перевернула его на бурку. Чуткими руками она гладила его опухшие босые ноги и старалась согреть их теплотой своего тела.

И снова Нальбике вышла и вернулась с кувшином воды. На ощупь смыла грязь с его лица. Каншау задвигался, попытался приподнять голову, но тут же уронил ее на бурку.

— Живого места на тебе не оставили, — с болью в голосе шепнула Нальбике.

— Воды, воды... — прохрипел Каншау.

Нальбике напоила его, и он уснул. А она сидела рядом и сторожила его сон.

На рассвете Каншау узнал ее и благодарно улыбнулся искусанными в кровь губами. Она рождена была для того, чтобы дать ему счастье. Они могли бы улыбаться друг другу каждый день, танцевать на свадьбах, смотреть в глаза своего ребенка...

Нальбике представила себе: вот он возвращается из леса с дровами, а она выходит встречать его. Усы его обледенели на морозе, торчат сосульками... А когда во время отлучек Каншау, в горах бушевала бы гроза, она молилась бы и просила бога уберечь его. Разве так уж много хотели они от жизни?..

А теперь он лежал измученный, гордый, умирающий, а она старалась укрыть его буркой, чтобы согреть иссеченное плетью тело.

Каншау очнулся и глянул на нее опухшими глазами.

— Нальбике, я был... — Он надолго замолк.

— Ты был и есть добрый и смелый! — сказала Нальбике.

— Иди домой, уже светло... Иди домой, месья моя, теперь я не смогу тебя защитить.

— Мы убежим... У меня есть золото, я зашью золотом глаза страже...

Каншау застонал. Нальбике вытерла его лицо платком и тихо спросила:

— Кто тебя бил? Уж очень он старался...

— Да, Карча старательный... А так жить хотелось...

— Ты будешь жить! — пообещала Нальбике.

Теряющему сознание Каншау показалось: мир озаряется не наступающим утром, а ее светом. Черная паль Нальбике дрожала, словно плакала на рассвете.

— Ночью мы убежим, — бредил Каншау. — Я уже предупредил Шабазу... Перед нашим домом будут расти рябины...

Часовой торопил Нальбике — надо было уходить. Она в последний раз обняла Каншау. Волосы на его голове были мокрыми от ее слез. Схватив кувшин, она побежала к реке.

На обратном пути ее повстречали Айдарук с Карчой.

— Добрый день, бийче, — заискивающе сказал Карча.

Нальбике молча прошла мимо с кувшином на плече.

— Что-то перазговорчивая она сегодня, — обратился Карча к Айдаруку, но, не найдя поддержки, обиженно засопел.

И тут Нальбике заговорила сама:

— Карча, этот кувшин такой тяжелый, не сможешь ли ты?

Айдарук удивленно покосился на свою дочь, а Карча кинулся к ней и проворно взял кувшин с водой из ее рук, словно боялся, что она передумает. А когда во дворе он опустил кувшин на землю, Нальбике поразила его еще больше:

— Карча, как растрепался ремень твоей виштовки. Дай-ка я заменю его.

— Бийче, вы не доставите мне большего счастья!

— О чем тут говорить. Пока вы уладите свои дела, я все сделаю.

Не чуя от радости под погами земли, Карча побежал за Айдаруком.

С крыши двухэтажного айдаруковского дома как на ладони виден сарай, где лежит в бреду Каншау...

Карча вошел в сарай и оторопел: Каншау был закутан в добротную бурку, в какой не стыдно ходить и бию... Так и есть, бурка айдаруковская: Карче ли не знать одежду бывшего своего хозяина.

— Бий, бий, в твой дом проник подлый враг! — закричал он, выскочив из сарая. — И как я проглядел? Меня здесь поставили не отцовскую могилу охранять... Но я дознаюсь!

Айдарук ничего не ответил. Карча обиделся.

— Я не зря говорю... Сейчас докажу!

Он шагнул к двери сарая, чтобы стащить бурку с Каншау и показать Айдаруку. Грянул выстрел. Карча схватился за левое плечо. Уда-

рил второй выстрел. Карча согнулся в поясе, покрутился на месте и грохнулся у порога сарая.

Айдарук не изменился в лице, будто ничего не видел и не слышал, и поспешил домой.

Нальбике сидела в коридоре и спокойно привязывала новый ремень к винтовке Карчи. Из своей комнаты, потревоженная выстрелом, выглянула Акбийче.

— Не сумели убить плетью — так убили пулей? — невозмутимо спросила Нальбике у отца.

— Стреляли не в Каншау, а в Карчу... — Айдарук перевел глаза с жены на дочь. — И стреляли из нашего дома.

— Сейчас так много выстрелов, отец, что трудно разобрать, откуда и кто стреляет, — сказала Нальбике, не замечая его смятения. — Вот привязала крепкий ремень к винтовке Карчи, отдайте ему... Старательных людей надо поощрять!

Разом постаревший Айдарук, весь дрожа, обнял Нальбике.

— Прости, дочь моя, не смог быть тебе опорой, не сберег твоего счастья... Я плохой отец, глупый человек... Прости.

Акбийче презрительно фыркнула и захлопнула за собой дверь. А Айдарук, переборов свое волнение и княжескую гордость, пообещал:

— Я дам откуп и возьму его к себе... Самых лучших врачей позову...

Но Нальбике его не слушала. У нее было свое решение, свой откуп от судьбы.

— Не горюй, отец. Горе пуще впереди.

*ТВОЙ
СВЕТ*

По ущелью течет река. Над рекой стоят высокие и юные скалы. Чуть выше их — там, где проходит путь Большой Медведицы, — застыли тучи. Звездный караван уже скрылся за горой, и луны нет на небе. Здоровым и крепким сном спит в этот час ущелье.

Вдали заиграли на свирели древнюю грустную песенку. В плавную мелодию незаметно вплетается нетерпение, словно кто-то стремится разбудить спящее ущелье и все вокруг.

И, вызванный этим зовом нарождающегося утра, человек выходит на крутой берег реки. Он чутко прислушивается к звукам свирели — дивному сказу о земле гор и камней. С дальних равнин приехал он сюда, и диковинными показались ему сначала большие груды камней, а рядом — узкие полоски земли. Для него было открытием, что эти каменные насыпи собраны руками многих поколений горцев с этих же узких полос. Вечно соперничали здесь камни и люди, и тяжелыми следами этой борьбы остались на земле эти каменные навалы...

Грустный напев свирели переходит в торжественный гимн пахарей. Земля задышала весенним духом. «Беспокойны сны землепашцев», — думает человек. Строители электростанции еще не стали настоящими строителями, им снятся плуги и добрые волы на рассвете. И они больше верят испытанному плугу, чем его рассказам о непонятном, никогда ими не виданном электричестве, которое скоро родит-

ся здесь... Обо всем этом и поет свирель в этот час в горах.

Брызги далекого рассвета падают на вершины, потом медленно сходят вниз, освещая горную грядку, тропинки и свежесвырытый капал вдоль склона. Свет выхватывает из предутренних сумерек угол дома с деревянными ступеньками. А прямо у обрыва — одинокую полузасохшую сосну с кривыми ветвями. За деревом, подалее от обрыва, из тьмы выступает холм, за которым тянется ряд палаток.

Человек долго стоит, зачарованный таинством утра и плетенный волшебной мелодией свирели. Трубка его потухла, он продрог, но не уходит и лишь поднял воротник кожанки. «Эта свирель — как вестник утра в горах, — думает он. — Мелодия звучит словно сквозь века, как голос седой старины. В долгом и трудном пути горцев свирель помогала им забыть свое горе и бедность...»

Здесь развернуто большое строительство. И он — Сергей Ромапович Берестов — возглавляет его.

Баксанская гидроэлектростанция была одной из крупнейших строек первой пятилетки на всем Северном Кавказе.

Берестова вызвали в Москву из Днепропетровска, познакомили с проектом. А потом сам Орджоникидзе беседовал с ним целых два часа. Он говорил о богатстве Кавказа полезными ископаемыми, разработка которых потребует в будущем больших затрат электроэнергии. И еще он говорил о трудностях, которые придется неминуемо преодолевать Берестову, когда тот станет начальником этого грандиозного для маленькой республики строительства.

— Кадров нет, — сказал он. — Тебе самому придется ковать их на месте. Самому придется не раз таскать бревна...

Они начинали здесь с маленькой фанерной будки на берегу Баксана. А потом с гор спустились балкарские пастухи, из кабардинских степей, с берегов Терека и Дона потянулись к Баксану земляпашцы. И стояли горцы перед горой с лопатами, кирками, посылками. Вместе с русскими — не зная их языка, привычек, характера. Было интересно, но тревожно...

Воспоминания приходят к Берестову вопреки его воле. Он силится прогнать их, но они подступили к нему вплотную и не уходят. Машинально он достает трубку из кармана, набивает ее грубым, сильно пахнущим табаком. Горы, разбуженные свирелью, как бы отодвигаются, оставляя его один на один с небольшим холмиком на крутом берегу реки. Он ясно слышит:

— Сережа, не прыгай, я переплыву...

Берестов закрывает глаза, холод сдавливает сердце. И свирель замолкла. Крик и боль любимой женщины звучат в этой тишине. Лишь вечный, не знающий милосердия шум реки не впечет горю человека, — и не такое видела река на своем долгом веку.

Он приехал строить горцам электростанцию на их большой реке, а та взяла у него жену. И теперь у него остались незаживающая рана в сердце и эта зарастающая травой могила.

Берестов поспешно отходит от обрыва, но идет не к себе в дом, а спускается к реке. Внизу уже работает мастер Бато, с которым он любит поговорить, когда на душе тяжело: у старика всегда находятся нужные слова.

— Здравствуйте, Бато. Такая рань, а вы уже трудитесь!

Мастер увлечен работой и отвечает не сразу. Он еще раз окидывает взглядом камень, не спеша подходит к Берестову и говорит так, словно они не расставались со вчерашнего дня:

— Как ты думаешь, сын Романа, если на камешных стенах станции вывести такие узоры?

Берестов сует остывшую трубку в карман кожанки, рассматривает камень со всех сторон, а сам думает: это революция разбудила в людях жажду творчества.

— Да это не узоры, а целые сказания, аксакал. Вот это, кажется, огонь. А это всадник... Какой-то богатырь на коне песет огонь.

— У нашего начальника зоркие глаза! — отвечает довольный Бато. — Сосруко принес людям огонь... И наши строители тоже несут огонь людям. На камнях станции это должно быть. Мы уйдем, придет другое поколение. А камни расскажут им о наших делах.

— Золотые у вас руки, Бато. Вам придется оставить работу камешника и основательно заняться резьбой по камню. Мы вам построим мастерскую.

Берестов искоса поглядывает на старика и видит, что тот огорчен таким легкомысленным предложением уважаемого человека. Бато отходит к камню и оттуда, не глядя в лицо начальнику, говорит:

— Не буду камешником — не стану и камперезом, сын Романа. Узоры мои рождаются тогда, когда я складываю камни. Не обижайся...

Бато углубляется в работу, давая понять, что разговор окончен. Берестов же, постояв с минуту, подходит к нему, кладет руку на пле-

чо старика, по-сыновнему улыбается ему и, ничего не говоря, уходит.

Он идет по берегу, перепрыгивая с камня на камень. Берега здесь пологие, заметны следы старых дорог. «На этом месте кончается быстрина Баксана, — думает Берестов. — Дальше у реки другой путь — вот и характер ее становится совсем другим...»

Сначала Берестов заглянул к взрывникам. Здесь уже работали два перазлучных друга — Заммай и Адыл. На стройку они пришли недавно, но уже успели завоевать авторитет среди строителей своей старательностью и трудолюбием. Заммаю лет сорок, это сосредоточенный, спокойный человек. Адыл же кажется то ровесником Заммая, то совсем зеленым парнем. Он нетерпелив, рассеян, однако взрывное свое дело знает хорошо. «Кажется, для него нет ничего сложного в жизни», — думает о нем Берестов.

— Иш колай болсуп! ¹ — приветствует он их по-балкарски. — Видел, портреты ваши висят на доске Почета. Молодцы!

— Что тут молодецкого? Для чего пришли сюда, если не будем работать, — отвечает Заммай.

— Э, Сергей Романович, горцы рождаются для того, чтобы работать. И умирают они работая. — Адыл говорит не своим голосом и как будто чужими словами.

— Милые, не думайте, что степняки живут сложа руки. — Берестов шагает к плотине. Верхней, плотины еще нет, заложен лишь фундамент — мощный монолит, выпирающий из

¹ Пусть работа ваша будет доброй.

земли. Слова Берестова звучат как лозунг: — БаксапГЭС оправдает все ваши труды!

— Не думайте, что я хвастаюсь, — сказал вслед ему Заммай, — но, клянусь Корапом, жаль и того времени, что уходит на сон.

— Вот-вот, на сон ушло много времени. Горцам надо наверстать упущенное.

— Под вашим руководством мы не только наверстаем упущенное, но и... — Адыл запнулся, заметив, что Берестов его не слушает. — Я говорю то, что думаю, — несмело продолжал он. — Я говорю... Я благодарен... Я честный горец...

Берестов смотрит ему прямо в лицо. Адыл опускает глаза.

— Я несколько не сомневаюсь в этом, — успокаивает его Берестов. — Ты честный горец, Адыл, и работаешь честно. А как же иначе? БаксапГЭС — это революция, а к революции иначе нельзя относиться...

Солнце выкатило из-за гор свой огромный красный чурек. И оттого, что солнце похоже на чурек, испеченный в горячей и доброй золе, земля задышала легко и радостно.

...И в тот день из-за гор выкатывалось такое же солнце. Им обоим с Надей было светло и легко. Он сколачивал первые бригады строителей, а Надя — выпускница московского института гражданских инженеров — «конструктивистка», как шутя называл ее Берестов, закатывала последние инженерные изыскания. «Целесообразность и красота — вот мудрость инженера», — говорила она, перефразируя известное изречение Горького.

Жарко и многолюдно было в тот день в его фанерной будке: люди шли непрерывным по-

током. Надя готовилась ехать с докладом в Москву. Позже, когда он переделал все срочные дела, они пошли погулять — и Надя сорвалась с обрыва и упала в бурную реку. И последняя ее забота была о нем: «Сережа, не прыгай, я переплыву». Берестов кинулся за ней в воду, но не смог спасти. Его самого чудом спасли горцы. Река жестоко обошлась с ними — как бы мстя за то, что они дерзнули нарушить ее вековой покой...

Берестов и не заметил, как оказался у единственной крупной машины на всей стройке — у старого экскаватора «Марион», подаренного Баксанстрою днепронетровцами. Экскаваторщик Бетал остановил машину и, спрыгнув на развороченную землю, приветствует непривычно рассеянного сегодня начальщика. А тот говорит, глядя на него невидящими глазами:

— Прости меня... Я не смог тебя сберечь...

Бетал смущен. Правда, ему давно уже обещали напарника: сейчас приходится работать по две смены. Но что делать, если не хватает рабочих. На стройке никто не бережет себя.

— Как дела? — спрашивает Берестов громко, стремясь бодростью голоса заглушить горькие свои воспоминания.

— Разве плохо! Иногда работаю по шестнадцать часов в сутки. Вдвоем было бы легче — да и сделали бы больше.

— Знаю. Вчера опять ездили по аулам, звали на стройку. Если кто придет...

Бетал догадался уже, что начальник не в духе. Надо бы успокоить его, по делу прежде всего — и он говорит:

— Вчера тоже приходили...

— Двое прибыло, а девять уволилось. Кто-

то очень хочет помешать нам. И тебе тоже следовало бы подумать об этом.

— Стройка большая, пароду много, — пытается найти объяснение Бетал. — Кто уйдет, кто вновь прибудет.

— Не в этом дело, джигит. — Берестов смотрит туда, где воздвигаются акведуки, словно пытается найти там ответ. — Знаешь, чем они оправдывают свой уход? БаксанГЭС якобы готовит что-то злое для всех горцев. Якобы! А ты беспечно полагаешь...

Бетал ничего не полагает — и теперь видит в этом свой самый большой недостаток. А Берестов отводит глаза от акведуков: сколько ни смотри, а там уже три дня стоит работа — нет цемента. И уже уходя, он окопчательно ошеломляет Бетала — честнейшего своего работника.

— Есть у нас и такие: в глаза говорят одно, а за глаза делают совсем другое.

Все уважение Бетала к своему начальнику сразу же улетучилось. Он принял эти несправедливые слова на свой счет — и в душе его яростно заговорил оскорбленный горец, мгновенно отменяя все хорошее, что было между ними, и потребовал удовлетворения. А Берестов ничуть не чувствует себя виноватым, он даже не заметил, что обидел Бетала, и спокойно идет по своим неотложным делам. В начале каждого рабочего дня он привык осматривать стройку, чтобы учесть все неполадки и принять срочные меры.

Бетал, полный самых тяжелых подозрений, рванулся вслед за ним, но вдруг остановился, будто налетел на неприступную стену: паперез Берестову со всех ног спешила бригадирша

землекопов Балкарова. И Бетал повернул назад: не следует уважающему себя горцу говорить о своей обиде при женщине — тем более такой языкастой, как эта бригадирша.

II

Оставшись одни, Заммай и Адыл разом помрачнели. Не говоря ни слова друг другу, они взглядом проводили Берестова.

— Слушай, как ты думаешь, этот Арсен... ну, этот кучер пачальника, не поможет ли он нам? — спросил Заммай. — Вроде он подходящий?

— Какая помощь! На кой черт тебе нужна его помощь? Если б не твое выжидание...

— Не спеши. Глупо от нетерпенья погубить себя. Кто сказал, что начальник не носит с собой оружия?

Спокойствие Заммая прямо-таки бесит Адыла.

— Ночью верней ножа оружия нет. Всади и пролей кровь! Он и дыхнуть не успеет. Пока ты ждешь удобного случая, он здесь сделает свое дело!

А Заммай:

— Что сказал тебе Ахия-Хаким? Река, которая торопится, моря не достигает, сказал. Тенерь топорище в руках большевиков, а его лучше пули, лучше кинжала сломает слово, сказал. Большевики — не дураки. Ты думаешь, от любви к народу они строят эту электрическую станцию? Нет, брат. Они это делают для того, чтобы извлечь богатства Кавказа, забрать их себе.

Адыл нетерпеливо слушал, не находя убе-

дительных слов для возражения. Заммай глубоко, с болью, вздохнул. От лица его отлила кровь, и оно стало серым. Глядя поверх головы Адыла в сторону копторы, над которой в этот утренний час развевалось красное знамя, он проговорил как заклинание:

— И еще сказал Ахия-Хаким: Советская власть яблоко, а вы — черви. Грызите, портите, пусть гниет, сказал. Мало будет толку, если мы ежедневно станем убивать по одному человеку. Но если сумеем добиться, чтобы ежедневно со стройки уходили люди — десятки, сотни людей... Что толку с того, что ты убережешь русского пачальника? Надо убить Советскую власть. Пока она жива — ты не увидишь и копыта отцовских волов и копей.

И тут Адыл пакопец-то нашел единственно верный довод против всех рассуждений Заммая и вплотную подступил к нему.

— Я мудрей Ахия-Хакима! У него борода, а у меня оружие! В борьбе успех дела решает не борода, не слово, а кинжал. Кинжал — вот кто тамада в борьбе! Глупцы вы с Ахия-Хакимом, если думаете отобрать топориче у большевиков. Я хочу отомстить за отца!

— Осел умнее, чем ты.

Адыл готов броситься с кулаками на Заммая. На миг он даже заподозрил его в измене. Уж не думает ли Заммай удержать два арбуза на одной ладони? Почему он так упорно тянет с убийством русского пачальника? Жену Берестова аллах покарал, и его самого давно пора уничтожить. Ведь ясно, что каждый упущенный день умножает силу комиссаров. Горцы стали больше верить им, чем аллаху.

Мысли эти секут Адыла как плеть, и под

их ударами пальцы его сами собой сжимаются в кулаки.

— Ты трус! Ты хуже, чем женщина! — кричит он.

— Однако не ты, а я убил охранника, — спокойно возразил Заммай. — Если бы кулаки и выкрики имели силу, наши князья давно бы истребили большевиков. Ты горяч и смел, но каких горячих и смелых князей я знал! Где они? Под землей. Или на чужбине, что еще хуже, чем под землей.

Адыл притих. Вот такой он больше правится Заммаю.

— Пойми, все здесь следят друг за другом, — вкрадчиво убеждает он. — Ты думаешь, так просто убить начальника?

— Чем трудней — тем почетней. Ты жить хочешь, а я хочу убить русского и умереть.

— Ты опираешься на камень, который может свалиться. Думаешь, я не знаю, к чему ты стремишься? Поскорей уничтожить Советскую власть? Ха, как бы не так! Ты торопишься оседлать коня, которого Ахия-Хаким обещал в награду. Поспешишь — останешься без копы да и голову свою здесь сложишь...

У Адыла нет больше сил спорить. Заммай, конечно, не прав, дело не в обещанном копе. Перед его глазами — отец в крови. Разве не видит Заммай, как он вскакивает по почам, как раны отца призывают его отомстить? Но Заммай прав: погубить надо не себя, а врага.

— Я не знаю, что говорю, — признался он. — Красные на моих глазах убили отца... Не сердись. Решай, как дальше быть.

— Встретимся с Ахия-Хакимом, когда он появится в этих краях. — Заммай поплевал на

руки и поднял с земли бур. — А пока потрудимся для доски Почета: передовиков меньше подозревают... Надо, чтобы они ежедневно чего-то педосчитывались, а мы оставались невредимыми. Вот на очереди экскаватор — ты и взорвешь его.

— Я?

— Да, ты. Что, испугался?

— Механик ни на минуту не отлучается от своей машины. Даже и спит там.

И тогда Заммай напомнил Адылу его же недавние слова:

— Что ж, чем трудней — тем почетней.

III

На развилке двух дорог, ведущих к Баксан-ГЭС и Нальчику, остановилась арба. С нее нехотя слез парень лет двадцати, с котомкой на спине и пастушьим посохом в руке. На нем рубашка с высоким воротником из домотканой шерсти, из того же материала шаровары, на ногах чабуры, на голове большая лохматая шапка. На поясе, отделанном серебром, висит пастуший нож в ножнах.

Парень попрощался с аробщиком, с восхищением глянул на мощные рога волов и зашагал вниз по узкой дороге. Спinoй он почувствовал, что и аробщик и волы глядят ему вслед: волы — поняв его дружелюбие, аробщик — огорченный тем, что расстался с собеседником. И эти взгляды в спину остановили его, заставили обернуться.

Он стоял посреди узкой дороги и с тоской смотрел на арбу, на аробщика, на великолеп-

ных волов. Ему показалось, что он забыл на арбе что-то очень дорогое, но что именно — никак не мог вспомнить. «И почему он не трогается?» — с досадой подумал парень. И волы, спокойные в своей правоте и силе, тоже, кажется, думают о том же. Шеи их мощны, что им ярмо, хотя оно совершенно новое, добротное выделанное из крепкого дерева. Наверняка они даже не замечают его. Так, висит себе для порядка, для дороги. А может, для пих это вроде украшения?

Аробщик не спешит уезжать, словно боясь за судьбу этого парня. И здесь есть чего опасаться. Вон на косогоре лязгает и громыхает непонятная машина с длинной вертлявой шеей. Издали трудно разглядеть, что она там делает, но вся она — как олицетворение того нового и чужого, что ждет вчерашнего пастуха на стройке.

Наконец арба медленно трогается, колеса ее мерно и назидательно скрипят. Волы идут, гордо подняв головы, — уж они-то не собьются с пути. Парень ясно видит, как на прощанье они машут ему широко раскинутыми, устремленными ввысь рогами. Ему хочется побежать за арбой, вспрыгнуть на нее, распластаться на сене, пахнущем молодой осенью, и ехать, ехать, уткнув лицо в этот с детства любимый запах, слушать мерно-назидательный древний скрип колес и спокойный, родной покрик аробщика: «Хож, хож!»

Но ему надо идти по другой дороге, которая дрожит от гула неведомой машины. Ему надо идти по этой дороге, ибо ради этого он оставил в далеком ауле свою мать, спустился с гор, слез с уютно-скрипучей арбы, да и волы уже пома-

хали ему на прощанье своими чудесными рогами.

И он пошел.

Он пошел, а Бетал снова остановил экскаватор. С минуту он сидит, опустив голову на рычаги управления. На память приходит день, когда на посту был убит охранник склада. Это был молодой казак с Дона — одногодок Бетала. На праздник Первомая он поспорил с Беталом, кто кого перепляшет, и выиграл поединок. До сих пор Бетал не может забыть этого лихого парня.

Долго тогда Берестов был угрюм и неразговорчив. Всем было ясно: смерть русского парня тяжелой тенью легла на плечи каждого честного горца. Человек пришел к ним с открытой душой, чтобы помочь им, а его здесь убили. Если б нашли тогда убийцу и отдали его строителям — они бы его закопали живьем в землю. Может, в причастности к этому убийству и заподозрил его начальник?

Бетал вскочил. Сильно ударился головой о верх кабины, но боли не почувствовал. «Надо выяснить, — думает он, быстро шагая к конторе. — Нельзя оставаться под таким позорным подозрением».

Но Берестова в конторе нет. Секретарша Нина сказала, что он где-то на стройке.

— У тебя что-нибудь срочное? — спрашивает Нина и предлагает Беталу сесть.

Бетал стоит неуклюжий, смущенный, — и уйти не может, а садиться и подавно не хочет. Он ловит себя на том, что горечь его обиды помаленьку развеивается в этой комнатушке, под мирное стрекотанье пишущей машинки. Еще минута-другая — и от злой его решимости

потребовать объяснения от Берестова ничего не останется.

— Что с тобой? — тревожится Пина. — Экскаватор сломался?

— Дело у меня к начальнику, — отвечает Бетал почти грубо. — Подожду на улице. — И выходит, захлопнув за собой дверь.

Только сейчас заметил Бетал, что выдался теплый день. Весна в разгаре. Это уже четвертая весна, как он работает здесь. Русский механик, который привез сюда старый иностранный экскаватор из Днепропетровска, научил его копать землю машиной, стал самым дорогим кунаком его дома, а потом вернулся к себе. Замечательный был человек: крутой, упорный, об одном два раза не скажет. Много перепял у него Бетал. «Выбери смекалистого напарника, научи его и сам учись дальше», — говорил он. Однажды и Берестов вскользь пообещал: «Найду тебе парня хорошего, подучишь его. Думка про тебя у меня есть». С тех пор Бетал ходил окрыленный, все ждал обещающего напарника. А вот, оказывается, какая думка была у начальника...

Бетал положил свою войлочную шляпу на пригорок и уселся на нее.

— Сиди, кунак, девять месяцев, варись, котел, десять месяцев, чарыки у меня из шкуры сорокагодовалого быка, не изнаются раньше скупости хозяина! — сказал он сам себе. И его развеселила эта старая горская притча: к скупому хозяину, у которого в большом котле варилось мясо, пришел гость, а хозяин-скупердяй в надежде, что гость уйдет, долго не снимал котел с цепи. Да, как тот находчивый кунак, он намерен ждать хозяина. И хозяин обязательно

должен показать ему, что там у него в котле.

Притча настроила мысли Бетала на иной лад. И нынешняя его обида показалась вдруг ему не такой уж обоснованной. Уж не выдумали ли он ее? Ведь Берестов мог просто упрекнуть его в невнимательности и недостаточной бдительности. Когда болтают разные небылицы про БаксапГЭС, когда в самые ответственные дни люди бегут со стройки, — что ты сделал, чтобы предотвратить все это? Ничего! Славно управляешь экскаватором и копаешь землю, — а что дальше? Почему твоя душа не горит тем же огнем, что и душа Берестова?

И тут тропинка, по которой шли мысли Бетала, раздвоилась. Он вдруг заноздало заметил, что сколько бы ни ходил от дома к экскаватору, а от экскаватора к митингам, но ни разу не догадался посмотреть, как другие ходят по этой же дороге. А ведь дорога эта исполосована тысячами следов — ровными и вихляющими, почными и утренними. Следы эти скрещиваются, затаптывая друг друга, — и каким надо быть зорким, чтобы не потерять из виду все эти следы...

Вот в чем обвинял его начальник. Он верил в Бетала и ждал от него не только хорошей работы на экскаваторе, но и каждодневного участия в жизни большой стройки, — и надежды эти пока не оправдались. Странное дело: укор Берестова, даже толком не понятый Беталом, причинил ему боль, а это вот обвинение самого себя в слепоте приободрило его — как свидетельство того, что и он прозрел.

Бетал вскочил и зашагал к конторе. Он хочет извиниться перед Ниной за свою недавнюю грубость.

А со стороны реки к конторе поднимается тот парень с котомкой и пастушьим посохом. Так и сам Бетал пришел на эту стройку четыре года назад. И котомка у него была такая же тощая и посох точь-в-точь такой. Уж не сон ли это? Или все в жизни повторяется?

Парень с любопытством новичка озирается вокруг. Он тоже увидел Бетала, но не окликает его, а говорит как бы про себя, но так, чтобы и тот услышал:

— Ну и дела здесь творятся. Одни говорят, что большевики молнию тут делают, чтобы ею уничтожить горцев. Другие же клянутся, что она будет освещать наши дома. Не знаешь, кому и верить...

Бетал стоит к парню вполоборота. Интересно, что еще скажет новичок.

— Асалам алейкум, алап. Ты не знаешь, где тут принимают на работу?

Бетал медленно поворачивается к парню.

— Откуда ты приехал?

— Из Гунделена... Гунделенец я.

— погоди. — Бетал живо шагнул к новичку. — Тебя сам бог ко мне послал. Работать приехал, да?

— Хотел попробовать. Если...

— Никаких если! Мне нужен папарник.

— А ты где работаешь?

— На экскаваторе.

— Где?!

— На экс-ка-ва-то-ре.

— А что это такое?

— Машина, которая копает землю. Серьезная машина.

— Не ври. Как может машина копать землю? Разве у нее есть руки и ум? — Парень сме-

ется, довольный тем, что так ловко срезал Бетала.

— И руки есть и ум. А силы... как у богатыря!

— С богатырями я еще не работал...

Парень опасливо отодвигается от Бетала. А тот от радости или от удивления, что встретился с таким темным человеком, бежит к Нине, начисто позабыв уже о том, что привело его сюда.

— Нина, кричит он, — я нашел интересного гунделенца!

Нина выходит на крыльцо конторы. Она рада и веселому солнцу, и тому, что в Бетале и следа не осталось от педавной его злости.

— Как ты думаешь, — спрашивает ее Бетал, кивая на парня, — в каком веке он живет?

— А разве не в нашем веке?

— Как может в нашем веке жить человек, который даже не слышал слово «экскаватор»?

— А ты сам обо всем на свете слышал?

Бетал смущенно переступает с ноги на ногу, но находя достойного ответа.

— Я просто не знаю, что это такое, — оправдывается парень. — А вдруг дело это дурное...

Беталу одновременно и жалко парня, и очень смешно.

— Нет, Нина, этот гунделенец залез мне в душу. Возьму его в папарники и выучу.

— Прекрасно, а как его зовут? — Нина разглядывает парня с симпатией.

— Сейчас узнаем. — На правах будущего учителя Бетал кладет руку на плечо парня. — Как тебя звать?

— Мурат.

— Хорошее имя, — говорит Нина.

Застеснявшийся Мурат уперся взглядом в свои запыленные чабуры. А Бетал развеселился не на шутку:

— Мурата привели сюда красивые девушки!

— А что? Этим он наших девушек не огорчит.

Нина уходит в коптуру, а Мурат, поборов стыдливость, провожает ее глазами.

— Кто она?

— Аха! Ты на нее не заглядывайся. Это, брат, первая девушка БаксанГЭС — Нина Смирнова из Ленинграда.

— Откуда, говоришь?

— Из Ле-пин-гра-да.

— Ой-ой-ой! — Мурат чешет голову.

— Тебе надо записаться в ликбез.

— А то я в ликбез не ходил. А только, чем больше узнаешь — тем больше перед тобой неизвестного...

— Ну, хочешь ко мне в папарники? — нетерпеливо перебивает его Бетал. — Зря сомневаешься: освоишь машину — специальность у тебя будет. А я учиться уеду.

Он спешил увести Мурата к экскаватору, познакомить парня с умной машиной, а потом поставить пачальника перед фактом: мол, сам нашел себе папарника. Уж очень напомнил ему гудделенец его самого, каким он был четыре года назад.

— Цойдем! — торопит он Мурата.

Но пыльные чабуры словно приросли к земле. Мурат растерял, в пастойчивости Бетала ему чудится что-то педоброе. А признаться в

этом не может — крестьянская осторожность и честь джигита схлестнулись в его душе.

И лишь когда Бетал говорит: «Быстрой, я опаздываю», — Мурат нехотя двигается за ним.

— Из какого ты рода? — шагая впереди, спрашивает Бетал, не оборачиваясь.

— Из Отаровых я...

Мурат немного осмелел. Он даже собирается что-то спросить, а что именно — и сам еще толком не знает, но чувствует, что вопросы рождаются в нем и вот-вот сорвутся с его языка. А пока он послушно шагает за Беталом и молча удивляется: впервые он видит так много людей, работающих вместе.

Они идут вдоль свежеврытого канала. Как в щебечущий птицами майский лес входят они в шум землекопов. Здесь работает женская бригада — и издали склон кажется покрытым колышущимися цветами.

Из глубины канала девушки вывозят тачками и выносят на посылках каменистую землю наверх. А другие вшизу копают, рыхлят кирками неподатливый грунт. Несмотря на ранний час, вид у девушек усталый, но они шутками подбадривают друг друга.

Чертовски не везет сегодня Беталу. Только-только он собрался вклинить свою шутку в разговор ближайших девушек, как заметил на дне канала Берестова с главным инженером.

— Если дело и дальше пойдет такими темпами — мы не успеем прорыть туннель в срок, — озабоченно говорит Берестов.

И бригадирша землекопов Балкарова — та самая, что помешала утром Беталу объяснить-

ся начистоту с начальником, — тут как тут. Ей лет тридцать, женщина она неуступчивая и энергичная. Сейчас она кажется Беталу даже слишком энергичной: только что жаловалась Берестову на нехватку людей, а увидела Бетала и прямо-таки набросилась на него:

— И экскаватор не работает в полную силу! Вот он, ваш любимчик, полюбуйтесь!

— На Бетала я не могу обижаться. Он делает больше, чем другой на его месте, — заступился Берестов.

— Другой на его месте работал бы на своей машине, а не разгуливал бы возле моих де-вушек... — ворчит Балкарова.

«Хуже нет, когда женщин ставят начальниками», — думает Бетал, а вслух говорит громко, перебивая Балкарову:

— Вот парень приехал поступать на работу. Я с ним уже договорился. Сергей Романович, сдержите слово.

Но Балкарову не так-то просто заставить замолчать.

— Ни слова, Бетал! — И Берестову: — Вы же получили телеграмму из Днепропетровска. К нам на подмогу уже едут рабочие. Пусть Бетал пока потерпит... Тем более он такой незаменимый, другого на его место не найти!

«Не женщина — змея...» А Балкарова уже подхватила под руку этого теленка Мурата.

— Ну как, парень, идешь к нам?

— Не знаю. Если пригожусь для чего-нибудь...

— Мы копаем землю, для этого много споровки не падо. — И повернувшись к Берестову: — У нас одни девушки, Сергей Романович. Вы знаете, сколько сил добавит им присутст-

вие парня... — Балкарова покосилась на притихшего Мурата. — Тем более такого видного!

Бетал возмущенно крикнул и в последний раз попытался отговорить Мурата:

— Что тебе там делать среди женщин, гунделенец?

— Как что? Буду землю копать — дело знакомое, не то, что эта машина...

— Вот умница! — похвалила бригадирша и крепче прежнего уцепилась за локоть Мурата.

— Не будем спорить с женщиной, — посмеиваясь, прервал затянувшийся спор Берестов. — Действительно, мы ждем новую партию строителей из Днепропетровска. Не отчаивайся, Бетал. — И Балкаровой: — А вы позаботьтесь об устройстве повичка.

— За этим дело не станет, — пообещала торжествующая бригадирша.

Она исподлобья смотрит на огорченного Бетала. Свет внутреннего сдерживаемого смеха отражается на ее лице. В другой раз Бетала порадовало бы, что она притаила свой победоносный смех, но сейчас это умение владеть собой еще больше злит его — как свидетельство ее двойного превосходства над ним. Память возвращает его к той обиде, которая плетью гнала его сюда. Да, все в сговоре, все в чем-то его подозревают. Несомненно, начальник, сказав приятные ему слова, подмигнул и своему инженеру и бригадирше, издеваясь над ним.

И плеть незаслуженной обиды с новой силой начинает хлестать его. Балкарова увела Мурата. А он стоит перед начальником, который знает о нем что-то нехорошее. Слова грубые, но справедливые рождаются где-то в глу-

биле Бетала, растут, зреют. Вот уже первые из них на кончике языка. Сейчас он скажет, потребует ответа. Он должен знать, в чем его подозревают...

И в этот миг Берестов сказал спокойно:

— Иди, Бетал, работай.

— У меня к вам дело.

— По личным делам только после смены.

— Я работаю все смены.

— Можешь прийти в обеденный перерыв. Приходи ко мне прямо домой. Пообедаем вместе и потолкуем. Я не забыл о твоей учебе...

Не говоря больше ни слова, с войлочной шляпой в руке, Бетал пошел к своей машине.

* * *

Сильно удивились в тот день землекопы, которые работали неподалеку от экскаватора. Бетал был словно сонный: то ковш никак не попадал в одно место два раза, то так яростно вонзался в землю, что у машины не хватало силы поднять груз. И тогда мотор завывал, слабая, а сам машинист был в поту.

Бетал не услышал, когда зазвонили на обеденный перерыв. Он работал бы, наверно, до конца смены, если б его не окликнули Заммай и Адыл и не позвали его пообедать вместе с ними. «Я сегодня обедаю у начальника», — чуть не вырвалось у Бетала, но вслух он сказал:

— Что-то не хочется есть.

Подрывники расстелили кошму. Был у них айрап, свежесбитое масло, чурек, сушеное мясо. «Как хапы едят», — мельком подумал Бетал.

Он выпрыгнул из кабины, посмотрел на

солнце и поймал себя на том, что идти к Берестову ему не хочется. «Сам напросился, а теперь отказываешься! — поругал он себя. — Хуже последней женщины».

В общежитии Бетал умылся, переоделся и пошел к Берестову. Тот уже ждал его.

— Трудно, брат, без жены, — сказал Берестов, накрывая па стол. — Не могу забыть Надю. Вот и сегодня...

— Да, Надежда Николаевна была как Адюх, — согласился Бетал.

— А кто это — Адюх?

— Разве вы не знаете? Это красавица из нартских сказаний. Она освещала путь нартам.

Впервые за сегодняшний день Берестову стащовится легко на душе. «Адюх, освещающая дорогу нартов, — благодарно думает он. — Как далек я от жизни рабочих. А они... Они даже сравнение для Нади нашли — назвали героиней, освещающей дорогу своим богатырям...» Он вдруг спросил:

— Ты любишь, Бетал?

— Кого?

— Ну, кого-нибудь?

— Нет, — твердо ответил Бетал.

Берестов усмехнулся и положил руку на его плечо. Он не раз замечал, как смущается Бетал при виде девушек.

— Чего вы смеетесь?

Берестов, улыбаясь, наливает ему чаю. А Бетал еще злее:

— Почему вы смеетесь? Что я такого сказал? И вообще...

— И вообще, Бетал, не надо стесняться любить!

Хотя Берестов все еще улыбается, но гла-

за у него грустные. Бетал замечает это. И еще он замечает, с каким участием Берестов смотрит на него. Против зла и ехидства он готов бороться, а вот чужая доброта обезоруживает его.

— Любовь — чувство великое, — продолжает Берестов. — В его боли, может быть, больше счастья, чем в его радости. Не надо бояться этой боли...

— А я разве боюсь? — осторожно спрашивает Бетал. Меньше всего он думал о том, что ему придется говорить с начальником о любви.

— Во всяком случае, я от всей души желаю тебе удачи... Да, кстати, я ничем не обидел тебя сегодня? А то на канале у тебя был такой вид... Учти, у меня так бывает: скажу что-нибудь просто так, а вы обижаетесь. Уж больно вы, горцы, обидчивы... — И пожаловался доверительно: — Знаешь, иной раз я больше думаю не о работе, а о том, как бы ненароком не обидеть кого-нибудь. А БаксанГЭС и вышестоящие организации времени на такие пустопорожние размышления мне не отпускают!

— Но самые мощные ГЭС и самые высокие организации не дают начальнику права обижать подчиненных, — нашелся Бетал.

— Так-то оно, так... — Берестов внимательно посмотрел на Бетала. — Ты учти: когда я на самом деле хочу обидеть — я говорю громко, даже кричу, и голос у меня тогда визгливый, самому противно слушать!.. Ну, так как, обидел я тебя сегодня? Ты не стесняйся, лучше прямо скажи.

И Бетал опять нашелся:

— Какая обида? Вы же на меня не кричали!

Берестов внимательней прежнего посмотрел на Бетала и предложил дальновидно:

— Давай так договоримся: если я тебя когда обижу — ты сразу говори. Хуже нет, когда обиду долго в сердце держат: она тогда ростки пускает, и потом ее трудно выкорчевать.

— Теперь я понимаю, почему вас назначили начальником, — весело сказал Бетал. — Еще год с нами поживете — и станете аксакалом над всеми нашими аксакалами!

Берестов попробовал отшутиться:

— Я на севере родился, среди лесов. Разве бывают лесные аксакалы?

— Вы первый будете, — заверил его Бетал.

К Берестову вернулись утренние воспоминания. Он видит перед собой до боли родное лицо жены и закрывает глаза. Бетал понял: устал и истосковался русский человек, а он бессилён утешить его. Сейчас лучше уйти, оставить его одного.

А Берестову хочется рассказать этому горцу, своему кушаку, как он познакомился с Надей. А было ей пятнадцать лет, когда Берестов увидел ее впервые на железнодорожной станции. Девочка продавала жимолость — редкую для тех мест ягоду. Красноармеец Берестов купил стакан жимолости и выведал имя девочки. А много позже он нашел Надю в институте гражданских инженеров в Москве, и они поженились. Потом оба строили ДнепротЭС.

Но вместо всего этого Берестов сказал:

— Знаешь, что говорит наш аксакал... всамделишный горский аксакал Бато? «Каждый человек должен оставить след на земле. Нельзя жить ради одного себя. Если ты настоящий

мужчина — живи для других...» Мне по душе слова камепотеса. Да, конечно, человек должен оставить след на земле. Но пока он оставляет этот след, жизнь его проходит. Вот в чем дело!

— Я многого не знаю, Сергей Ромапович. Но когда человек не оставляет после себя следа, разве жизнь его не проходит? Жизнь все равно проходит. У нас в ауле жил один бережливый человек. Он до того берег свое здоровье, что даже ни разу не сходил в лес за дровами, но все равно умер. А похоронили его те, кто не умел себя жалеть...

Бетал пробыл у начальника до конца обеденного перерыва. Много доверительных слов услышал он, а об утрате своей обиде так ничего и не сказал.

IV

На следующий день Берестов сидел у себя в кабинете, когда распахнулась дверь и появились старик, за ним — высокая, в молодости, наверно, очень красивая, женщина и девушка лет семнадцати, очевидно их дочь, которая следеле волочила тяжелые хурджины. Берестов удивленно посмотрел на них, а женщина подтолкнула мужа:

— Этот русский знает, к кому обратиться, спроси его, Тапин.

И старик, подойдя к столу, сказал:

— Послушай, русский товарищ, спросить не зазорно: как найти здесь самого главного?

Берестову уже знаком обычай горцев: он встает, приглашает гостей сесть и только затем заводит разговор:

— Самый главный здесь... вы, аксакал! Вы, кунак. А что вам нужно?

— Клянусь душой, дело у нас, — отвечает старик, усаживаясь. — Вот эта дрянная девчонка — наша дочь, к несчастью. Приехала она в недобрый час погостить к своей тетке в Былым. Вот к ее сестре... Вся беда в том, что я женился на этой кривой жещине из Балкарии, как будто в Карачае девушек не было. Ничего не поделаешь, дело прошлое... Так вот, приехала эта суматошная девчонка к своей тетке и увидела... Ты думаешь, она хорошее увидела? Жди, как бы не так! Она увидела, что такие же бестолковые, как и она, идут работать на БаксанГЭС. Нарассказывали ей всяких небылиц и вскружили голову. Вернулась она в отчий дом — будто обе ноги в один валенок вдела: отпустите работать на БаксанГЭС — и все! Клянусь душой, в Карачае девушки тоже не чарышки плетут. Я где хочешь скажу: у Красного Карачая не меньше дел, чем у Красной Балкарии. Что нашла здесь эта чертовка, ума не приложу...

Жена пытается остановить словоохотливого мужа:

— Так много не говори, Тапиш, а то неудобно перед этим русским. Аллах, аллах, какой красивый мужчина!

— Зря вы ругаете свою дочь, отец, — говорит Берестов. — Ее хвалить надо. И не беспокойтесь, мы устроим ее в бригаду девушек. Сколько ей лет?

— Ой, ребенок она еще. Всего семнадцать лет, — отвечает мать.

— Подумайте, сестра, какая жизнь ждет нынешних семнадцатилетних? Она стапет грамотной, счастливой...

— В наше время в другие края уезжали

джигиты, — ворчит старик. — А теперь женщины рады куда угодно сбежать, лишь бы не сидеть дома.

— Не говори так много, бедный Таиш. Этот красивый русский может плохо о тебе подумать.

— Чтоб этот красивый русский застрял у тебя в горле! — злится старик на жену и спрашивает у Берестова: — Как теперь сложится судьба моей сумасбродной дочери?

— Как у всех свободных девушек Советской России. Как тебя зовут, девочка?

— Зайнаф.

— Какие красивые у тебя косы!

— Лучше бы ум у нее был, — вмешивается мать.

— И ум есть. Только вы поддержите ее... Может быть, ей и нелегко будет, но она найдет свою дорогу в жизни. Ведь вместо того чтобы работать здесь, она могла сидеть дома и перебирать в молитве четки...

Но при старике так говорить нельзя.

— Те, которые перебирают четки и молятся, не хуже ее. — И, повернувшись к жене: — Мне не нравятся слова этого неверного. Собирайтесь домой.

— Растает дочь, как сахар в чае, — мается женщица.

— Мы запишем ее в бригаду Балкаровой. Пойдемте, я познакомлю вас с бригадиром.

Но в дверях Берестова встречает Ниша.

— Сергей Романович, телеграмма из Повороссийска: «Примите срочные меры. Цемент не хватает. Обещают конце октября. Башлоев».

Берестов возвращается к своему столу. Он уже привык к тому, что ни один день на стройке не обходится без неполадок и нервотрепки. Но одно дело, когда непредвиденное препятствие возникает здесь же, под рукой, и он может тут же вмешаться и выправить положение. И совсем иное — когда вдруг что-то разладится за сотни километров от Баксапа...

Нина застыла у двери, ожидая его решения. И старик Тапиш во все глаза уставился на него. Похоже, он даже надеется, что теперь Зайшаф не возьмут на работу...

— Сообщи Баншоеву... Нет, дай телеграмму от моего имени в Москву товарищу Петровскому. Сколько можно эксплуатировать Петровского?.. Поеду сам. Сообщи Баншоеву: пусть действует и ожидает меня... Да, скажи там, надо оформить эту славную девушку на работу. Проводи их.

— Спасибо, пачальник, — говорит старик Берестову.

— Не обижайтесь, отец. Работа наша такая.

— Чтоб она провалилась. Где тут будет жить моя пегодница?

— Я же сказала, здесь работает много девушек-комсомолок, — впервые вмешивается в разговор Зайшаф, не поднимая головы. — И папа Аклиман здесь. Я буду жить вместе с пей.

— Чтоб тебе жить на камне!

Однако настоящей злости к дочери у старика нет, и ворчит он как бы по обязанности. Он еще раз благодарит Берестова и с палкой в руке выходит из кабинета.

Процедура оформления дочери на работу кажется старику очень долгой. Во дворе конторы без дела слоняется кучер начальника

строительства Арсен — высокий красивый парень с огненными глазами.

— Ты чей сын будешь? — спрашивает его старик.

Арсен высокомерец, рассеян. Не стесняясь стариков, в упор разглядывает Зайнаф, вышедшую из конторы вместе с Ниной.

— Почему это тебя волнует, старик?

— Я спрашиваю тебя, бестолковый! — Тапиш возмущенно размахивает шапкой.

То ли струсив, то ли опомнившись, Арсен отрывает взгляд от Зайнаф:

— Я сын большевика Ахмата, — говорит.

— Ты что, дуралей, отцом хвастаешься? Я о тебе спрашиваю: ты комсомолец?

— Нет.

— Он мне не нравится, — говорит Тапиш, оборачиваясь к желе.

— Такой красивый парень...

— У-у! Чтоб красивый застрял у тебя в горле. — Потом срывает злость на дочери: — Ступай! Долой с моих глаз. Идите обе. Чтоб красивые погубили вас, родившихся в один день с дьяволом.

— Я не родилась в один день с дьяволом, — смело отвечает Зайнаф.

У Нины нет времени, она торопится.

— Арсен, проводи их.

— Пошли, старик.

Тапиш не намерен следовать за этим пустоголовым парнем.

— Я на своем веку повидал, как копают землю. Клянусь душой, я из тех, кто строил дорогу из Хурзукка в Микоянпахар! — горячится он.

Когда жена и дочь ушли в сопровождении

Арсена, старик взобрался на высокий обрывистый берег. Он прислушивается к шуму работы, ободряющим выкрикам, далекому гулу моторов. «Аллах, аллах, как много народу. Кирки, носилки.. И все веселые. — Он идет вдоль обрыва. — И повсюду так. Что случилось с людьми? Словно крылья у них выросли...»

Тапиш видит внизу Бато, который обтесывает камень, и спускается к нему. Бато неодобрительно косится на него, но работу свою не приостанавливает.

— Доброй тебе работы, старик! — кричит ему в ухо Тапиш.

Бато смотрит на незнакомца с удивлением.

— Вы ко мне?

— Нет, вот к этому камню. Похоже, крепкий! Извините, я гость.

— Гость — человек божий. Что хотите?

Тапиш настроен повеселиться, ему очень хочется поразить своего ровесника острым словом.

— Дело в том... Ты извини меня, я гость. Смотрю на тебя... Походка у тебя стариковская, а идешь так, словно застигли тебя в чужом доме.

— Что, жену потерял?

Тапиш никак не ожидал такого быстрого отпора, но, услышав достойный ответ, какой при случае не стыдно будет повторить и в родном ауле, смеется громким смехом. Шутка Бато сближает двух стариков.

— Что вы тут делаете? — осторожно спрашивает Тапиш, боясь снова попасть вirosак.

— Да вроде электростанцию строим и вроде плотину воздвигаем.

— Мы тоже вроде слышали про это, вроде хотим помочь и вроде для этого привели дочь.

Но Бато еще не приспособился к новому своему знакомому и отвечает довольно холодно:

— Сюда многие посылают своих детей, а сами боятся взмахнуть киркой.

— Знаешь ли ты, паршивый копокрад, когда мы строили дорогу из Хурзука в Микоян-шахар, у меня из дому семь человек на работу выходило?

— Ну и что? Ведь для себя дорогу строили?

Тапиш отступил на шаг, чтобы получше разглядеть каменотеса, который на поверку оказался совсем не таким простым, как он опрометчиво решил сначала.

— Пусть аллах не разлучит нас с весельем, аксакал, — говорит он с невольным уважением. — Если б не верил в ум и душевное здоровье здешних людей, не болтал бы тут. Спросить не зазорно, кто будешь?

— Беков. Бато.

— А я из Сальпагаровых. Сальпагаров Тапиш.

Бато положил инструмент на камень. Теперь настал его черед шутить:

— Разве есть такая фамилия? Не слышал.

— Черкес-хатламовщик¹, с моей фамилией не шути.

— Как там поживают карачаевцы, что приняли туман за вату бабушки?

— Э, брат, туман за вату приняли балкарцы.

¹ Х а т л а м а — кукурузная лепешка, сваренная в воде.

Спрыгнули со скалы и кричат: «Бабушкина вата, бабушкина вата!»

— Это еще что, а твои карачаевцы кипулись вилами останавливать туман!

— Если сейчас же не замолчишь, расскажу про Жёрме¹. Ты над кем смеешься, клипобородый?

— А ты тоже больно хорош. Лицо, как у моей бабки!

— Не шути со мной. Я воевал в отряде Кочубея. Не ровеш час...

— Мы тоже не собак на водопой водили. Я был конюхом самого Бетала Калмыкова.

— Как ни пыхти, козлобородый черкес, а выходит, что революцию мы с тобой делали вместе?

— Выходит, так. Облалошил ты меня, карачаевец паршивый. Пойдем, я покажу тебе, где Баксан повернет в горы.

Шагая рядом с Бато, Тапиш спросил:

— Сын Бека, скажи мне серьезно, смогут ли большевики повернуть в горы бурный Баксан?

— Ну, если они царя с трона скинули, то уж Баксан как-нибудь повернут. Почему у дочери своей не спросил? Кстати, какая она из себя?

— Да такая... с длинными косами...

— Тут нет девушек без длинных кос.

— Не смейся, брат. Шутка шуткой, но дочка... В общем, пусть тебя аллах бережет, а ты побереги се.

— Дурака не валяй! Можно подумать, что кроме тебя никто детей не воспитывал. Идем, чего стал?

¹ Шуточная пародия на песню, высмеивающая обжорства.

Тапиш вернулся к себе домой, начисто позабыв про строительство дороги из Хурзука в Микояпшахар. Ему полюбилось рассказывать старикам в ныгыше¹, как большевики поворачивают бурный Баксан в горы, чтобы он рождал земные звезды.

V

Подруги, да и все, кто хоть немного знал Нину, осуждали ее за любовь к Арсену. Никто не понимал, за что она любит этого легкомысленного парня. А она любила, хотя он причинял ей одни лишь страдания. Нина была убеждена, что Арсен совсем не такой, каким кажется при первом знакомстве. Ей нравилось думать, что она одна знает, какой он на самом деле.

И Арсен сначала гордился, что такая девушка, как Нина, полюбила его. А потом он стал злиться, что порой Нина, несмотря на всю свою любовь, одергивает его. Ей хотелось, чтобы Арсен был еще лучше, а тот считал, что он и так достаточно хорош.

И вот, чтобы отучить Нину от задевающих его самолюбие замечаний, а заодно и сильнее привязать ее к себе, Арсен решил притвориться влюбленным в Зайнаф. Он решил это сразу же, как только увидел ее. Но спешить в таком тонком деле было опасно: нужно какое-то время, чтобы Зайнаф привыкла к отсутствию родителей и своей свободе. По мнению Арсена, в это же самое время Зайнаф, если она не ду-

¹ Ныгыш — место, где собираются старики и делятся новостями.

ра, должна как следует разглядеть его и по достоинству оценить. Арсен был уверен: его разрыв с русской девушкой вызовет такой переполох у горянок, что сначала они возненавидят его, а потом наперебой станут влюбляться.

В предвкушении этой недалекой уже и счастливой для него поры Арсен, оставаясь наедине, иногда даже пел и пританцовывал — от полноты переживаний. Однажды, когда он так веселился тайком, Нина застала его во дворе конторы. Арсен сделал вид, что не заметил ее.

«Когда-то называл меня звездой своего счастья, а теперь даже взглянуть не хочет». Мысль эта унижает Нину, но она пересиливает желание осадить зазавшегося парня острым словом и говорит только:

— Под ногами у тебя и трава не мнется...

— Что тебе надо? — холодно спрашивает Арсен.

— Просто потеряла здесь одно слово, которое было недавно мне сказано.

— Опять учишь меня? Зря стараешься!

Нина с упреком смотрит на него:

— Зачем ты обманываешь сам себя? Ведь на самом деле ты совсем не такой.

— Не ты судья мне.

— Ну тогда продолжай изображать из себя удачливого князька. Теперь я поняла: горские джигиты не любят, когда им делают замечания.

— Тот не мужчина, кому путь указывает женщина!

— А что, разве горцев не мать воспитывает?

— Мать и женщина не одно и то же, — убежденно и даже чуть снисходительно отвечает Арсен.

— Этого я никогда не пойму... Неужели я так ошиблась в тебе? — Нина поспешно идет в контору. В дверях сталкивается с Берестовым и говорит громко, самым «служебным» своим голосом: — Сергей Романович, надо проверить грунт в туннеле. Мастер приходил.

Похоже, Нина даже рада этой встрече. Пусть Арсен убедится: ей просто некогда горевать из-за его вероломства.

— Что случилось? — тревожится Берестов.

— У мастера появились сомнения...

— Я тебя имею в виду. Что с тобой случилось?

— Со мной ничего... Просто быстро шла.

— Ну тогда скажи этому мастеру — пора иметь свою голову. А не хватает своей — пусть обратится к главному инженеру... Запрягай, Арсен.

Главный инженер уже третий день ждал в Нальчике арматурное железо. Каждый день обещали, и каждый день возникало какое-либо препятствие, — и Берестов первичал. Срывались сроки сдачи туннелей и акведуков, а тут еще мастер со своими сомнениями...

Берестов был бы рад послать за железом какого-нибудь экспедитора, но никто не умел так говорить с поставщиками, как он сам. Строительных материалов не хватало, приходилось бороться за каждый кусок железа, за каждый килограмм цемента, за кубометр леса. И Берестов ездил сам. Он разрывался между стройкой и выколачиванием позарез нужных материалов.

Сейчас он больше ничего не говорит Нине и уходит, засунув руки в карманы своей старой кожанки.

— Мне подъехать? — кричит вдогонку ему Арсен.

Берестов на ходу кивает головой.

«Зря мои жеребцы грызут удила от потерпеленья, пока начальник соберется в дорогу, — думает Арсен, направляясь к фэзтопу. — Эх, если б в этом мире не было работы! Хотя бы до сорока лет, а после согласен камни таскать. Все хорошо было у бога, пока не дошел он до работы. Тут изменила ему прозорливость. Допустил такую ошибку!.. Нет, сначала девушки, а уж потом работа. Если остынет в них мед — кому они пужны? Нина — пройденный этап. Впереди Зайнаф!»

Он лихо вспрыгивает на фэзтоп, жалея, что Зайнаф не видит его сейчас. Любуется великолепными копяи, их нарядной упряжью и по привычке начинает приплясывать. В его ушах звучат слова, сказанные ему в разное время разными людьми:

«Да, Арсен, скользка твоя дорога».

«Тебя ждет раскаяние!»

«Нет, Арсен, это не ты, это черт в тебе бунтует. Но ты преодолешь его».

Арсен уверен, что все на свете преодолеет, и, довольный собой, пляшет на фэзтоне. Кони косятся на него, насторожив уши.

«Какова внешность человека — такова и суть его. Хромой не может ходить ровно».

«Зло в душе не скроешь. А у тебя не зло, это бунт, игра шайтана. И как всегда, он будет побежден...»

И вдруг за углом копторы, куда пошел Берестов, громко затарахтел мотор. И тут же из-за поворота дороги выскочила автомашинка, груженная кирпичом. Машинок на стройке было

мало, кони еще не свыклись с ними, — и сейчас, испуганно всхрапнув, сорвались с места. Арсен рухнул, едва успев ухватиться за заднее сиденье фэтона. Вся его показная бойкость мигом улетучилась.

Кони ничего не видят, не чуют под ногами земли и мчатся напролом через дворы и огороды, валят плетни. Спины и бока их дрожат, быстро покрываются серо-белой пеной, ноздри раздуты густым горячим дыханием. По лицу Арсена катятся жаркие струи пота, он пытается повернуться головой вперед, но никак не может высвободить руки. Арсена швыряет из стороны в сторону, он чувствует: вот-вот фэтон разобьется вдребезги — и он вместе с ним. Лучше всего сейчас было бы выпрыгнуть, но ему не разжать сросшихся с задними перилами пальцев.

А кони уже несутся вдоль склона горы, мимо встревоженных рабочих. Все они почему-то видятся Арсену покосившимися, словно ветром их пагнуло в одну сторону. Землекопы побросали свою работу, высыпали на кромку капала и беззвучно разевают рты, крича что-то — то ли обезумевшим коням, то ли друг другу.

Недавняя лихость Арсена обернулась страхом и позором. Но, кажется, никто не смеется над ним. Он наконец-то разжал пальцы, можно прыгать, но теперь Арсен предпочитает остаться со своим страхом в несущемся к неминуемой гибели фэтоне, — ибо люди никогда не простят ему этого прыжка, измену сбесившимся коням.

Впереди вырастают скалистые выступы — там будет туннель № 3. Сейчас здесь работает бригада взрывников.

Адыл первым замечает, что Арсен попал в беду. Пока другие, растерявшись, стоят, не зная, что делать, Адыл рванулся к коням, повис на дышле. Изо всей силы он колотит кулаком по горячим головам коней, стараясь привести их в чувство. Одичавшие, опалелые кони начинают понемногу видеть, их застывшие в ужасе глаза моргают. Адыл поворачивается спиной к фэатону, устраивается поудобней и, крепко ухватив обеими руками коней под уздцы, направляет их в поле.

Много восхищенных девичьих глаз наблюдает сейчас за ним. Адыл ладонью сгребает пахнущую потом и дикостью пелу с коней, гладит их, успокаивает и стыдит. Пот струится по его круглому гладкому лицу, руки и ноги дрожат, и дышит он так же тяжело, как и кони.

Адыл нарочно не смотрит на Арсена, давая тому возможность оправиться от своего позорного страха. Только потом, остановив и успокоив коней, он подходит к горе-кучеру. Адыл молча смотрит на него, и при желании во взгляде его можно прочесть восхищение тем, что Арсен удержался-таки на фэатоне.

— Чуть не погиб... — признается Арсен.

Адыл не торопится ему отвечать. Арсен уязвлен, опустошен. Слишком медленно согревается у него кровь.

— Чертовы кони, — бормочет он беспомощно. — Чтоб волки их загрызли.

— Аха, — отвечает Адыл неопределенно.

Все же человеческий голос подбадривает Арсена. Он приводит себя в порядок, удобней усаживается в фэатоне.

— Спасибо, — благодарит он с достоинством. — На добро ответчу добром.

— Кони хорошие у тебя! — против воли вырывается у Адыла, и тут же он говорит с тоской: — А только у моего отца были получше...

— Садись, обратно подвезу.

— Пойду пешком... Ты начальника своего любишь?

— Что он, женщина, чтобы его любить? Он мужчина и я мужчина.

— Значит, ты за него?

— Я за себя... Садись, подвезу. Далеко мы умчались.

— Ладно. — И Адыл вскакивает в фээтон.

По дороге он спрашивает, как смотрит Арсен па то, что па стройке русские руководят горцами, командуют над такими джигитами, как Арсен. Но тот, в сущности, ничего не имеет против такого руководства, потому что каждый день видит, как много приходится работать Берестову, чтобы построить электростанцию для горцев.

— В тебе течет кровь труса! — возмущается Адыл, выпрыгивает из фээтона и уходит, не оглянувшись.

Арсен не отвечает ему. Скорей всего, он просто не расслышал обидных слов, думая о том, как девушки встретят эту историю с конями. И больше всего его почему-то волнует, как воспримет его позор не Зайнаф, а Нина. Он сам удивился, поймав себя на этом.

VI

Вечер. Над притихшей стройкой звучит свирель. Медленно гаснет свет над миром: солнце зашло, и луна спряталась за облаками. В палат-

ке душно, и Нина выходит к обрыву подышать свежим воздухом. Скоро в клубе начнется кипосеапс, по идти одной — только паномнить всем лишпий раз, что Арсен бросил ее.

По берегу идут двое. Нина узнает голоса Бетала и Мурата.

— ...Сожгли в ауле склад. Сгорели все семена, собранные колхозниками. А комиссара Курмана убили.

— Что только не творят эти кулаки. Почему возятся с ними? Яспо ведь, кривой дырке нужна кривая палка!

— А здесь у нас? Слышал, под Черным камнем пашли взрывчатку. Кто-то замышлял взорвать стапцию.

— Стапцию?! Как можно взорвать стапцию? Это ведь труд народа!

— Ха, что им парод? Есть такие — за одного вола могут спалить целый аул... Ну вот и пришли, — прощается Бетал. — Тебе спать, а я поужинаю, и к своему «Мариону». Нельзя оставлять без присмотра.

Мурат втайне завидовал Беталу и жалел, что не пошел вместе с ним в тот депь. Он мечтает поближе познакомиться с его умной машиной и говорит тихо:

— Можно, я тоже пойду с тобой?

— С чего тебе мучиться всю ночь? Утром ведь на работу. Не хотел идти ко мне в папарники, а теперь дежурить просишься... У вас в Гунделепе все такие?

И Бетал уходит, оставив Мурата.

Нина садится у обрыва, обхватив руками колени.

— Днем еще жить можно, а вечерами тоскливо... — жалуется она луне, показавшейся в

просвете между облаками. — Какая-то грустная песенка блуждает в голове. Хочется петь ее и петь. Я знала эту песенку, а теперь забыла. Что за песня? Мои потерянные мечты? Или Арсен? — Вдалеке грохочет гром. Луна опять спряталась за облаками. — Все думают, что я обманута, ошиблась в выборе. Но разве только брак объединяет людей? Или любить можно только безупречного? Что же тогда любовь? Вера друг в друга?.. Зачем же мы так много говорим о свободе, если клочок бумаги с печатью ценней и надежней, чем вера друг в друга? Все так обходительны со мной. Жалеют, а до конца не понимают...

Зайнаф задремала в палатке, а когда гром разбудил ее — встревожилась, что Нины нет рядом. Удивительная эта девушка Нина. Не только читать умеет, но и писать, все на свете знает и ничуть не задастся, а всегда всем делится. Теперь уже и Зайнаф знает много русских слов, а живя в Хурзукке, никогда бы их не узнала.

Она встает, скидывает платье и выходит из палатки.

— Нина! — окликает она темноту.

— Почему ты не спишь? — не сразу отзывается Нина. — Отдыхай.

— Я уже отдохнула. — Зайнаф подходит к Нине и садится рядом с ней. — Страшно, что-то должно случиться...

— Что может случиться?

— Не знаю. Я темноты боюсь.

— Темнота добрая. Посмотри, разве она не добрая?

— Я слышала, в темноте мертвые встают из могил...

— Да ну тебя!.. Сколько тебе лет?

Зайнаф смущенно молчит. Дождь подбирается к ним, и, по мере его приближения, гром грохочет все отдаленней.

— Семнадцать, — виновато говорит Зайнаф.

— А любимый парень у тебя есть?

— Боль моя в живот ему, чтоб я полюбила чужого парня! Я братьев своих люблю.

— Счастливая... Пойдем, начинает капать. — По дороге к палатке Нина говорит: — Ты ни читать, ни писать не умеешь. Это плохо.

— Ой, я ничего не умею. А что будет, Нина?

— А что хорошего может быть у неграмотной? Была бы образованной — не верила бы ничемным разговорам. Что за чепуха — мертвые встают из могил?! Пойдешь в школу. Днем будешь работать, а вечером учиться. Так у нас многие делают.

— А это трудно?

— Трудно не трудно, а иначе нельзя.

— А как же ты?

— Я ходила в школу, потом курсы окончила. В наше время нельзя не учиться. А здесь сначала тоже землю копала, а потом Сергей Романович взял меня в коптору: больше никто не умел на машинке печатать.

Первые капли дождя, как неумелые всадники, проносятся врасыпную. Молоды эти всадники, кони их еще не обучены верховой езде, — оттого и скачут они вразброс, шумно. Похоже, их папугала гроза, засверкав над ними огненными плетями молний. Вот и скачут они — то широко разбегаясь, то сливаясь в единый поток.

Тишина и дождь охраняли в эту ночь стройку. Гигантским раненым зубром распласталась

земля в тишине и мокла под дождем. Беспокоились каждая о своем Нипа и Зайпаф; поужинав, шел к экскаватору Бетал; другим путем спешил к машине Мурат, чтобы разделить с ним ночное дежурство. Большая стройка на правом берегу Баксана отдыхала, набираясь сил перед новым рабочим днем...

Но именно эту глухую дождливую ночь выбрали Заммай с Адылом, чтобы взорвать экскаватор. Хотя Заммай и сказал, что Адыл должен все сделать один, но побоялся горячей его неосмотрительности и решил: вдвоем все-таки надежнее. И вот они по бездорожью тащат взрывчатку в мешке.

— Аллах на нашей стороне, — подбадривает себя Адыл. — Видишь, какой дождь!

— Аллаху не до нас, плевать он хотел на наши страдания. Нас никто не заметил?

— Ни одна душа... Что бы я ни говорил раньше, а ты молодец, Заммай: прозорливый! Как хорошо придумал вчера нашу поездку домой. Ловко замел следы!

— Много болтаешь. Идем быстрее.

— Не завидую тому, кто этой ночью попадетя мне. Зарежу, как большевики резали рогатых волов моего отца...

Молния на мгновение освещает мокрое злое лицо Адыла. Он инстинктивно закрывается рукой. Переждав, снимает с себя бешмет и заворачивает в него мешок со взрывчаткой.

— Твой отец тоже не остался в долгу, — напоминает Заммай.

— Отец защищал свой дом!

— И свои стада...

Адыл молчит, шагает тяжело. Слышно его частое торопливое дыхание.

...А Зайнаф, оказывается, не ушла в палатку. Встревоженная, бежит она за голосами. Ноги ее босы, мокрые косы распущены.

— Гей, я слышу какой-то разговор... Зачем-то волов режут... — И кричит: — Хе-ей?

Ночь удивленно смотрит на нее. Дождь усиливается, грохочет гром.

— Никого нет, наверно, послышалось. Сохрани нас, аллах.

По ее распущенным волосам стекает вода — в семнадцать лет прекрасно мокнуть под дождем! Говорят, после этого волосы хорошо растут...

Зайнаф стоит неподвижно, наслаждаясь дождевой водой, чувствуя, как тяжелеют волосы, как по всему телу гуляют нахальные, бесовские струи. Ей становится стыдно, но она ничего не может поделать, не может защитить себя: необузданные горячие струи совсем ее обессилили. Она дрожит и чуть не плачет, а струи начинают издеваться над ней — тянут за волосы, за подол платья, настойчиво требуют лечь.

Надо бежать или хотя бы крикнуть. Но и этого не может сейчас сделать Зайнаф: струи, опустошив ее, вдруг становятся близкими и родными. Они наполняют ее неведомой прежде новизной — пугающей и одновременно влекущей. Зайнаф чувствует, что стала теперь сильнее. И ночь, и дождь, и мир этот со всеми своими дневными заботами и ночными голосами стащиваются ее крыльями, зовущими к единственной цели — к счастью.

Так и стоит она, когда из темноты появляется Нина.

— Что с тобой? Кого ты тут ждешь?

— Какие-то голоса бродят... — не сразу отвечает Зайнаф.

— Что за голоса? — Нина, оставив ее, идет вперед. — Где ты их слышала?

— Вон там, у берега. А людей не видно.

— Просто ты испугалась. А когда человеку боязно, ему чудятся всякие небылицы. Пойдем.

И тогда Зайнаф — неожиданно не только для Нины, но и для себя самой — спрашивает:

— Гей, Нина, как ты думаешь, хороший парень этот Мурат?

— Откуда я знаю? — удивляется Нина и, чтобы поддеть подругу, говорит: — Туповатый какой-то. Все ходит с опущенной головой.

— Зачем ты так? Самый лучший землекоп.

— Хороших землекопов у нас много.

— Красивый... веселый... — думает вслух Зайнаф. — Сказал, что в школу записался.

— Да и там у него ничего не получается. Учитель говорил мне.

— Не-ет, Нина, у него все получается... Все получается у него! Жаль, что он не мой брат.

Наконец Нина решает пощадить подругу.

— Он может стать больше, чем братом.

— Разве так может быть? — не верит Зайнаф. — Так не бывает...

Дождь гонит их в палатку. Нина оборачивается на бегу.

— Еще как бывает!

Вся мокрая и счастливая Зайнаф бежит следом за ней. Нина уже у самой палатки, когда из темноты ее окликает виноватый, безуспешно пытающийся сохранить прежнюю самоуверенность голос Арсена:

— Нина, постой...

Хотя дождь и глушил крики, но крик Зайнаф слышали: и Мурат, когда он был уже в десяти шагах от экскаватора, и Бетал, когда тот готовил себе постель в кабине, и Заммай с Адылом, когда они переходили вброд реку, вода в которой заметно поднялась. Все они разом остановились: Мурат — в пути, веря и не веря, что кто-то кричал; Бетал — в кабине, досадуя, что его оторвали от дела; испуганные Заммай и Адыл — посреди реки.

Последние двое не сомневались, что услышали девичий крик в ночи. Кто-то кричал им вдогонку, явно разыскивая их. «Да, их все-таки заметили, а если даже и не заметили, то на крик могут сбежаться люди».

— Вот тебе и аллах... — бессильно прошипел Заммай и рванулся к берегу.

Оскользясь на камнях, они спешат перейти реку и спрятать взрывчатку.

И тут крик слышится вторично. На этот раз для Мурата — отчетливо, а для Заммая с Адылом — грозно. «Зайнаф!» — сразу узнал Мурат и кричит в ответ:

— Хе-ей!

Он готов идти назад: может быть, нужна его помощь. Эту девушку он заметил в бригаде: простая, не очень бойкая и самая красивая. Он найдет ее, укроет от дождя буркой и скажет ей, какая она славная. Когда он так думает, ему нравится и дождь, и ночь, и шум реки.

Близкий крик Мурата перепугал Заммая с Адылом. Они в страхе бросают взрывчатку в воду, быстро переходят реку и прячутся за ог-

ромным валуном. Дождь безжалостно стегает — не разбирая, где камень, а где они. Сердца их сильно бьются. Они дрожат — то ли от холода, то ли от страха.

Бетал тоже услышал крик Мурата и открыл дверцу кабины. «Решил все-таки прийти, — одобрительно думает он. — Кажется таким тихим, а упрямый». Но шум дождя и прибывающей в реке воды отдаляет от него Мурата. Надо выстрелить. Бетал достает из-под сиденья старое отцовское ружье, но тут же вспоминает, что стрелять никак нельзя: переполошит всю стройку. Он усаживается на сиденье в кабине, кладет ружье на колени и прислушивается, но криков в ночи больше не слышно.

Мурат стоит в нерешительности. Бурка его намочила и тяжелеет с каждой минутой.

— Может быть, ножом? — шепчет Адыл в ухо Заммаю.

— Да! — сразу соглашается Заммай. — Я сработаю чисто, а ты охраняй меня сзади... Тело выбросим в реку, дождь смоем все следы... Я узнал его: это сын моего заклятого врага.

Заммай был матерым волком, выжившим из целой стаи. Затаившись, он люто ненавидел новую нарождающуюся жизнь и всех тех, кто был причастен к этому рождению. Адыл же был горяч, наивен, остр, как нож, и служил лишь слепым орудием в руках неведомого ему Ахия-Хакима.

— Пойдем! — Шепот Заммая на миг заглушил шум дождя, и они поползли, карабкаясь, вверх.

Мурат не дождался ответа и, не стесняясь ночи, решил позвать девушку по имени:

— Зайнаф!

Ему отвечает гром. Он давно прогнал девушку в палатку, да и Мурата не пощадит, если тот будет долго стоять, надеясь на свою поношенную бурку, так что лучше ему не испытывать терпение дождя. Гром, суровый полководец, идет дальше, возвещая новым, еще не охваченным его победоносным шествием краям о своей силе и могуществе. Мурату чудится, что земля содрогается под ударами грома, становится податливой и покорной. Очень обидно Мурату, что земля смирилась перед силой грома, но помочь ей он ничем не может.

Когда засверкала молния, Заммай и Адыл увидели Мурата, стоящего на тропинке. И еще они увидели: Баксан поднялся в своих крутых берегах. Бурные потоки неслись с холмов, смывая в реку камни и глину.

Адыл, стоящий позади, сказал:

— Иди, — но Заммай не тронулся с места, даже не услышал его.

Он окончательно убедился: на тропинке стоял Мурат — сын красного партизана. И на нем — та самая бурка, в которой его отец был в тот ужасный для Заммая день, когда разгромили их отряд. Тогда Заммай стрелял в отца Мурата, но не попал. Пуля продырявила бурку, а партизана не задела.

Еще раз сверкнула молния и высветила из тьмы Мурата. «Ишь, заштопали дырку!» — подумал Заммай. Стекающие по лицу струи воды лезли ему в рот. Сзади снова послышалось нетерпеливое:

— Иди! — Да, теперь он пойдет. Теперь бурка красного партизана не спасет этого заблудившегося ягненка. Пришел его черед... Пусть сын ответит за отца!

Рука скользнула за голенище сапога, вытаскивала нож, — и Заммай шагнул вперед.

Пошел и Мурат. Он раздумал искать Зайнаф и решил идти к Беталу. Утром он встанет пораньше и хорошенько осмотрит всю его машину. А потом... Что тут невозможного? Бетал — такой же человек, как и он. Наверно, вначале тоже боялся, а теперь... Иные джигиты так не управляют своим конем, как Бетал этой богатырской машиной.

«Научусь и я!» — твердо решает Мурат.

Заммай прибавил шагу, чтобы поскорей догнать Мурата. И тут Адыл, идущий сзади, падает, катится вниз и вскрикивает — то ли от испуга, то ли от боли. Заммай, охваченный страхом, приседает и сдерживает дыхание, чтобы ничем не выдать себя. Сейчас он готов зарезать Адыла вместо Мурата: осел, рожденный ослом, что он сделает?! А Мурат зовет:

— Бетал!

Тот сразу отзывается, и Мурат идет к нему.

«Конечно, он слышал, — думает Заммай. — Теперь надо бежать».

И когда виноватый Адыл на четвереньках подползает к нему, он злым шепотом ошаривает его:

— Осел, рожденный от осла!

Адыл молчит, хотя мог бы сказать, что упал не по своей воле.

— Какая ночь! Какая невезучая ночь! — почти плача шепчет Заммай. — Будь проклята эта жизнь...

«Сам ждал большого дождя», — вспоминает Адыл. Он ненавидит сейчас Заммая. Еще никто не называл его ослом — да вдобавок рожденным от осла... Кровь закипает в нем. Ему не

терпится сказать: «Сам ты осел, рожденный от целого поколения ослов!» Но Адыл пересиливает себя и говорит:

— Ночь еще вперед. Вместо одного можно двоих прикончить. Машину теперь не взорвешь, надо убрать механика и заодно твоего партизанского сына. Только так мы остановим эту дьявольскую машину. Она копает столько же, сколько все землекопы вместе. Не зря разрешили Беталу носить оружие: берегут его... Пойдем, когда они уснут. Хочешь, я пойду один? Дай мне кинжал — и я пойду.

— Замолчи, могут услышать, — останавливает его осторожный Заммай.

VIII

В клубе показывали немую кинокартину. Звуковые тогда уже появились, но шли только в городах, да и то не во всех. Арсен был на седьмом небе: он и не надеялся, что после их ссоры Нина так легко согласится пойти с ним в кино. И дождь ее не остановил.

Потом они гуляли по берегу под затихающим дождем. Вода в реке сильно прибывала. Камни и комья земли срывались с береговых откосов и с плеском падали в воду. Баксан ревел в темноте, и ярость его была непонятна Арсену: ведь дождь шел над миром совсем не для ярости, да и настроение у Арсена было сейчас самое миролюбивое.

Нине зябко на свежем ветру, но домой она не спешила, — и Арсену стало казаться, что никакой ссоры у них не было. В глубине души он начинает уже жалеть, что первым покался, признал свою вину, — и Нина видела его

слабость. Пожалуй, настоящие джигиты так не поступают. Подождал бы еще день-два — и Нина сама позвала бы его. Он припомнил, как волновался, когда приглашал Нину в клуб, и побаивался, что она наотрез откажется пойти с ним, — и посмеялся про себя над недавними своими страхами. Пора уже ему твердо усвоить: такими джигитами, как он, девушки не разбрасываются!..

Они подошли к палаткам и стали под деревом на берегу. Нина смахнула дождевые капли с волос.

— Люблю дождь, — призналась она. — А у вас в горах дожди особенно красивы.

Арсен понимает красоту совсем по-иному.

— Как может быть красив дождь? — снисходительно удивляется он. — Вот ты красивая — это каждому видно!

— Интересный ты парень, Арсен, а только не все еще понимаешь... — мягко говорит Нина, боясь обидеть самолюбивого своего кавалера. — Но это дело наживное. Гораздо хуже, что ты часто ведешь себя легкомысленно. А ты ведь не такой, я знаю... Поэтому и сказала тогда, а ты разобиделся, как феодал какой-то. Пойми: нельзя так, над тобой уже наши девушки смеются. — Она помолчала и заключила совсем тихо: — А я хочу, чтобы ты был хороший... Всегда.

«Начинается...» — с тоской думает Арсен. Его злит, что в голосе Нины совсем не слышно того почтения к нему, на какое он рассчитывал. Она говорит с ним — как с каким-нибудь новичком Муратом, вчерашним пастухом.

— Ну, раз я такой легкомысленный... — Арсен пытается обнять Нину. Это первая его

смелость за весь вечер — и выглядит она шутивым ответом на ее упрек, а не бесцеремонной грубостью, как частенько бывало у него прежде. Но Нина выскальзывает из его рук — и с поцелуем у Арсена ничего не получается.

Арсен обескуражен и не знает: обижаться ему или лучше пока повременить со своей обидой. А Нина говорит осторожно:

— Можно, я еще кое-что тебе скажу? Ты только не обижайся.

«Уж не для того ли она и в кино со мной пошла, чтоб прочитать мне лекцию, как вести себя?» — думает Арсен, а вслух говорит небрежно — с видом человека, который заранее знает все, что ему скажут:

— Валяй, послушаем.

— Я пасчет той истории с лошадьми. Теперь многие девушки восхищены Адылом, а мне обидно...

— Восхищайся и ты им! Пожалуйста! — срывается на крик Арсен. — А только я его не просил. Может, я сам парочно вспугнул коней, чтобы испытать себя?.. Да, испытать! — повторил он убежденно, начиная уже верить, что все так и было. — Когда кони помчались — усидеть в фэетоне тоже было нелегко. Да тебе этого не понять!

— Зачем ты себя-то обманываешь? — пристыдила его Нина. — Лошадей так просто не вспугнуть, я нарочно спрашивала. Да и не в лошадях дело. И как ты не поймешь: все твои дела не только тебя касаются, но и меня... И я прошу: когда снова будешь... испытывать себя — думай хоть немного обо мне. Выбирай себе такое испытанье, чтоб над тобой не смеялись... Только и всего.

В ее голосе прозвучала боль — и Арсен эту боль расслышал и понял, что Нине за него больно. Он никогда не думал, что его беды и неудачи могут кого-то задеть, кроме него самого да еще, пожалуй, матери и ближайших родичей. А влюбленным в него девушкам Арсен милостиво предоставлял право лишь восторгаться его красотой и лихостью, а стыдиться им было просто не положено.

И сейчас его удивила собственная неблагодарность: Нина заботится о нем как сестра, а он тут хитрит, изворачивается, боится проделшевить. Вон даже пожалел, что поторопился прийти к ней. Стыд за себя и признательная нежность к Нине прихлынули к Арсену. Он спешит сейчас же, немедленно отблагодарить Нину — и горячие, сбивчивые слова слетают с его губ:

— Пойдем ко мне... Хочешь, мой дом станет твоим?

Нина не понимает его.

— Какой дом? Зачем? У меня есть свой дом... верней — пока палатка...!

— К черту палатку! Твоим домом буду я! — с запальчивым великодушием говорит Арсен, будто дарит Нине счастье. Он сам себе нравится в эту минуту — решительный, целеустремленный, готовый хоть сейчас отрезать себе все пути назад и жениться на Нине. — А на глупости мои ты внимания не обращай. Больше ни одной не увидишь! — клянется он и сам верит, что все теперь так и будет.

— Вот хорошо бы! — вырывается у Нины. Она берет его под руку и просит: — Арсен, проводи меня, а то уже поздно.

Но Арсен не двигается с места, точно ока-

менел. Он вдруг ловит себя на том, что уже совсем успокоился и весь недавний стыд его куда-то улетучился, будто и не было его вовсе. И впервые в жизни он сам пугается легковесного своего характера. И почему он так быстро остывает?..

Нина пристально смотрит на него.

— Ты обиделся? Какой же ты! Неужели опять обиделся?!

Эти слова пахнут дождем, как губы ее, как сосна, приютившая их, как кожаная куртка Арсена.

— Нет, что ты! — поспешно отзывается Арсен и повторяет для верности: — Нет-нет!

В эту минуту Арсен готов возненавидеть сам себя — необдуманно свои слова, прежние глупые поступки, надутую свою гордость, которая так часто подводит его. И он близок к тому, чтобы возненавидеть Зайнаф и всех женщин на свете — за то, что они мешают ему преданно любить Нину. И свою работу кучера ненавидит Арсен. И особо ненавидит Адыла. Пусть тот выручил его в трудную минуту, а может быть, даже и жизнь ему спас, — но, доказав своим примером, что коней можно было остановить, он еще больше опозорил его.

Больше всего Арсену хочется сейчас исчезнуть, идти и идти по безлюдной дороге и погибнуть безвестным в конце пути, совершив напоследок какой-нибудь подвиг, — ну, хотя бы такой, какой посчастливилось на глазах сотен людей совершить Адылу. А только Арсену не надо сотен людей! Зачем ему эта толпа ротозеев? Пусть о его подвиге знает лишь одна Нина...

Но и эта мечта не может утешить Арсена.

Он чувствует себя так, будто его выбросило бурным потоком на берег. Выбросило для позора и унижения. Отныне, понял Арсен, он будет лишен прежней своей силы и обаяния. И горько ему стало от поджидающей его участи — так горько, что впервые после детства он вспомнил о своем сиротстве. Все-таки жестоко обошлась с ним жизнь, лишив так рано отца, который помог бы ему стать сильным и уважаемым человеком.

— Я надеюсь на тебя, — доверчиво шепнула Нина. — Знаю, ты можешь быть лучше. Если б не надеялась — так не говорила бы, пойми ты наконец. Ты все можешь, надо только сильно захотеть...

И от этих ее слов Арсен приободрился: пусть он легкомысленный и непостоянный, но Нина-то его любит. А раз любит, значит, не все еще потеряно. Просто ему надо взять себя в руки и поскорей покончить с прежними своими повадками — и все наладится. И задача эта кажется повеселевшему Арсену не такой уж трудной.

Он вдруг заметил, что Нина дрожит от холода. И где были его глаза раньше?

— Пойдем, а то простудишься, — виновато сказал Арсен и повел Нину к палаткам. Осторожно повел, бережно, словно дождь смыл с него все наносное и обнажил чуткую душу.

На прощанье у Арсена не нашлось слов, достойных его любви к Нине и того нового, еще не очень ему самому понятного, что входило в его жизнь. И поцеловать Нину он не решился, а лишь робко и неумело погладил ее по мокрым волосам. Нина снизу вверх удивленно посмотрела на него и юркнула в палатку.

Арсену надо идти в село к себе домой. Уже поздно, а завтра ждет новый рабочий день, ждет никогда не успевающий переделать все дела Берестов. Надо идти, чтобы отдохнуть и утром иметь свежую голову и приличный вид, обязательный для личного кучера пачальника стройки.

Но домой Арсен не пошел, а вернулся к сосне, под которой они только что стояли с Ниной. Он словно боялся, что если отойдет от этого дерева — то сразу же снова станет грубым и толстокожим, каким был недавно.

Арсену хотелось додумать до конца все то, что приоткрылось ему сегодня и что, судя по всему, должно в будущем уберечь его от ошибок. Но без Нины думалось Арсену трудно и главное все ускользало от него. Вот и стоял он под сосной и терпеливо стерег это главное, позарез нужное ему в новой его жизни.

Может, ему надо уйти из кучеров в каменщики или механизаторы? Вон какой почет у Бато и Бетала... А может, и не надо никуда уходить, а завоевать почет на старом месте? Вот тут и разберись, как лучше...

Гром угнал стадо дождевых туч на дальние пастбища, и легкий ночной ветерок сушил землю. Утихомирился досыта напоенный ливнем Баксан. И уже можно было услышать в почной тиши веселый и дружный перепев неутомонных и доброжелательных сверчков. А иногда порыв ветра приносил шум свадьбы в родном селе Арсена.

Возможно, на ходу он скорей найдет верное решение? Арсен шагнул, и первый же его шаг словно нажал на курок ружья — и в устоявшейся тишине грянул выстрел. Арсен не-

вольно отпрянул и прижался к дереву. Дыхание сбилось, ему стало жарко. Гулко прокатился по долине второй выстрел.

Сначала ему показалось, что стреляли совсем близко — не исключено, что даже в него самого. А после второго выстрела Арсен решил, что стреляли, скорее всего, у склона горы — там, где копают канал. Он прислушался. Ни шума, ни голосов. Мог выстрелить охранник склада: он иногда пулял темной ночью в воздух, чтобы все знали, что он бодрствует. А еще могли стрелять в селе на свадьбе — в честь того, что танцевал какой-нибудь особо уважаемый человек. И поскольку после выстрелов не произошло ничего тревожного, Арсен укрепился во мнении, что стреляли на свадьбе, и, успокоенный, двинулся домой.

Но не успел он отойти от дерева и на пять шагов, как снова остановился, услышав приближающиеся к нему взбудораженные голоса. Арсен опять вернулся к сосне и стал за стволом. В его сторону бежали двое — бежали в такой поздний час, когда все вокруг, кто не пошел на свадьбу, давно уже спали. А эти вот куда-то спешили и время от времени перебрались неразборчивыми словами.

Может, это подгулявшие парни возвращаются со свадебного тоя? Арсен знал о свадьбе, сам был приглашен на нее, но предвкушая радость примирения, пошел к Нине. Он напряг слух, разобрал несколько слов и понял, что свадьба тут совсем ни при чем. Уж очень был непохож разговор бегущих людей на веселые послесвадебные беседы. Да и не припомнит что-то Арсен, чтобы со свадьбы возвращались бегом. Скорей всего, этих людей гнали недав-

ние ночные выстрелы. Вот только пока неясно: в них стреляли или они сами палили в других...

Они остановились по ту сторону сосны. Арсен замер и прижался к стволу. Он был так близко от них, что слышал не только весь их разговор, но и прерывистое тяжелое дыхание. Один голос был молодой и звонкий, а другой — сильный и постарше. Самих людей Арсен не видел, но различал нечеткие расплывчатые тени на мокрой блестящей траве.

— Подумать только, — с досадой сказал молодой голос, — два года я точил нож, чтобы вснороть живот от паха до груди, а ты — выстрелом...

— Главное, мы убрали обоих, а ножом ли, пулей — не все ли равно?

— Двоих убрали, а остальные?.. Надоело мне каждый день видеть их, улыбаться...

— Терпи, — сказал сильный голос. — Тому, кто терпит, грудинка достается!

Молодой голос кажется Арсену знакомым, но он никак не может припомнить, когда и где слышал его. По движению телей заметно, что один не стоит спокойно на месте, а все время, горя нетерпением, переступает с ноги на ногу. Этот нетерпеливый сказал голосом молодого:

— Ты трус, зачем обрез утопил? Где мы таковой достанем?

— Будет тебе обрез, — заверил его сильный. — Этого добра на наш век хватит.

«Значит, они кого-то убили из обреза, — понял Арсен. — И даже, судя по их разговору, не одного, а двух. Им ничего не стоит и меня прикончить, если увидят...»

Арсен затаил дыхание. Глупо ли с того ни с сего погибать в его возрасте, а тем более на

пороге новой жизни, которая так заманчиво распахнулась перед ним сегодня. Его тянет бежать со всех ног, но страх или благоразумие — Арсен и сам толком не знает, чего тут больше, — удерживают его на месте.

Ветер, точно издеваясь над ним, доносит из села звуки танцевальной музыки. «Уже перешли танцевать во двор», — думает Арсен с завистью к чужой беспечной жизни. Даже не верится, что он тоже мог бы быть сейчас на свадьбе.

Сколько времени эти двое разговаривают, а ему никак не удается узнать их. Уж не оглох ли он от страха? А что тут можно сделать? Он один и безоружен, а тех двое и они вооружены. Пусть обрез они зачем-то утопили, но кинжалы и ножи у них наверняка есть. Как молодой сказал: от паха до груди... От такого всего можно ожидать. Сразу видно: не одного человека уже зарезал.

Арсен похолодел, представив, как нож кромсает его тело. И надо же было ему задержаться здесь! Пошел бы сразу домой — уже был бы в селе и не повстречался бы с этими убийцами...

А что, если выскочить из-за дерева и закричать громовым голосом: «Стой! Руки вверх!» Так они его и послушаются: нырнут в темноте ножом — вот тебе и руки вверх... Да и на свой громовой голос особенно рассчитывать тоже не приходится. Нет, уж лучше не рисковать. Не до утра же будут они стоять здесь.

Обидная догадка приходит к Арсену: если в истории со взбесившимися конями его позор еще можно считать случайным, то сейчас уже нет сомнений: он трус. Прав был подрывник

Адыл, когда сказал: «В жилах твоих течет кровь труса...» Кажется, он имел в виду что-то совсем иное, связанное с Берестовым, по сути это не меняет: трус — он и есть трус...

И надо же было случиться этой беде именно в тот день, когда Арсен помирился с Ниной и поднялся в своей жизни на новую и не очень легкую для него ступеньку. Он даже не успел еще насладиться этой неведомой ему прежде высотой, а бандиты уже унизили его в собственных глазах и отравили ему всю радость победы над собой. Одно лишь немного утешило Арсена: Нина никогда не узнает о новом его позоре.

Обессиленный, презирающий себя так, как никогда и никого еще не презирал, стоит Арсен, прижавшись к спасительной сосне. Порой в шелесте веток ему чудится смех дерева над ним, но и этот оскорбительный смех уже ничего не высекает в его душе. Теперь все равно уж: кто уронил топор в воду — не станет жалеть о топорище. Что ему смех сосны, когда он сам вконец разочаровался в себе...

— Закоченел я, — жалуется молодой. — Сейчас бы выпить.

— На свадьбе выпьешь. Идем, пусть ищетки считают, что мы были там всю ночь.

Тебя беззвучно исчезли. Арсен выждал с минуту и отпрянул от дерева. Он так плотно прижимался лицом к коре, что у него горит щека.

А все-таки зря смеялась сосна! Арсен пересилит свой страх и тоже пойдет на свадьбу. Он знает здесь все тропинки, поспеет в село раньше убийц и увидит, кто придет после него.

И Арсен со всех ног кинулся в родное са-

ло. Его торопит надежда выследить убийц и уже сегодня смыть свой позор.

Но в ту ночь после Арсена на свадьбу пришло много уважаемых людей, кому дождь помешал прийти раньше. Самое же удивительное и непонятное: когда на свадьбе появились Заммай с Адылом, они встретили там Бетала и Мурата — целых и невредимых.

IX

Со свадьбы Бетал с Муратом пришли под утро и решили вздремнуть часок в кабине экскаватора. Вечером, перед уходом в село, Бетал положил два чурбана в кабину и накрыл их буркой.

— Я часто так делаю, — объяснил он удивленному Мурату. — Отец мой таким способом сад охранял. Придут воры, видят: под буркой человек лежит — и пугаются...

Свадьба еще шумела у них в головах, и они не заметили ни пуль, застрявших в чурбанах, ни новые дыры в бурке, успевшей высохнуть за ночь. Они накрылись ею и улеглись на сиденье «валетом».

«Настоящий мужчина этот Бетал, — думает Мурат, засыпая. — Такой сильной машиной управляет — потому и находчивый». Запах машинного масла, смешанный с запахом железа и весенней земли, окутывает его — и Мурату как-то особенно спокойно от этой смеси запахов. Чувство, похожее на гордость, кружит ему голову. Увидели бы его сейчас земляки-гунделенцы! Он не только близко подошел к этой дьявольской машине, но и не побоялся

залезть в ее кабину, а через какой-нибудь час Бетал на его глазах оживит машину. Да и он сам может хоть сейчас потрогать эти непонятные рычаги. Мурат тянется рукой из-под бурки... А вдруг громадина эта оживится раньше времени и понесет? Нет, лучше подождать до утра.

И еще Мурат вспоминает свадьбу. Столько нарядных девушек, одна лучше другой. Сразу так много он еще никогда не видел. И все-таки одной девушки там не было... Зайнаф... Вот бы с ней потанцевать.

Бетал храпит, а Мурат танцует во сне с Зайнаф.

Утром Мурат вскочил с сиденья прежде, чем окончательно проснулся. С минуту он не понимает, почему он здесь, в каком-то тесном железном доме. А увидел спящего Бетала — и все разом припомнил.

Из-за гор краем своего лица выглянуло молодое яркое солнце и уставилось на Мурата, разгадывая все его тайны. И солнцу было смешно, что этот сонный парень сидел в старом дряхлом экскаваторе, ничего на свете не знал, а дерзко мечтал научиться управлять этой непростой машиной. «Давай, давай, пастишок!» — подбодрило его солнце.

Мурат выпрыгнул из кабины и оглядел утренний мир вокруг. Или за ночь изменился мир или он сам... А машина — такая красавица. Он ласково проводит ладонью по гусеницам экскаватора — так горец гладит спину любимого вола. Потом обходит машину, отступает в сторону, чтобы видеть всю разом, и любит ее. И тут радость его сменяется грустью: нет, никогда не научиться ему оживлять

ее. Вон сколько железок, и каждая зачем то нужна. Разве их все упомнишь?

Подавленный, садится он на молодую мягкую траву. Солнце полностью поднялось из-за гор — белое весеннее солнце.

Знающий все хитроумные железки Бетал проходит мимо в нижней рубашке и с полотенцем не первой свежести в руке. Мурат вдруг слышит журчанье — самое чистое на свете журчанье. «Родник...» Он идет на звук и видит Бетала, который с наслаждением умывается, стоя на камнях посреди родника. Один щедро разбрызгивает студень бисер, а другой стоит с опущенной головой, засунув руки в карманы. В просвете между ними солнечные лучи тянутся к роднику, словно хотят утолить жажду. Да, так и есть: дотянувшись до воды, солнце сразу же окунается в родник.

Лица Бетала не видно, но отражение его в воде смеется — наверно, над упылым Муратом. Так, смеясь, Бетал зачерпывает полную пригоршню воды — где его смех, где плавает солнце, где потерянная радость Мурата — и плещет тому в лицо. И смех Бетала, растворенный в воде, смывает уныние с лица Мурата. Он хватает мокрого и скользкого Бетала поперек туловища, высоко вскидывает его и бросает на траву возле не очень чистого полотенца.

— Ты чего такой злой? — удивляется Бетал, потирая бок. — Влюбился, что ли?

— Сколько лет тебя учили работать на этой машине?

— Лет? — фыркает Бетал. — Один месяц!

— Хвастун ты, как я погляжу...

— Ты тоже научись за месяц, — обещает Бетал.

— Куда мне!

— Тогда иди — конай лопатой.

— Так будет вернее...

— Вот и я говорю! — И Бетал поддразнивает Мурата: — Давай наперегонки: если ты первый добежишь до машины — я замолвлю за тебя слово Зайнаф. А если я — тогда ты скажешь... ну, хотя бы Нине.

— Я пастух, мне положено быстро бегать.

— Посмотрим! — Бетал шагнул вперед. — Догоняй!

Они побежали, и Мурат далеко позади оставил Бетала.

— Говорил же... — Мурат вдруг ловит себя на том, что пустяковая эта победа все-таки радует его. Уж не для того ли находчивый Бетал и придумал это состязание, чтобы приободрить его и дать ему почувствовать свою силу. Ну и хитрюга! А вслух он говорит: — Бегать каждый умеет, а вот работать на такой машине... Ты первый из всех балкарцев.

— Меня научил русский, а я научу тебя.

Бетал достает из кабины еду: кукурузный чурек, сыр, мясо, айран. Они завтракают, используя подножку экскаватора как стол.

Потом Бетал объясняет:

— Завелись сами — теперь машину заведем.

Мурат устраивается на бугре, чтобы лучше видеть, как Бетал оживляет свою машину. Тот молча возится у экскаватора, затем подзывает Мурата требовательным взмахом руки. Мурат подходит неуверенно, с опаской.

— Быстрей! — торопит его Бетал и показывает рычаг, смахивающий на рукоятку сохи. — Держи и тяни к себе.

Мурат невольно убирает руку за спину.

— Чего ты? Тяни! — кричит Бетал.

Мурат боязливо берется за рычаг, зажмуривается и слегка тянет на себя. Ничего не происходит — и Мурат открывает глаза.

— Еще! — командует Бетал.

Мурат снова и уже привычно зажмуривается и тянет за рычаг чуть посильней прежнего. И снова ничего не происходит.

— Сильней! Тяни за весь свой немеханизированный Гунделен! — приказывает Бетал и что-то трогает в машине.

На этот раз Мурат позабыл закрыть глаза. Изо всей силы он дернул за рычаг — и грохот мотора отбросил его. Вот теперь глаза его зажмурились сами собой. Земля задрожала. Нет, земля тут совсем ни при чем. Задрожали его колени и закружилась голова. Радость и испуг, гордость и сомнение смешались в его душе.

— Теперь иди, а то опоздаешь на работу! — крикнул ему Бетал.

— Спасибо тебе, брат мой славный! — отозвался Мурат и побежал по склону вниз — туда, где вручную копали канал.

Там он сольется с сотнями таких же, как и он, будет рыть землю, раскалывать и оттаскивать камни. И как все эти люди, он счастлив оттого, что делает небывалое доселе в горах дело, способное изменить облик родной его земли. А сегодня он будет счастливей всех, так как поверил, что скоро научится управлять богатерской машиной, — и эта окрепшая вера в себя делает в глазах Мурата всю его жизнь более значительной и заманчивой.

Берестов любил утром бродить по берегу Баксана. И сколько бы это уже ни повторялось, речные берега не становились привычными и каждый раз удивляли его заново. В этот утренний час происходило неведомое, неподвластное человеку обновление природы. И сознание того, что он здесь затем, чтобы спорить с природой, даже бороться с ней, не мешало Берестову любоваться ею. Утро вдыхало в него молодую силу, заряжало бодростью на целый день.

В это утро, уже возвращаясь домой, Берестов останавливается слышав девичью песню, которая доносится из притаившейся ивовой рощи. Слов он не понимает, но и так ясно: девушка поет о любви. Она зовет и ласкает любимого, говорит ему о своей обиде и боли, угрожает непощением, если тот оставит ее. И сразу же весь утренний мир превращается в соловьиный сад: вместе с девушкой поют земля и река, каждое дерево и каждый камень. Очарованный песней, Берестов на миг чувствует себя тем юным джигитом, кому она посвящена. Но тут же он и смеется над своим непростительным легкомыслием: тоже мне, юный джигит!

А любопытство все-таки тянет его в ивовую рощу. Ему хочется увидеть влюбленные глаза, сравнить их с другими, родными глазами. Желание это так горячо, что Берестов отбрасывает возникшее было внутреннее сопротивление. Нет, он не вспугнет песню, не смутит девушку: притаится за ивой и только посмотрит. Главное — увидеть глаза. Что, если они такие же, какие встретил он однажды на маленькой же-

лезподорожной станции, где продавали жимолость?

Он торопится навстречу песне. А еще быстрее бежит душа, и ей хорошо сейчас: двадцать лет жизни возвращает ей этот бег! Но нвы, проникшие утром более обычного, встречают его не очень дружелюбно, даже с явной неприязнью. Похоже, они тоже слушали девичью песню, а он помешал им. Берестову становится неловко, но он молод сейчас, напорист, одним взглядом подавляет неприязнь рощи и врывается в нее.

В ожидании чуда сильно забилося сердце Берестова. И чем ближе он подходит к певунье — тем сильнее бьется оно. На минуту он останавливается, чтобы утихомирить свое сердце. Но это бесполезно. И Берестов идет дальше — тихо, воровато. Девушка стоит, прислонившись к дереву. Он узнает ее — это Зайнаф. Она не просто поет, а живет в этой песне. Тугие черные косы — одна на груди, а другая закинута за спину. А черные большие глаза устремлены вдаль.

Нет, это совсем другие глаза и совсем иной мир, не всегда понятный Берестову. Те, родные глаза, проникшие в его душу на маленькой станции, прятали его в своей синей глубине, выводили на берег окрыленным и сильным, — и на всем свете не было ничего теплее и чище их взгляда. И сердце Берестова сразу же выравнивает свой бег, и тут же к нему возвращаются все двадцать отброшенных им лет...

Он идет к дому другой тропинкой и думает о своей жизни, о приближающейся старости и неожиданно сравнивает себя с полусохшей соспой, которая растет у конторы. Его запозда-

ло злит, что он никогда не задумывался о своей судьбе, все как-то не находилось для этого времени. Ведь можно было пройти свой жизненный путь, не расставаясь с Надей, по работа часто разлучала их. Так Берестов думал раньше, а теперь ему начинает казаться, что дело вовсе не в работе: просто он сам не сумел построить жизнь, достойную их любви.

Эти мысли угнетают Берестова. Он хочет избавиться от них и заставляет себя думать о другом, — хотя бы о счастливой Зайнаф, поющей о любви, или о большом красном солнце, которое встает навстречу ему и не ведает никаких сомнений. Строительство вступает в самую ответственную пору, а он ударился вдруг в лирику и разоружает себя такими мыслями...

«Что это со мной? — удивляется Берестов. — Устал, что ли?»

Над ивовой рощей звучит его имя. Светлый девичий голос гонится за ним. Берестов вздрагивает, оборачивается и видит бегущую Зайнаф. Она догоняет его и вдруг смущается. Видно, что хочет многое сказать, но не находит слов. И Берестов помогает ей:

— Это ты так рано поешь?

— Ой, как стыдно! Если б знала, что вы так близко никогда бы не пела...

— Отчего же? Ты хорошо поешь, спасибо тебе.

Похвала приободрила Зайнаф.

— Сергей Романович, а правда, советские девушки...

— Спрашивай, Зайнаф, не стесняйся.

— Правда, в наше время ничто не должно мешать любви?

Берестов внимательно смотрит на Зайнаф.

Она заливается густой алой краской, и от смущения не зная, что делать, перекидывает и вторую косу за спину.

— Конечно, ничто не должно мешать. Надо сильно любить — тогда ничто и не помешает.

— А вы сами любили когда-нибудь, Сергей Романович?

Берестов застигнут врасплох и не знает, что ответить. Не может же он сказать, что не только любил, но и сейчас любит. Как объяснить этой девчущке, что чем дальше во времени уходит от него Надя — тем сильнее и мучительней он ее любит. Да и больно ему сейчас говорить с кем-либо о Наде, и он решает отсечь трудный для него вопрос одним взмахом.

— Нет, не любил, — спокойно отвечает он, и лживые эти слова обжигают его.

— Ой, как плохо! — искренне жалеет его Зайнаф.

Дальше она идет молча, словно потеряла всякий интерес к человеку, который никогда в жизни не любил. Луч солнца скользит по ее озабоченному лицу. Но вскоре Зайнаф преодолевает душевное свое смятение.

— Не-ет, Сергей Романович, это неправда, — говорит она убежденно. — Вы не могли не любить. Просто не хотите мне сказать. Такой большой человек...

— Большие люди должны заниматься большими стройками, — гнет свою линию Берестов. — На любовь у них не остается времени.

Зайнаф с жалостью посмотрела на него и свернула к своей палатке.

А Берестов припомнил: хоть и часто расставались они с Надей, но разлуки не отдаляли их друг от друга. Где бы он ни находился и какие

бы новые берега ни осваивал, он писал Наде о всех своих радостях и болях, советовался с ней, делился своими мыслями о времени и о них самих. Случалось, Надя не соглашалась с ним, они спорили в письмах, и каждый отстаивал свое мнение.

Как-то, когда Берестов работал в Колхиде, Надя назвала его в письме аргонавтом. И сейчас Берестов подумал об удивительной прозорливости древних мифов. В сущности, и в нынешней его жизни можно найти сходство со сказанием об аргонавтах. Вот только у современных строителей гидроэлектростанций цели покрупней, чем у наивных античных мореплавателей. Те, преодолевая сказочные свои препятствия, плыли в пригрезившуюся им золотую страну. А он со своими строителями идет в страну будущего — озаренную светом вековой мечты, выстраданную многими поколениями трудового люда и завоеванную в боях. И пусть им нелегко, пусть потом и кровью пропитана их дорога, но они обязательно придут в эту светлую страну. И хотя до нее еще не близко, но каждый с честью прожитый день приближает их к цели...

Каменотес Бато сказал ему однажды:

— Занятно, сын Романа: человечество с самого своего начала все перестраивает мир, а неделанных дел становится все больше и больше.

Берестову часто задавали вопросы, не имеющие прямого отношения к работе. Не избегал он и споров, чувствуя в себе жажду вслух говорить о том, что наполняло душу и составляло смысл всей его жизни. И этот вопрос старика оказался очень кстати. Берестов знал, что раз-

мах и небывалая смелость дерзаний большевиков вызывают у горцев острое желание уяснить для себя необходимость этих начинаний.

— Да, человечество совершило много дел, — ответил он тогда Бато. — Но подлинным творцом всей жизни оно становится только теперь. Мы создадим человека-творца, величайшего мастера, в сотни раз умножим его силу машинами, и он предложит природе сотрудничество и взаимопонимание.

А Бато не унимается:

— Но ведь строя БаксанГЭС, мы думаем прежде всего о себе. И в конечном счете каждое поколение о себе заботится, а будущему остается только то, что мы сами не успеем потратить.

Берестов не ожидал такого от Бато и даже рассердился тогда на старика.

— Выращенный сеятелем хлеб мы, может быть, и съедаем полностью, но остается искусство сеятеля, и год от году оно растет... Я строил Днепрогэс, и его света хватило бы всему роду Берестовых на тысячу лет вперед, а я вот приехал строить станцию на Баскане. И не я один.

По мнению Бато, так жили испокон веков лишь неистовые. В каждом ауле, сказал он, бывали один или два таких, а остальные покорно тянули лямку.

Но лямку скинули именно те, кто ее тянул, возразил Берестов.

Берестов твердо знал: вопросы старика не были вызваны неверием в новую жизнь. Просто Бато проверял себя. Как лукаво объяснил он сам: подбрасывал поленья в огонь, чтобы жару было побольше...

А теперь на крыльце конторы Берестов подумал: «Зайнаф права: человек не может без любви жить. Без любви ему не только большую стройку, но и самую малую не осилить».

XI

Все началось с того, что Мурат написал в тетради Зайнаф слово «электричество» и поставил рядом плюс с минусом, а Зайнаф приняла это за какой-то непонятный намек и страшно разобиделась. Мурат видел, с какой яростью она стерла резинкой его писанину, а потом и совсем вырвала лист из тетради. Это было первой ошибкой Зайнаф, потому что в дальнейшем ей пришлось вырвать из тетради много листов. А тетрадь эту подарил ей сам Берестов, и ни у кого в классе не было такой красивой общей тетради. Зайнаф стала носить свою драгоценную тетрадь под кофтой и доставала ее только на уроках.

И все-таки однажды на перемене она забыла спрятать тетрадь — и в тот же вечер обнаружила в ней очередное художество Мурата. На этот раз он написал две строчки из известной балкарской поэмы «Рассказ охотника», где героиней была ее тезка — красавица Зайнаф:

...И сказала она — имя мое Зайнаф,
Глазами смеясь и играя...

Под стихами стояла подпись — Охотник. И корявые буквы заняли чуть ли не всю страницу. Вдобавок Мурат нарисовал человека с ружьем, преследующего марала. И самое главное: у этого марала вместо рогов торчали взвих-

ренные и в злобе направленные на охотника девичьи косы.

Зайнаф сразу узнала себя, вскрикнула и вся напряглась. Схватила тетрадь и поднесла ее ближе, не веря своим глазам. Над ней издеваются! И кто же? Этот бесстыдник Мурат, который учится хуже всех в классе, путается в цифрах, а когда спрашивают домашние задания, начинает читать глупые стихи... И он смеется над ней— самой лучшей ученицей класса!

Она была так глубоко оскорблена и унижена этим, что почувствовала себя несчастной. Плача навзрыд, Зайнаф разорвала опозоренную тетрадь в клочья и с ненавистью швырнула в печь. Это было уже осенью, и из палаток все перебрались в новое общежитие с теплой печкой, светлыми окнами и непромокаемой крышей. Потом Зайнаф бросилась на койку, уткнулась в подушку и долго лежала так, всхлипывая, пока не уснула.

После этого месяц, а то и больше она старалась не попадаться на глаза Мурату, и он тоже избегал встреч с нею. Да и всем на стройке было тогда не до встреч. Надвигалась зима, и строители спешили завершить земляные работы этого года. Придя вечером в общежитие, они валялись с ног от усталости. Все были на пределе, но каждый тщательно скрывал это от других. Кое-кто не выдерживал тяжести лопат и носилок, ежедневного изматывающего напряжения и заболел. Но, отлежавшись, возвращался на работу и трудился с еще большим рвением, наверстывая упущенное.

Однако были и такие, кто явно или тайно не верил в могущество электричества и даже побаивался его. И если неверие со временем рассе-

ивалось, то страх был живуч. Горец не знал, как управлять той неведомой силой, которую они все здесь сообща создают. Сведущие люди сравнивали эту силу с молнией, а молнией, всем известно, управлял аллах, и только он один знал, когда и как ее зажечь и потушить.

Трудно было поверить, что вскоре каждый человек уподобится аллаху и сможет запросто, по своему усмотрению, зажигать и тушить молнию когда ему заблагорассудится. А вдруг порвутся где-нибудь в горах провода — и нет аула. И такие опасения жили не только у тех, кто со стороны праздно смотрел на БаксанГЭС, но порой и у тех, кто работал на стройке не покладая рук и трудом своим приближал пуск электростанции. И на этом страхе перед неведомым спекулировали муллы — кто по невежеству, а кто и с враждебной целью...

Примирение между Муратом и Зайнаф состоялось зимой. Работы теперь поубавилось, и молодые строители частенько собирались по вечерам на танцы и игры. Чаще всего играли в шиптик оюн — «игру в стул». Все становились в круг, посредине ставили стул, и попеременно девушка и парень выходили в круг с полотенцем, а иногда и с ремнем, вызывали на стул партнера и, танцуя вокруг него, «наказывали» ударами.

Однажды Зайнаф вызвала на стул Мурата и наконец-то отплатила ему за все свои обиды. В руках у нее был широкий «комиссарский» ремень, и Зайнаф так люто хлестала Мурата, что парни, отчаянно хлопавшие в ладоши, вздрагивали при каждом ее ударе, сомневаясь, хватит ли у них выдержки, если их самих станут вот так лупить. А Мурат сидел спокойный и не-

возмутимый, будто его не ремнем стегали, а ласково щекотали травинкой. И так хороши они были оба — каждый на своем месте, такое явное удовольствие доставляла эта игра Зайнаф, что все парни и девушки только теперь по-настоящему постигли весь вкус этой древней игры и поняли: играть в нее надо лишь так, как играла эта пара.

Заковчив танец, Зайнаф почти нежно положила ремень Мурату на плечо и стала в круг вместе с другими, хлопая в ладоши. Мурат, ни единым движением боли или досады не выдавший себя, не спеша снял с плеча ремень, встал и, прежде чем пригласить кого-нибудь из девушек, начал в пляске кружить вокруг пустого стула, выбирая себе «жертву». Но редкий парень ударит девушку с такой же силой, как разрешается ей. Да и девушка обычно вызывает на стул того, кому симпатизирует, чтобы испытать его мужество и воспитанность. Проявление при этом какого-либо недовольства, даже простое вздрагивание под ударами, считается позором для парня.

Он должен показать себя в пляске, пугая девушку на стуле только взмахами ремня и огненными движениями и лишь изредка касаясь ее плеч и колен ремнем. Но бывают и такие горе-джигиты, которые, вызвав девушку на стул, ходят вокруг нее, еле передвигая ноги, а зато бьют изо всей силы. Таких девушки называют «поленьями» и обычно не приглашают на стул.

А Мурат выбирает Нину и ремнем слегка дотрагивается до ее плеча. Раньше чем она села на стул, Мурат начинает плясать в ее честь, — и Зайнаф вдруг очень не понравилось, что он так уж старается. Правда, Нина уже па-

училась танцевать по-балкарски, и все их игры она тоже знает.

Нина смеясь садится на стул. Мурат в лихой пляске кружится вокруг нее, высоко подняв ремень, и улыбка блуждает на его лице. А острый глаз Зайнаф видит, что с Муратом творится что-то непонятное. Похоже, он волнуется. Когда она хлестала его ремнем — спокойный был, как скала, а теперь почему-то разволновался. Все-таки мало она его била... «А может, просто устал? — ищет она объяснение. — Но почему растерянность на лице? Не улыбка это, а растерянность!»

Зайнаф с трудом глотает невесть откуда взявшуюся во рту колючую льдинку и пропускает хлопок в ладоши. Кто-то рядом окликнул ее, она принимается хлопать — со злой старательностью, громче всех. Ладони горят, а ревнивая льдинка внутри не тает...

Позже, когда кончили играть в шиптик оюп и в танцах наступил перерыв, вспотевшие парни вышли из клуба на свежий воздух. На земле, освещая ночь добрым белым светом, лежал молодой снег. Редко бывают такие зимы в этих краях. Обжигающего холода нет, а снег падает и падает, превращая привычный мир вокруг в белую сказочную страну. Парни невольно притихли, и лишь на Адыла красота не действует.

— Ай да Мурат! — издевается он. — Ну и крутился ты вокруг этой русской девки!

— А что? — настораживается Мурат. Он смущается и сердится одновременно. Нина — его маленькая тайна. Он думает о ней с тех пор, как увидел в первый раз. И о Зайнаф он тоже думает, но как-то по-другому. Может быть, все дело в том, что в Гунделене не было таких

девушек, как Нина? Но Мурат считает, что Нина для него — слишком высокая звезда, и, чтобы не стать посмешищем, помалкивает и лишь порой позволяет себе мечтать о ней — особенно когда Зайнаф дуется на него. А теперь вот и Адыл почему-то разозлился.

Адыл не отвечает Мурату, а говорит, обращаясь ко всем:

— Что с нами происходит? Все танцуем и танцуем вокруг них!

— Вокруг кого? — не понял Бетал.

А Адыл с давней злобой:

— Вокруг чужих! Понаехали сюда...

— Парень! — Бетал подходит к нему вплотную. — Ты брось эти штучки.

— Горы для горцев! — не унимается Адыл. — Вот увидите, я прогоню эту девку с нашего тоя.

— А я тогда сверну тебе шею! — Бетала завести трудно, но уж если заведется... — И запомни: горы для орлов, а люди — для людей.

Адыл первый отводит глаза. Настроение у него паршивое: никто его не поддерживал.

— Идемте в клуб, — зовет всех Мурат, радуясь, что о сердечной его тайне никто ничего не знает. А о том, что говорил здесь Адыл, он никогда не задумывался.

В клуб Мурат возвращается с большим комом рыхлого снега.

— Хочу вас освежить, — говорит он девушкам и, отрывая щепотки от кома, кидает им в лица.

Те визжат, но видно, что новая игра им нравится. Так, забавляясь, он кружным путем подбирается к Зайнаф, которая увлеченно беседует с подругами и совсем его не замечает. Или делает вид, что не замечает, — кто этих девушек

разберет? Мурат дергает ее за косу, а когда Зайнаф поворачивается к нему, быстро засовывает весь оставшийся снег за воротник ее кофты. Зайнаф вскрикивает, топчется на месте, а потом бежит в угол и там с помощью подруг вытряхивает изрядно растаявший уже ком снега.

Но, странное дело, ледяной этот снежок дохнул ей в душу неожиданным теплом и растопил там весь колючий ревнивый холод.

XII

В этот день Мурат и Зайнаф работали во вторую смену, а в школе занимались с утра. Не по своей вине так поздно сев за парту, они не стесняются, а гордятся этим. Работают и учатся — и нет для них лучшей дороги на земле.

Это была пора их примирения друг с другом, и они старались быть вместе, сказать что-нибудь, даже шутливо повздорить. Обычно смелый Мурат теперь робел и терялся. Тщательно подготовленные слова оказывались вдруг ненужными, и Мурат чаще молчал. И о Нине он вспоминал теперь гораздо реже...

Они возвращались из школы. Зайнаф шла впереди, как обычно — одна коса на груди, другая на спине. Книги она прижимала к себе обеими руками. А у Мурата — единственная растрепанная тетрадь, которую, сложив вдвое, он всегда держит под широким ремнем.

— Не беги так, — просит Мурат. — Я хочу тебе что-то сказать.

— Еще чего выдумал! — И не в ладу со своими словами, Зайнаф замедляет шаг, готовясь выслушать Мурата.

— Вечером артисты в клубе выступают. Пойдем вместе? — робко предлагает он.

— Еще чего... Лучше провалиться мне, чем с чужим мужчиной пойти... Вообще-то театральное представление очень интересное. Я видела раз в ауле.

— Ну так пойдем?

— Не знаю. Вот если б с нами Нина пошла...

— Не беспокойся, там будет много народу.

Зайнаф находит выход:

— Ты иди сам, а я сама пойду.

— Не вредничай, я с тобой хочу... Пойдем?

Зайнаф озабоченно вздыхает и уводит разговор в сторону:

— Говорят, ты уже работаешь на машине не хуже Бетала... — Смущенный Мурат молчит, а Зайнаф нахваливает его — лишь бы только не отвечать на трудный вопрос. — Какой ты молодец! Успеваешь и работать, и в школу ходить, и такая сильная машина тебя слушается...

— Машина-то слушается, а вот Балкарова не отпускает из бригады.

— И правильно делает! О нас ты подумал? С тобой нам веселей работать... — И, спохватившись, что выдала себя, Зайнаф поспешно пояснила: — Кто без тебя станет тяжелые камни разбивать?

Мурат даже остановился от возмущения: уж не за эти ли камни она его уважает? Но Зайнаф быстрым и лукавым взглядом заверила его, что не за камни, совсем не за камни, — и Мурат тут же успокоился.

— Знаешь, Зайнаф, так много хочется сделать, — доверчиво говорит он. — Голова кружится — столько всего вокруг... Бетал рассказывал: на машине даже летать можно. Пони-

маешь: летать, как птица! Русский экскаваторщик летал — и ничего, живой остался.

О том, что люди летают на машинах, Зайпаф уже слышала, но, признаться, не очень-то верила... А раз Мурат верит...

— Ты тоже сможешь летать, — убежденно говорит она. — Я знаю, ты все можешь...

— Что я могу, если даже не умею пригласить девушку в клуб?

Зайнаф смеется и бежит домой, оборачиваясь и делая какие-то знаки. Мурат так и не попял: согласилась она с ним пойти в клуб или нет. Вот так всегда с ней...

Что ж, еще одной неясностью больше. В последние дни Мурата терзает неуверенность и тоска по родному дому. И сейчас, расставшись с Зайпаф, он бесцельно бредет по берегу, нигде не находя себе места. Постоял, прислонившись к дереву, поднял пяток камешков, бросил один за другим в воду. Потом лег на прошлогоднюю бурую траву, увидел высокое небо над собой и затах, околдованный его недостижимой синью.

Может быть, все дело в том, что снова пришла весна и разбудила в нем пастуха? Но тосковать долго Мурат не умеет.

— Эй, хе-ей, те, кто в небе! — кричит он.

Многоголосое эхо подхватывает его крик и заполняет им все вокруг. Лежа на спине, Мурат прислушивается. Со всех сторон подстунает к нему усиленный и искаженный эхом его голос. Мурат вскакивает — и эхо тут же умолкает, словно испугавшись. А в Мурате проснулся вдруг ребячий интерес: он торопится услышать свой голос.

— Я люблю дочь скалы! — кричит он и, затаившись, жадно прислушивается.

Помедлив, испытывая его терпенье, эхо отзывается:

— Я люблю дочь скалы... Люблю дочь скалы... Дочь скалы...

М у р а т. Нет, я люблю Нину!

Э х о. Нет, я люблю Нину... Люблю Нину...

Нину...

М у р а т. Нет, я люблю Зайнаф!

И эхо охотно подхватило:

— Люблю Зайнаф... Зайна-аф... Айна-аф...

А-а-аф...

М у р а т. Любовь дура!

Эхо помедлило больше обычного и неохотно, как бы по обязанности невнятно откликнулось:

— Уо-ов уа-а...

«А эху не нравится, когда ругают любовь!» — догадался Мурат, и по ущелью, вниз по Баксану эхо понесло его счастливые и признательные слова:

— Люблю! Люблю! Люблю!..

— Черестань! — кричит Мурат эху, испугавшись, что теперь все узнают его тайну. Но скалы долго еще повторяли его признание в любви, перебрасывая его с одного берега реки на другой.

Пусть он скучает по матери и родным горам — порой так сильно скучает, что ему даже хочется бросить стройку и вернуться в родной Гунделен. Пусть ему до сих пор снятся воли на горной дороге, махущие рогами на прощанье, — эти сны когда-нибудь оставят его. Просто слишком теплым был материнский чурек и слишком долго он бродил по горам со своим стадом.

Хорошо, что он рассказал о своих снах одному лишь Беталу. Тот так рассердился, будто Мурат лично его предал, и пригрозил, что боль-

ше не подпустит его к экскаватору, если он не перестанет видеть эти вздорные сны.

Но выбирать сны не дано человеку. А вот тоску Мурат пересилит — такую назойливую, подкрадывающуюся к нему исподтишка, вместе с запахом сена и мерным скрипом старой арбы, уходящей вдаль по каменистой дороге. Но пет на свете такой арбы, которая увезла бы его от Зайнаф. Его место — здесь, на стройке, рядом с ней... И Мурату хочется тут же оповестить о своем решении весь притихший мир:

— Я останусь! Я построю БаксанГЭС!

И эхо подтверждает:

— Останусь... Построю...

Пора уже идти на работу. По дороге он заглянет в контору, чтобы поделиться с Ниной своим счастливым открытием: когда у тебя смутно па душе, надо поговорить с горным эхом — и все пройдет. Может быть, и Нине это открытие пригодится: последние дни она ходит печальная, опять, наверно, поругалась с Арсеном.

Перед Ниной он теперь уже не робеет: у Мурата к ней лишь теплое братское чувство. Его долго сбивало с толку, почему он так спокойно смотрит на Арсена. Что это за любовь, если ты так легко уступаешь свою девушку удачливому сопернику? А теперь все стало на свои места: он просто уважает Нину и в обиду ее не даст. А любит он Зайнаф. А вот любит ли та его — этого Мурату никак не решить...

Он застал Нину печатающей на машинке. Мурату немного смешно: у них с Беталом громадина-экскаватор, а Нинину стрекотуху можно одной рукой поднять. Но то и другое — машины... Чудеса!

— Моя машинка выстукивает для тебя радость, — сказала Нина.

— Тогда стучи громче! — разрешил Мурат, хотя и не понял, какую радость может выстукивать для него несолидная машинка. И тут он заметил, что Нина плохо выглядит: глаза у нее запали, будто она не спит по ночам. — Почему ты такая невеселая? — осторожно спросил он, боясь обидеть Нину. — Поругалась с Арсеном? И почему вы все ссоритесь, если любите друг друга?

— От избытка любви! — горько шутит Нина. — Да мы теперь уже и не ссоримся...

— Значит, все у вас хорошо? — радуется Мурат.

— Ничего хорошего... Теперь он избегает меня, а почему — не говорит. И я не могу догадаться. Если б я знала...

Ну уж этого Мурату и совсем не понять. Раньше он думал, да что там думал, — просто верил, как его мать в Коран, что Нина знает все на свете, а выясняется: она, как и он, бродит в потемках. Или в любви всегда так, и чем сильнее человек любит — тем меньше у него ясности?

— А чем плох Арсен? — спрашивает он, чтобы только не молчать. — Конечно, если дойдет до драки, я его побью, а так — парень он крепкий...

— Грубая сила — не тот ключ, каким можно открыть сердце женщины. Нас губят ласковые слова...

Мурат самокритично признался:

— А я таких слов не знаю. Меня учили сначала овец пасти, а теперь Бетал работать на машине выучил.

— А тебе и не надо ничего говорить, ты и так хороший! — вырвалось у Нины.

Им становится неловко. Но Нине хоть есть чем заняться: она вынимает из машинки лист бумаги, копается в папках, а Мурату бежать до экскаватора далеко...

— Нашла хорошего! Все люди знают, чего хотят, а я днем камни разбиваю и учусь у Бетала, а по ночам во сне овец пасу. Бетал мне рычаги объясняет, а я тоскую по пастушьей палке. Как будто делаю здесь не свое дело...

— Трогательная тоска!

Мурат видит тень разочарования на лице Нины. Похоже, она никак не ожидала от него такого признания. И черт его дернул разубедить ее, что он хороший! Ну и пусть был бы в ее глазах хорошим, кому от этого убыток?

— Вся эта тоска у тебя от обиды, — уверенно объясняет Нина. — Ты выучился на экскаваторе работать, а Балкарова тебя на машину не пускает — вот ты и разочаровался. А только найдется у нас управа и на Балкарову...

Она так убежденно сказала это, что Мурат и сам поверил, что все дело в самоуправстве Балкаровой, а сны его и тоска по пастушеской жизни ничего не значат.

— Подожди меня. я к Сергею Романовичу найду на минуту. Может быть, машинка моя все-таки не зря стучала!

Нина скрылась с бумагами в кабинете начальника, а Мурат вышел на крыльцо.

Близился час пересменки. Мимо конторы спешат рабочие второй смены. Шумной гурьбой идут девушки из бригады Балкаровой. Зайпаф приотстала и кричит:

— Прослывешь прогульщиком, Мурат! Не

забудь: вечером представление. Кто не выполнит норму — того в клуб не пустят!.. — Она догоняет подруг и нарочито громко добавляет: — Бетал снова ругался с Балкаровой, чтоб отпустила тебя к нему...

Мурат вдруг догадывается: слова эти предназначены не так ему, как ее подружкам, чтобы те знали, какой человек на нее заглядывается, и завидовали ей. Вот уж он никогда не думал, что умение работать на экскаваторе повышает его цену в глазах Зайнаф.

— Оставь его, Зайнафка, — отвечает ей Ни-на, выходя из конторы. — Не о машине он думает, а тоскует по своей пастушьей палке!

Что-то совсем новое и незнакомое остро кольнуло сердце Зайнаф. «Убегать собирается...» — думает она, стоя посреди дороги. Она видела, как многие уходили со стройки, а остающиеся смеялись над ними. Неужели и над Муратом будут смеяться? Но если он уйдет — она для него ничего не значит... Не раздумывая больше, она шагнула к Мурату.

— Это правда?

— И да и нет... — не сразу отзывается Мурат, не зная, как лучше объяснить Зайнаф, что мечтает он не только о палке пастуха, но и об экскаваторе.

Зайнаф с презрением смотрит на Мурата. И этого человека она чуть было не полюбила! Где были ее глаза? В песнях про любовь так сладко поется, а сейчас она готова избить Мурата, исцарапать так, что и родная мать его не узнает.

— Говори правду! — кричит она. — Не вляй!

— А я тебе никогда не врал... Просто я хочу и на экскаваторе работать, и сено косить, и скот

пасти. Вот такой я человек. Может, просто жадный — не знаю. Но уезжать я пока не собираюсь...

Зайнаф вдруг приходит в ярость. Мурат даже не подозревал, что она может быть такой.

— Пока! — кричит она ему прямо в лицо. — Сено косить, скот пасти... А то мало косили и пасли до тебя горцы? Никакой другой работы балкарцы не знали. Тебе дано право, какого никто из твоих предков не имел, а ты... Я думала, ты понимаешь, а ты хуже последнего старика. Иди к своим баранам, иди! Дура я, дура... — Зайнаф сорвалась с места, но тут же вернулась, крикнула Нине: — Не уговаривай! Скатертью ему дорога!

И теперь уж убежала, закрыв лицо рукой. Мурат пристально смотрел ей вслед, надеясь, что она хоть разок обернется. Нет, не обернулась...

Нина вплотную подошла к Мурату, коснулась пальцами самодельных пуговиц его бешмета.

— Уедешь ты или нет — все равно тебе уже не забыть тех дней, когда ты работал здесь. И свет этих дней всегда будет жить в тебе и нигде не даст тебе покоя, поверь мне... Вот приказ о твоём переводе на экскаватор, подписанный Сергеем Романовичем. Как видишь, машинка моя все-таки умеет дарить людям радость.

Мурат словно очнулся от долгого сна. Да, он горец, без гор нет ему жизни, и он обязательно вернется к ним. Вернется потому, что лучше гор нет ничего на свете! Только не сейчас, а потом, когда они построят БаксанГЭС. Он вернется с электрическим светом, как Со-сруко с факелом... И еще: он вернется с Зайнаф!

К тому времени он сумеет ее переубедить, и она поймет, что косить траву и пасти скот — вовсе не стариковское занятие. Если любит его — поймет...

XIII

Этот день, когда Зайнаф сказала свое слово в споре со стариками, настал. Она сама себя не узнавала: сначала была какой-то невесомой, дрожала от волнения, а потом эта невесомость перешла в непонятную дерзкую силу. Казалось, это вовсе не она говорит со стариками, а другая, незнакомая с чувством стыда, всезнающая и многоопытная женщина.

Вечером должны были принимать в комсомол ее и Мурата. Зайнаф готовилась к этому дню, но все равно волновалась. Не находя себе места, она решила пойти к Нине: та всегда умела успокоить ее, сказать нужное слово.

Нины в конторе не было. И только Зайнаф присела за ее рабочий стол, как из кабинета начальника строительства вышла старая женщина, а за ней и сам Берестов. Зайнаф вскочила. «Говорят, он тоже бывает на комсомольских собраниях!» Холодок пробежал по ее телу.

— Вот эта девушка, — слышит она слова Берестова, — стремится из темноты к свету. Лучше матери трудиться она не сможет, а вот жить будет лучше. Старшее поколение всегда недовольно младшим. А между тем горцы умели воспитывать своих детей. Не сердитесь, если нынешние молодые не в полной мере принимают вас.

Зайнаф догадывается, что речь идет о дочери этой женщины. Похоже, мать почему-то не-

довольна ею, а заодно и на Зайнаф смотрит неодобрительно.

И тут в приемную врывается Бетал. По его лицу видно, что спешит он с недоброй вестью. Все настораживаются. Женщина, что-то бормоча в свой черный платок, уходит.

— Какие-то старики пришли, Сергей Романович, — запыхавшись, говорит Бетал. — Рассерженные! Хотят увести своих дочерей. Хором твердят: большевики задумали грешное дело, не дадим нашим детям служить дьяволу!

— Ну, вот... — Берестов беспомощно разводит руками. — Дьяволу служим... — И неожиданно срывает зло на Бетале: — Пора проснуться! Когда же наконец перестанете, по вашей же поговорке, пить воду носом?

Бетал не обижается, понимает, что Берестов прав, а горячится от досады. Но он все-таки пробует уменьшить свою вину:

— Вы же сами говорили, Сергей Романович, что революция в сознании...

Берестов не дает ему договорить:

— Так что же, по-твоему, надо сложить руки на груди и ждать, если революция в сознании трудное дело? Неужели нужна еще одна революция, чтобы рассеять этот вздор?! — В сердцах оборачивается к Зайнаф. — Что ты вытаращила глаза?

Но Зайнаф пет дела, что Берестов возмущается. Очень спокойно, как бы делясь новостью с подругой, она говорит:

— Этим старикам надо бы в школу ходить. Сегодня у нас такие интересные уроки были: «Что такое дождь?», «Почему гремит гром?» Так все интересно... А мы-то: чуть загрохочет — и давай молиться...

— Вот гляди, Бетал, гляди, — вновь горячится Берестов, — горячка, которая служит дьяволу!

— Я теперь знаю, отчего сверкает молния, — хвастается Зайнаф.

Ее искренность и неискренность покоряют Берестова. Он вдруг и сам успокаивается и деловито спрашивает Бетала:

— Где они? Где эти рассерженные старики?

— Там, на берегу.

— Идем к ним. Сальпагарова, ты тоже с нами.

Они спускаются по крутому склону берега и видят нескольких почтенных стариков в окружении рабочих. Берестов остаивается и снизу вверх кричит, чтобы перекрыть шум реки:

— Зайнаф, голубушка, ты можешь рассказать им все, что узнала в школе?

— Еще как могу! — кричит в ответ польщенная Зайнаф, по тут же спохватывается: — Хей, как я могу говорить со стариками? Не-ет. Сергей Романович, у нас так не приято. Я не имею права, они меня и слушать не станут... Лучше вы им сами скажите.

— Я ведь русский. По-ихнему — гяур.

Зайнаф рьяно запротестовала:

— Что вы, Сергей Романович, как вы можете быть гяуром? Клянусь отцом, вы самый настоящий мусульманин!

Берестов церемонно поклонился.

— Хватит болтать, Зайнафка! — вмешивается Бетал. — Слышишь, что говорят старики? По-ихнему, электрический свет противоречит Корану. А только старики здесь ни при чем, их науськивают наши скрытые враги. Вот бы до кого добраться!..

Их догоняет Мурат, разыскивающий Зайнаф. И Бетал решает схитрить, чтобы заставить Зайнаф выступить перед стариками.

— Старики что, Сергей Ромапович, — сокрушенно говорит он. — Некоторые из молодых тоже поддались этой агитации. — И он подмигивает Мурату, чтобы тот не спорил с ним.

— Кто? — сразу настораживается Зайнаф, почуяв недоброе.

— Ну, например... Мурат.

— Мурат?!

— Парень вроде ничего, а верит всякому вздору.

Зайнаф шагнула к Мурату.

— Ты и этому веришь? И что ты за человек: то все баранов во сне видел, а теперь отдаешь электричество шайтану!

Мурат молчит. Он хочет сказать ей правду, но боится выдать Бетала, которому зачем-то понадобилась эта ложь. А Зайнаф, не дождавшись от него ответа, решительно просит Берестова:

— Научите меня, как говорить со стариками!

— Расскажи, как приехала из аула, — советует Берестов. — Как все девочки здесь дружно живут. Потом скажи, что узнала в школе.

— Клянусь отцом, расскажу!

И они все вместе пошли к старикам.

— Жили и без электрических лампочек. Не допустим, чтобы издевались над Кораном... — доносятся до них разгневанные голоса.

Старейшины балкарских аулов не привыкли к ослупанию. Они приехали, чтобы запретить девушкам из своих аулов работать на строительстве БаксанГЭС.

— Без света жили — никто не слышал, что-

бы горцы умирали от голода. А без веры жить не будем. Делать то, чего аллах не сделал, — это против веры!

Невесть откуда взявшийся Заммай говорит, поглядывая на Берестова:

— Надо прогнать их сыновей и дочерей с работы. Без них обойдемся!

— Э, брат, если прогонять каждого сомневающегося, то с кем будем строить социализм? — Берестов не смотрит в сторону Заммая, а наблюдает за стариками. — Нет, Заммай, это не наша дорога. Мы боремся прежде всего за людей.

— Ей-богу, я вижу это каждый день, — подтверждает Зайнаф. — Пусть попробуют переспорить меня.

— Переведи меня просто, доходчиво, — обращается Берестов к Беталу и взмахом руки просит тишины. И когда старики немного притихли, он сказал: — Вы — честные труженики, аксакалы, но вас обманули враги, сыграли на ваших религиозных и отцовских чувствах. Дочери и сыновья ваши прекрасно здесь трудятся, получают образование. А электрический свет — никакой не шайтан и не дьявол. Он такой же добрый труженик, как и вы сами. И он будет не только освещать все вокруг, но и двигать фабрики и заводы, которые поднимутся в горах. Свет станет вашим... Бетал, как по-балкарски «батрак»? А-а, жалчи. Так вот, то, что мы построим здесь, будет вашим вечным жалчи. Электричество сделает за вас любую работу. Опомнитесь! БаксанГЭС мы строим по плану Ленина...

— Спасибо ему за Советскую власть. Больше нам ничего не надо.

— В горах некому пасти скот. Мы были чабанами — чабанами и останемся.

— Больше не приезжайте, отец. Нам стыдно. О нас в газетах пишут. Здесь так интересно... — сказала красавица Мариам, дочь Сохты из Былыма. К ней сватается учитель, да и многие тайком мечтают о ней.

— Что тут плохого, аксакалы, если мы будем и чабанами и строителями? — спрашивает Мурат. — Вот я был чабаном, а теперь на машине работаю.

Но старики не сдаются. Они приехали, чтобы увести дочерей, и не думают отступать.

— Давайте у ваших дочерей спросим, — предлагает Берестов. — Если они согласны с вами — ни одного дня я их не держу.

И Зайнаф почувствовала: пора. Непривычно и боязно ей было спорить с седобородыми стариками, но другого пути не было. Если она сейчас промолчит — сама себя будет презирать. Сейчас — или никогда.

Она выждала, когда общий крик несколько затих, шагнула вперед и спросила яростным, звенящим от волнения голосом:

— Скажите, в какую сторону солнце идет? Назад или вперед?

— Посмотрите на нее... — Ближний к Зайнаф старик взмахнул своим посохом. — Стыда в ней нет. Так говорить со стариками...

— Куда же солнцу плыть, как не вперед, — отозвался другой старик.

— Тогда зачем вы хотите повернуть солнце назад?

«Она сейчас — точно мать нартов Сатанай перед своими детьми!» — восхищенно подумал Мурат и придвинулся к Зайнаф, чтобы защи-

тить ее, если появится опасность. Она понимающе улыбнулась ему и еще уверенней прежнего крикнула:

— Нет, уважаемые аксакалы, назад мы не пойдем.

Старики отвечают почти хором:

— Вы выбрали путь дьявола! Из наших аулов уходит изобилие, скот наш не плодится, земля наша не рождает...

Тут и Бетал вступает в спор.

— Вы так говорите, как будто в вашей жизни нет никаких перемен к лучшему, — обратился он к самому крикливому старику. — А я вот смотрю на вас и что-то не вижу на ногах привычных чабуров. И нет на вас грубой рубашки из домотканой шерсти. Чабуры вы заменили на сапоги, домотканую шерсть — на фабричное сукно. Что же получается, уважаемый отец? Советская власть сделала ваш скот неплодовитым, землю неурожайной, а вы с ног до головы в обновах... Даже кривую свою самодельную палку заменили на посох, отделанный серебром!

— Работаю — оттого и одеваюсь...

— А то раньше вы не работали! Я помню вас, отец. Тогда вы были моложе и сильнее, а одевались хуже.

— Мы не против Советской власти. Мы против того, чтобы наши дочери работали вместе с чужими мужчинами.

— Как же тогда отпустили меня родители? — спрашивает Зайнаф. — Если не доверяете своим дочерям, запирайте их в сундук. Но и тогда надо следить за тем, чтобы на крышку не села муха мужского рода!

Молодые засмеялись, даже двое стариков хихикнули.

— Пусть пропадают дочери, кто о них думает? Мы боимся, что нашими домами завладеют шайтаны, — проговорился хмурый старик.

На него косо посмотрел тот, кто размахивал посохом, и наставительно сказал:

— Честь — одна, душа — одна. Если кто посягнет на честь наших дочерей, мы объявим вам войну.

— В общем, так, — решил Берестов. — Кто пойдет с аксакалами домой — пусть станет рядом с ними. А кто останется строить электростанцию — переходи на эту сторону... на мою сторону, стало быть.

Уже много лет не было такой тишины на берегу Баксана.

Трудно первой выбрать путь. Строго смотрели старики, спокойно смотрел Берестов.

И Зайнаф шагнула вперед, стала с ним рядом. За ней, улыбаясь и оглядываясь, пошла красавица Мариам — дочь Сохты из Былыма. Она стала рядом с Зайнаф и снова повторила:

— Больше не приезжайте, отец. Нам стыдно. О нас в газетах пишут. Здесь так интересно... — и положила свою красивую голову на плечо Зайнаф.

Старики остались одни, как камни на берегу.

XIV

Этот год был особенно успешным для всей стройки. Были пробиты два из трех, намеченных проектом, туннелей и между ними построены акведуки. И канал от поймы реки до третьего туннеля был уже готов. Бригады землекопов рыли уже третий туннель, а строители воз-

водили станцию. Со дня на день ожидалось прибытие турбин.

Рос и благоустраивался и сам городок БаксанГЭС. Уже стояли два многоквартирных дома, куда из бараков переселились рабочие. И недавно был сдан новый просторный клуб взамен прежней тесной времянки.

Напряженной, хотя и двойственной жизнью жил эти месяцы Арсен. С той страшной и памятной ночи, когда убийцы так напугали его, прошло уже много времени, а он до сих пор не напал на их след. А Арсену позарез надо было найти убийц самому, чтобы отомстить за недавний свой страх и смыть свой позор. Поэтому он никому не сказал о подслушанном разговоре, веря, что рано или поздно сам поймает убийц. Что-то говорило ему, что они здесь, рядом с ним, притаились на стройке.

Сбивало с толку то, что ни на другой день после той ночи, ни позже на стройке не было ничего слышно о каком-либо убийстве. Но поразмыслив, Арсен и тут нашел объяснение: скорей всего убиты были или новички, еще не успевшие оформиться на работе, или те, кто сбежал со стройки и уже не числился работающим. Вот их никто и не хватился...

Трудней всего Арсену было встречаться с Ниной. Сначала он утешал себя тем, что Нина ничего не знает о новом его позоре, но потом сомнительное это утешение уже не помогало. Пусть Нина и все другие ничего не знают, но он-то сам знает! Себя-то ведь не обманешь... Тот случай унизил его в собственных глазах, — в этом все дело. Теперь уже он сам, при всем желании, никак не мог считать себя достойным человеком и настоящим джигитом.

Порой Арсена подмывало все рассказать Нине. Удерживала его боязнь, что она станет презирать его, а потерять ее он не хотел. Но Нина и сама видела, что с Арсеном творится что-то неладное, и однажды спросила его:

— Что с тобой, Арсен? Ты какой-то хмурый стал, будто и жизнь тебя не радует. Уж не заболел ли?

Его порадовали забота о нем и тревога в ее голосе.

— Уж лучше бы заболел... — вырвалось у Арсена.

— Да что с тобой?! — не на шутку встревожилась Нина. — Что ты скрываешь от меня?

— Я тебе потом все-все расскажу, вот только найду двух...

И Арсен прикусил язык, чтобы не проболтаться.

— А я ничем не могу тебе помочь? — сердобольно спросила Нина.

Благодарный Нине, не в силах вымолвить ни слова, Арсен лишь из стороны в сторону замотал головой. И тут же поспешил уйти: ему стыдно было смотреть на Нину, которая так преданно любит его и даже не подозревает, что любит труса, не сумевшего до сих пор смыть свой позор...

И в этот день Арсен бродил по стройке, прислушиваясь к разговорам, надеясь случайно услышать *те* голоса. Он был уверен, что сразу же узнает их. А со стороны он выглядел этаким праздным экскурсантом. И хотя все знали, что у него есть своя работа — такая же беспокойная и бессменная, как и у начальника строительства, но смотрели на Арсена неодобрительно, а некоторые даже с явной неприяз-

нию. Людям, занятым нелегким трудом, не правилось его бесцельное хождение. «Хоть бы помог кому-нибудь, — читалось в их глазах. — Взял бы у девушки лопату или носилки». Но Арсен жадно прислушивался к голосам и не замечал этих красноречивых взглядов.

Степы станции поднялись уже выше роста человека. По дощатым сходням девушки носили кирпич и раствор. Мужчины тащили бревна. На высоком помосте пилыцики, одни стоя наверху, а другие внизу, распиливали бревна на доски длинными продольными пилами. Свежий запах сосновых опилок забивал вокруг все иные запахи.

— Доброй вам работы, — сказал Арсен, заведя Адыла с Заммаем, сверлящих огромную каменную глыбу, чтобы потом взорвать ее.

Адыл досадливо отвернулся, а Заммай был весь в поту и тоже особого радушия не оказал. Да Арсен и не надеялся, что они ему обрадуются, и пошел дальше — к третьему туннелю.

Здесь работали сотни людей. Одни копали, другие выворачивали камни, третьи выносили на носилках и вывозили на тачках землю из туннеля. Арсену вдруг захотелось во всем сравняться с ними: так же уставать на работе, как они, и чтобы соленый пот обжигал его лицо — как обжигает он каждый день лица и тела этих людей.

Но Арсен разглядел, что им было не только трудно, но еще и по-особому хорошо, как никогда не было ему. Он сразу почувствовал это различие между ними и собой. Каждый день они могли видеть сделанное своими руками, могли чувствовать себя счастливыми, заново переживая все напряжение и радость своего тру-

да. А что мог увидеть и пережить он? По всем окрестным дорогам катились колеса его фэзтона, но следы их тут же заносило пылью или смывало дождем. Если бы он работал вместе с ними, он смог бы, наверно, позабыть и те назойливые голоса, не дающие ему ни минуты покоя, и тоже мог бы почувствовать себя человеком, достойным уважения...

Арсен увидел Зайнаф, несшую носилки в паре с другой девушкой. Он заметил: Зайнаф было трудно, она даже покачнулась раз, но не сдавалась и упрямо шагала со своими тяжело нагруженными носилками. Высыпав землю, девушки присели отдохнуть. Арсен подошел к ним. Зайнаф часто и прерывисто дышала, вены на ее руках вздулись. Ему стало вдруг стыдно, что он — такой сильный — ходит тут и ничего не делает.

— Дай я поработаю за тебя, — предложил Арсен.

— Нет, я сама! — Зайнаф вскочила на ноги, краем платка вытерла потное лицо. — Не одна я, все так работают... А ты, если хочешь помочь, возьми лучше кирку. Этот инструмент больше подходит бравому джигиту!

Уже и эта девчонка смеется над ним... Но сейчас ее насмешка не задела Арсена. Он послушно взял кирку и проработал до обеда. Арсен набил мозоли на руках, но на душе его стало немного легче, и даже саднящая боль мозолей доставила ему особое удовольствие — как свидетельство того, что он вступает в новую и правильную жизнь.

Во время обеденного перерыва он не пошел в городок, а двинулся к экскаватору. Была смена Мурата. Арсен наскоро с ним пообедал и, хо-

тя хорошо видел, что Мурат не очень-то к нему расположен, попросился посидеть вместе с ним в кабине экскаватора.

Мурат подумал и не сразу разрешил. Рядом с машиной он казался солиднее и смотрел на Арсена свысока.

— Ну как, все еще собираешься уезжать домой? — спросил задетый за живое Арсен.

— Я учиться хочу, чтобы узнать, как делаются такие машины... Да, меняются времена! — Мурат растянулся во весь рост на мягкой свежей земле, насыпанной его машиной. — Раньше я боялся экскаватора, а теперь он сам побаивается меня. Стоит только мне дотронуться до рычага, как он тут же начинает дрожать. А когда я прикажу ему, он заставляет дрожать горы... Посмотри, сколько я сегодня выкопал машиной и сколько все землекопы вместе. А Бетал говорит: еще сильнее экскаваторы есть. Вот я и хочу учиться, чтобы узнать, как самые сильные делаются.

Арсен с завистью посмотрел на него.

Мурат завел машину, не дожидаясь конца перерыва. Мощный благородный рев наполнил горы. Серый склон дрожит, рассеченный надвое зубастым ковшом экскаватора. Ненасытные зубы его, вонзаясь в каменистую землю, издают властно-сердитый свист и, поднимаясь в небо, на миг застывают над развороченным миром.

— Вот на какую высоту поднимется вода! — кричит Мурат сквозь гул экскаватора. — Высоко, правда?

Арсен сидит в кабине и весь поглощен работой машины. И почему он в свое время не догадался попроситься в ученики к Беталу? Сейчас командовал бы этой железной громади-

ной вместо Мурата. Тот даже ничуть не вспотел, хотя перевернул целую гору земли. И как послушна ему машина! С каким наслаждением он работает... Мурат управляет машиной как косой: куда он слегка наклоняется — туда же поворачивается и вся машина. Нет, он легче и уверенней управляет, чем косой. Так проворно он не запряг бы и волов, не объездил бы коня. И все так ладно у него выходит, будто и родился он в этой кабине.

— Что смотришь? — перехватив взгляд Арсена, спросил Мурат. — Это Бетал меня научил, а его — русский мастер.

— Ты тоже кого-нибудь научишь... — не то спросил, не то предсказал Арсен.

— Знаешь, что мне еще хочется? Разобрать всю машину и пощупать каждую часть отдельно.

— Душу машинную найти хочешь?

— Мне кажется порой, что все это я делаю во сне. Боюсь однажды проснуться, а никакой машины нет, она мне только приснилась... — Мурат поднимает пустой ковш вверх и передвигает машину: разрез кончился, надо начинать новый. — Обещали ночью дать свет. Если дадут — к утру канал будет уже у туннеля.

— Я уйду со своей работы, — сказал вдруг Арсен. — Лучше киркой землю долбить! — И он с гордостью показывает свои молодые влажные мозоли на руках.

— Давно бы так, — одобрил Мурат. — А теперь ступай, ты мне мешаешь.

— Счастливый ты, — сказал ему Арсен на прощанье. — Тебе все легко дается, а мне нет... Я даже не знаю, чего хочу. То мне хочется весь мир обнять, а то готов весь мир проклясть.

— Я делаю то, что мне велел бы отец, если был бы жив... А ты не упускай Ницу, она хорошая.

Арсен кивнул головой, соглашаясь, и спрыгнул с экскаватора. А отойдя от машины, помахал Мурату рукой. Увидел на замасленном загорелом лице щедрую белозубую улыбку и пошел не оглядываясь.

Вечером в городке, возле конторы, где Арсен поджидал Ницу, слышался гул экскаватора. Было темно, света почему-то Мурату не дали, но он все равно работал.

* * *

Поздно вечером стало известно, что в Нальчик прибыли вагоны с оборудованием. Берестов велел Нине предупредить всех бригадиров, чтобы те выделили рабочих, которые утром были бы готовы без задержки поехать в Нальчик. И Арсен с Ниной ходили ночью по домам бригадиров, передавали приказ Берестова. Двоих не смогли предупредить — не застали их дома.

Утром Арсен раньше всех пришел к конторе. Он решил сегодня же сказать Берестову, что уходит от него в землекопы, — сказать прежде, чем тот успеет дать ему задание на день.

Солнце еще не поднялось, сумрачный расцвет занимается не спеша, всеохватно, по-хозяйски рассматривая свои владения. Земля пахнет абрикосами, красными яблоками, кизилом. Здесь, прямо за конторой, большой яблоневый сад, а вдоль улицы посажены абрикосы. Кизиловый запах идет от склона горы, — он так и называется: кизиловый склон. Побывавшие здесь в пору созревания кизила долго помнят кизиловые рассветы.

Но, оказывается, Арсен пришел сюда не первым. Прогуливаясь, он остановился возле памятной сосны на берегу и увидел в развилке веток припрятанные кем-то книги. Арсен взял ученическую тетрадь и с трудом по слогам одолел: «Саль-па-га-ро-ва Зайнаф...» Так это книги Зайнаф! Наверно, и она где-то поблизости. Оглядываясь по сторонам, он стал листать тетрадь. «Мурат». И на другом листе опять «Мурат». А дальше «Мурат+Зайнаф...» Так вот какими уроками занимаются они в школе! А его имя никто вот так в тетради не напишет: Нина не станет писать, а больше некому. На миг он почувствовал острую зависть к Мурату — такую острую, что она пересилила вчерашнее уважение, родившееся в кабине экскаватора.

И вдруг Арсена ожала догадка: а может, один из тех двоих убийц — Мурат? Тот, низкорослый? А другой — Бетал. И на свадьбу в тот вечер они пришли вместе. Все сходится! Вот тебе и механизаторы... А хорошо работают для отвода глаз, чтобы никто их не заподозрил. Других они, может быть, и перехитрят, но только не его!..

Увидев Зайнаф, поднимающуюся по береговому склону, Арсен спрятался за дерево, мельком подумав: «Что-то эта сосна все время попадает на моем пути...» Зайнаф не нашла своих книг в развилке, решила, что это Мурат подшутил над ней, и окликает пустой берег:

— Мурат!

Но из-за дерева выскакивает Арсен.

— Аф!

— Чтоб твой дом сторел! Это ты взял мои книги?

— И тебя украду!

— Я вырежу то место, которого коснется твоя рука. Верни книги, я тороплюсь.

— Да возьми их! — Оскорбленный Арсен бросает Зайнаф книги. — Ты только и знаешь: Мурат, Мурат... Будто, кроме него, никто и пояса не носит.

— Мурат — всадник, а ты — пеший!

— Вот поймаю бандитов — тогда все увидят, кто всадник.

— Хвастун ты! — презрительно говорит Зайнаф.

— Что ты все время точишь на меня нож? — злится Арсен. — Что я сделал тебе плохого?

— А я хвастунов не люблю! — И Зайнаф ушла.

«Отчего на каждом шагу у меня неудачи? — думает Арсен. — Скоро пустим электростанцию, а в жизни моей никаких перемен. Никто не видит, что я хочу жить по-новому, и ругают меня за старые грехи. Или теперь все эти грехи так и будут со мной до самой моей смерти?..»

Занятый этими мыслями, Арсен не заметил, как к конторе подошел озабоченный Берестов.

— Арсен, ты тоже собирайся в Нальчик, — сказал он, взбегая на крыльцо. — Не хватает людей разгружать вагоны.

Уж этого Арсен никак не ожидал.

— Конечно, без меня там не справятся! Если хотите, чтобы я совсем ушел, могу уйти, а разгружать вагоны не буду...

Берестов резко обернулся, спустился на одну ступеньку и широко махнул рукой в сторону дороги:

— Не хочешь разгружать — уходи. И не показывайся мне больше на глаза, слышишь?!

Он давно уже скрылся в конторе, а Арсен

забыто стоит у крыльца. «Ишь ты, не показывайся, — возмущается Арсен. — Как бы не так. Не твоя это земля... Однако это все не то. Не тем занимаюсь, чем надо. И что меня заставило так отвечать начальнику? Ведь совсем не было этого на уме. Что со мной происходит? Хочу как лучше, а получается все хуже и хуже. Какой-то черт сидит во мне и подводит на каждом шагу... Отцовская плеть плачет по тебе, парень!»

— Джигит, ты Сергея Романовича не видел? — слышит он голос Бато и машинально отвечает:

— Чтобы дьяволы видели его!

— Чего ты так горячишься?

— Слишком многого он захотел. Не выйдет, Сергей Романович! Мы не из тех, кого выгоняют... Слушай, откуда взялся этот князь? Мы таких давно скинули! Пугает: если не поеду разгружать вагоны в Нальчик, то он меня уволит. Как тебе это нравится? Я же не чернорабочий!

— И я ищу Сергея Романовича как раз по этому делу, — говорит Бато. — Буду просить, чтобы меня тоже послали в Нальчик. Трудно, брат, людей не хватает, а вагоны с оборудованием простаивают.

— Какое мне дело до вагонов? Я не грузчик.

— А на Сергея Романовича обижаться грех. Он так работает, что мне бывает стыдно. Сам часто разгружает лес вместе с рабочими, копает землю, готовит бетон...

— Да ладно вам, хватит. Человек, который меня воспитал, был не хуже вас.

— Знал я его. Твой отец Ахмат был замечательным человеком. Отдал свою жизнь за Со-

ветскую власть. Поэтому и зла не хватает, что ты не похож на отца. С виду парень как парень. Силы у тебя — хоть цепи разрывай, да и красоты не меньше. Как тур здоров...

Старик уходит, осуждающе качая головой.

«Какой странный день...» — думает Арсен. Ему становится вдруг очень грустно. Хочется говорить хорошие слова, совершать добрые поступки, а получается все наоборот. Стоит только открыть рот, как все спешат к нему с правочениями. Как спастись от этого ада?..

К конторе подбегает Зайнаф. В руке у нее треугольное письмо.

— Из-за тебя упустила Сергея Романовича. Я ждала его здесь, а ты со своими шутками...

— Да зачем он тебе?

— Хотела попросить, чтобы он отправил письмо по почте.

— Дай мне, я отправлю.

— Нет уж, кто тебе поверит?

Рассерженный Арсен хватается за руку.

— Зайнаф, почему ты мне не веришь?

— Отпусти сейчас же!

— Не отпущу, пока не скажешь.

— Пусти! — Зайнаф пытается вырваться, но руки у Арсена крепкие. — Из-за тебя Пина по почтам плачет, как я могу тебе верить?

И Арсен отпускает ее.

Из конторы выходят Бато и Берестов.

— Нет, аксакал, вас я не пошлю, молодых хватит. А вам и тут дело найдется.

— Неверно это, сын Романа, неверно... — Бато спускается с крыльца, разговаривая сам с собой, а внизу оборачивается. — Ты на своего извозчика не сердись, сын Романа. — И уходит, не дождавшись ответа.

Зайнаф протягивает Берестову письмо.

— Киньте в Нальчике. Домой написала.

— Обязательно отправлю. А вы уж тут поднажмите на работе.

— Мы в бригаде решили выполнить норму и за тех, кто уезжает разгружать вагоны.

— Молодцы! — одобряет Берестов. — Что тебе привезти из города? Заказывай.

— Если можно, привезите книги. Раньше я и не знала, какие интересные книги есть на свете. Столько времени упустила... Сергей Романович, а можно прочитать все книги? Все-все!

— Не успеешь, Зайнаф. Целой жизни твоей не хватит.

— Жаль... — Зайнаф пригорюнилась.

— Не унывай. Из города я захвачу книг побольше — так что непрочитанных у тебя поубавится, — утешает ее Берестов.

Они уходят, и Арсен остается один. «Читать, выполнять, строить... Будто у людей и других слов нет!» — думает он и незаметно для себя начинает говорить вслух:

— У каждого свое дело, своя мечта, свои стремления... А я как проклятый! И никто, кроме Нины, меня не любит...

— А ты сам кого любишь? — слышит он вдруг.

— Я?! — От удивления Арсен даже пошатнулся.

— Ты!

Это говорит Бато, незаметно вернувшийся к конторе. Как пророк стоит он перед Арсеном — и тот теряется в догадках: утешать его пришел или судить. Начинает Бато, по стариковской своей привычке, издали:

— Можно и так посчитать, что ты совсем и не виноват...

— Как это? — с проснувшейся надеждой в голосе спрашивает Арсен.

— А вот как... Только характер человека порождает любовь. Хорош или плох характер, но он целиком принадлежит человеку, отличает его от тысяч других людей. А у тебя нет характера. Вместо характера аллах наградил тебя тщеславием...

Арсен ошеломлен: даже добрый Бато против него. Что они, сговорились все, что ли?

— Тщеславие говорит человеку: я дам тебе красоту, научу красноречию, посажу на самый высокий стул... И тот человек, который покорится тщеславию, становится вечным его рабом и шутком.

«Что этот старик бормочет? — возмущается Арсен. — Разве я шут?» Бато пристально смотрит на него, будто в самую душу хочет заглянуть.

— Не горюй, сын Ахмата, еще не все потеряно. Твоя судьба в твоих руках: обретешь стойкий характер — выйдешь на правильную дорогу, а навек породнишься с тщеславием — ничего хорошего в жизни не жди.

И Бато уходит к своим камням, которые для него порой дороже иного человека. Каждый камень наделен надежным и только ему одному присущим характером — хотя и не всем людям дано видеть это. И вдобавок — ни один из камней не подвержен суетному тщеславию...

Арсен, вдруг поверив Бато, закрывает лицо руками и, словно молясь, опускается на траву. В обступившей его гнетущей тишине два голо-

са спорят в нем, и каждый из них — это он сам, неотделимая часть его:

«Человек не может думать только о себе. Ты обидел одного человека, хотел обидеть другого, а в конечном счете обижен сам. И так бывает всегда, когда человек только о себе одном заботится».

«Я устал от правоучений. Каждый меня учит».

«Наверно, равнодушны к твоей судьбе. Иначе зачем бы им спорить с тобой и тратить на тебя время? Ведь никто из пытающихся помочь тебе не получает для себя выгоды».

«Что мне делать? Что делать?»

«Будь таким, каким ты пришел на стройку. Ты был чистый тогда, шел к жизни с открытой душой. Возвращайся к тому дню, если можешь».

И Арсен, позабыв о противоборствующих голосах, неожиданно для себя самого горячо шепчет, будто дает клятву:

— Нина, милая, родная, только ты можешь вернуть меня к тем счастливым дням. Выходи за меня замуж. Свою вину я искуплю. И бандитов обязательно найду, вот увидишь...

XV

В этот день Зайнаф гостила у своей тетки в Былыме. Она приезжала сюда каждый месяц, стирала здесь белье, купалась в большом медном тазу, наливая воду из высокого неудобного кувшина, с наслаждением мыла голову черным мылом, изготовленным теткой из каких-то

трав. После купания она чувствовала себя легкой, почти крылатой. Казалось: стоит ей приложить самое малое усилие — и она полетит белокрылой птицей.

Тело ее становилось таким чистым, что можно было разглядеть в нем даже ток крови. С юных ее плеч сходила тяжесть рабочих смен, запах свежевырытой земли, все напряжение сверхурочных часов... Нет, не вода струилась из кувшина, а волшебная влага, снимающая всю накопившуюся усталость тела, после чего так явно, осязаемо возвращалось к нему перво-зданное его свойство — стыдливость. И стыдливость эта обжигала лицо девушки, тонкую ее кожу кололи миллионы невидимых иголок, — и Зайнаф спешила поскорей одеться. И тут же ее одолевала вдруг дремота, тянула в постель, убаюкивала. И не знала Зайнаф за всю свою жизнь более сладкого сна.

Вместе с теткой она ходила на свадьбы. Молодежь аула как-то сразу, без обычных настояренных взглядов, приняла ее. Да и она не чувствовала себя чужой в их кругу, словно выросла здесь, в детстве бегала вместе с ними за орехами и возвращалась из леса с исцарапанным лицом и растрепанными волосами, вся пропахшая кизилом и ольхой. И никто не сомневался, что все так и было. А Зайнаф с головой окуналась в их веселье и в разговорах умела найти едипственно верное, достойное слово для парней, жаждущих признания у девушек.

Но в эту поездку ей показалось, что все это было очень давно, а теперь время веселья прошло. Теперь она грустила у тетки в Былыме, сама не понимая почему. И поездка эта не до-

ставила ей обычного удовольствия, будто приехала она сюда лишь по привычке, выполняя тяжкую родственную обязанность...

Не успела она переступить порог, как услышала обрадованный голос тетки:

— Очень кстати ты приехала. У хромого Омара сын женится.

Зайнаф вовсе не хотелось идти на свадьбу, но, чтобы не огорчать тетку, она промолчала.

— Переоденься. — Тетка стала вытаскивать платье из большого древнего сундука. — Какое нравится, такое и надень.

Но Зайнаф было все равно. Она выбрала платье из старой арабской парчи, которое тетка носила еще в девичестве. Оно очень подходило к выпешнему душевному состоянию Зайнаф: непонятного цвета, непонятного покроя, длинное, со множеством складок, с беспорядочно разбросанным серебряным бисером. И когда Зайнаф надела его — чуть не заплакала.

— Бедняжка, устала очень, — сказала тетка. — Бросай ты эту стройку. — И как камнем по голове: — Замуж выходить пора!

Платье, надетое Зайнаф, сразу показалось ей просторным и холодным...

Веселье в доме хромого Омара не порадовало Зайнаф. Нет, своего состояния она ничем не выдавала: старалась быть веселой, танцевала и хлопала в ладоши, как и все вокруг, а сама жила иной жизнью. Ей все казалось, что она сейчас не здесь, на свадьбе, а совсем в другом месте. Там тоже было много народу, но люди не веселились, а в скорбном молчании склонили головы. Не видно, по ком они скорбят, но на суровых лицах застыла певосполнимость утраты.

Зайнаф почувдилось вдруг, что непонятное это видение, обжигающее ей грудь, предупреждает ее о какой-то надвигающейся беде. А оттого, что она беспечно веселится здесь, когда, может быть, должна уже плакать, — Зайнаф почувствовала себя вдвойне несчастной и виноватой.

Тихо и незаметно вышла она из круга, отыскала среди пожилых женщин, с удовольствием глядящих на свадебное веселье, свою тетку и шепнула ей:

— Я должна вернуться на стройку... Завтра рано утром моя смена.

— Куда ты поедешь на ночь глядя? Иди, веселись.

Истари так повелось, что младшие всегда слушаются старших. И тетка повернулась к своим собеседницам, давая им понять, что порядок в ее семействе восстановлен и можно продолжить прерванный разговор.

— Ночь не ночь, а я должна ехать, — упрямо повторила Зайнаф.

Впервые в жизни тетка негодуяще посмотрела на племянницу, ошеломленная ее непослушанием. Зайнаф стояла перед ней — близкая и такая далекая, вроде бы слабая и незащищенная, а в то же время непреклонная в своем решении. И в эту минуту никакой вековой обычай, никакой самый высокий авторитет и самый мудрый здравый смысл не могли ее поколебать. И тетка сразу поняла это, и все ее негодование тут же улетучилось. Она поспешила встать, а чтобы после их ухода со свадьбы не было пересудов насчет дерзкого поведения племянницы, взяла всю вину на себя:

— Еще днем ты должна была ехать, Зайнаф.

А я в разговорах совсем позабыла. Подвела я тебя, беспамятная...

И старший ее сын, живущий отдельно с женой, повез Зайнаф в городок БаксанГЭС почью, на гриве коня.

Нет, с Муратом ничего не случилось. Он работал в ночной смене на громком своем экскаваторе. Зайнаф издали послушала, как грохочет его машина, и, уснувшая, пошла в общепитие. Все ее подруги уже спали. Уставшая не так от тряски в дороге, как от суеверных своих видений, она и сама вскоре уснула. Засыпая, Зайнаф слышала приглушенный расстоянием гул экскаватора и громкие выкрики более близких бетонщиков, борющихся за дополнительные замесы. Видела улыбку Мурата и сама улыбалась ему. И не сон смежил ей глаза, а счастье, снова тайно и светло улыбающееся ей.

* * *

Ночь завершается сном, в котором Зайнаф видит Мурата, скачущего на белом коне. А потом конь оказывается экскаватором, и они оба с Муратом сидят в его кабине. Ей очень хочется пить, и, угадав ее желание, Мурат приносит в большой деревянной чашке воды из родника. Теперь экскаватора уже нет, они вдвоем стоят на поляне среди чудесных цветов. Зайнаф подносит чашку к губам — и просыпается.

Обидно, что это только сон. Огорченная, она долго не встает. «Почему такая тревога на душе? Словно соловей потерял свою песню: ищет, летает с дерева на дерево, а песни нет и нет...» Она смотрит в окно: может быть, Мурат пройдет?

Зайнаф одна в комнате: все ушли на работу, а она сегодня дежурная. Можно еще поваляться на койке. Она начинает тихонько пашевать.

Песня моя — светлая песня,
Покой души моей.
Не улета́й, сядь на руку,
Птица счастья моего.

Песня моя — утренняя дорога моя,
Вольное слово мое.
Не уходи, не сделай немым
Ожиданье светлое мое.

Песня моя — судьба моя ты,
День, которого я жду, —
Не уходи, судьба моя
И крылья мои ты...

Ах, какие слова лезут в голову. Нет, не идет Мурат. Наверно, уже прошел с работы. Теперь терпи, жди до вечера.

Зайнаф встает, одевается, берет ведра и коromptло. Сначала надо сходить за водой.

Черная вода из реки, она вдруг видит в воде отражение Мурата и вздрагивает от неожиданности. А с кручи к ней спускается и сам улыбающийся Мурат.

— А я-то думал, ты еще спишь! — Мурат вплотную подходит к Зайнаф, хочет положить руку ей на плечо, но не осмеливается и убирает руку за спину. — Слышал, ты вчера поздно вернулась от тетки?

— Все равно высналась: ночи такие длинные... А ты береги себя, Мурат. Я боюсь...

— Чего ты боишься? Волки машину не кусают!

— Мне мерещится, кто-то ходит с ножом. И Арсен ищет каких-то бандитов... А однажды ночью я слышала непопятный разговор, как резали волов...

«Странно, — думает Зайнаф. — Пока Мурата не было в душе, я этого разговора даже и не вспоминала...»

Теперь Мурат просто обязан успокоить ее — и смело кладет руку на ее плечо.

— Не бойся, Зайнаф. На БаксанГЭСе все мы братья и сестры. Ничего не бойся!

— Мурат, убери руку.

Он убирает правую руку и тут же кладет левую на другое плечо Зайнаф.

— Вот убрал.

Ну что с ним делать? Руку другого мужчины Зайнаф тут же скинула бы со своего плеча, да еще и отхлестала бы его по щекам. Но это же Мурат... И не годится ей быть такой уж придирчивой: все-таки правую руку он послушно убрал...

— Ты остерегайся, Мурат, ладно?

— Я только тебя боюсь: уж очень ты красивая.

— А что, красивые людей едят?

— Сердце съедают... Проводи меня хоть немного.

— Люди увидят, станут болтать, всю душу из тебя вытрясут.

— Моя душа у тебя!

Зайнаф нежно убирает руку Мурата со своего плеча. Смотрит на него смеющимися глазами: верит и не верит.

— Ты иди, Мурат, я сегодня дежурная.

Она поддевает коромыслом ведра, но Мурат снимает их.

— Подъем крутой, — объясняет он и идет вперед с ведрами.

— Мурат, не надо. Мужчине нельзя воду таскать. Увидят — издеваться над тобой будут.

— Завидовать мне станут!

Наверху, с горящим лицом, Зайнаф смотрит в воду — до чего прозрачна! А Мурат вешает ведра ей на коромысло.

— Теперь иди... — Он провожает Зайнаф долгим радостным взглядом. — Я на тебе женюсь. Я обязательно женюсь на тебе! — шепчут его губы.

XVI

Мурат искал в конторе завхоза, чтобы договориться с ним о подвозке горючего к экскаватору. Нина увидела его во дворе, подкралась сзади и ладонями закрыла ему глаза. Мурат осторожно дотронулся до девичьих рук и стал гадать, кто бы это мог быть. Зайнаф сейчас моет пол в общежитии, да и не стала бы она вот так на виду у всей конторы закрывать ему глаза.

— Аклиман? — неуверенно спрашивает он.

Нина еще плотней прижимает руки.

— Жулдуз?.. Мариама?

— Опять не угадал. — Нина смеется и разжимает кольцо своих рук.

— О, Нина! Какие сладкие у тебя руки!

— А у Зайнаф в сто раз слаще! — поддразнивает его Нина.

Мурат смущенно опускает голову, не смея вслух признать, что так оно и есть...

И в это время во двор конторы входят Заммай и Адыл — в пыльных своих спецовках, на вид — такие деловые и честные. И никто не знает, что они только что заложили взрывчатку под здание электростанции.

У Заммая с Адылом такой работающий и заслуженный вид, что Мурат с Нипой смотрят на них с невольным уважением, как привыкли смотреть на всех передовиков стройки. Адыл же глядит на Мурата презрительно, затем его надменно-холодный взор скользит по Нине.

— Алап, помешали мы с тобой этой парочке! — насмешливо говорит он Заммаю.

И Мурат внезапно видит в его глазах лютую злобу и плечом прикрывает Нину, защищая ее от этой непонятной ему ненависти.

— Оставь их, не смущай, дело молодое. — Заммай хочет идти дальше, но Адыл подходит к Мурату и нагло хлопает его по спине.

— Молодец! — хвалит он. — Не зря время тратишь. Бедняжка, для чего же и приехала сюда, если не за этим!

Мурату стыдно. Он готов провалиться сквозь землю. Опасаясь скандала, Заммай хочет увести Адыла, но тот отмахивается от своего расудительного папарника и советует Мурату:

— Не стесняйся, эта любит наших джигитов!

— Ты осел! Ты хуже, чем осел! — кричит Мурат. Он весь напрягся, и Нина еле удерживает его.

Незамеченный всеми, во двор вошел Арсен и остановился у ворот, прислушиваясь к горячему разговору.

— Ты хорошо работаешь, а говоришь как последний бездельник! — негодует Мурат. — Мне стыдно за твои слова... Что Нина подумает о балкарцах... Как ты мог? Как мог?!

Заммай видит, что он готов броситься на Адыла, да и тот вот-вот кинется в драку. Он становится между ними и громко, чтобы слышали все, говорит приятелю:

— Зачем ты огорчил хорошую девушку? — И шепчет: — Не теряй головы...

— Ты трус! — кричит ему взбешенный Адыл. — Сам боишься драки и меня не пускаешь... Теперь я понял: не осторожность это у тебя, а самая настоящая трусость. Ты — трус, Заммай!

Вот тут Арсен наконец-то узнал этот голос. У него даже сердце екнуло и кровь отлила от лица. Припомнился ночной разговор у сосны: «Ты трус, зачем обрез утопил?» А еще раньше, остановив взбесившихся коней, Адыл сказал ему: «В тебе течет кровь труса!» Никаких сомнений не может быть: это Заммай и Адыл разговаривали той ночью у сосны...

Хитрый Заммай сумел извлечь пользу и из ругани Адыла:

— Слышали, как он меня? И друга не пощадил! Уж очень горяч, вот и наболтал лишнего... Как тебе не стыдно? Мы люди нового времени и не должны танцевать под вражескую дудку... — Он оставляет Адыла и подходит к Нине. — Не сердитесь на него. Парень он неплохой, по с пережитками. Я еще поработаю с ним, перевоспитаю...

Нину душит обида.

— За что он меня так? — сквозь слезы спрашивает она. — Ведь он не только меня, а всех русских девушек грязью вымазал...

Арсен шагнул вперед.

— Нина, кто тебя обидел?

— А-а, это ты, Арсен, — лепиво говорит Адыл. — Давно тебя не встречал. Ну как, успокоились твои кони?

— Ты спас меня — и я твой должник, — признает Арсен, а у самого кровь кипит. — Уч-

ти, с долгами я всегда расплачиваюсь! — добавляет он угрожающе.

Заммай с тревогой глянул на него и заторопился:

— Ну, нам пора... А вы, девушка, не огорчайтесь. Просто приятель мой неудачно пошутил. Мы приносим извинения.

А когда они отошли подальше, Заммай с яростью прошипел Адылу в лицо:

— Посмотрите на этого олуха! Чтоб твой дом сгорел... Других забот у тебя нет, что ли? Все готово, осталось поднести искру, а он... Если она пожалуется, может дойти до гэнэу...

— Ничего они теперь не успеют: взрывчатка заложена, скоро станция взлетит на воздух!

Но осторожный Заммай и сейчас еще сомневается.

— Много раз мы уже взрывали станцию на словах. Даже и теперь я еще не до конца верю... — Он задумывается. — Никак не могу понять, что случилось в ту ночь. Мы убили их, а они раньше нас оказались на свадьбе. Ахия-Хахим был в бешенстве.

— Да, обхитрили тебя тогда большевики! — Адыл ухмыльнулся. Хотя и заодно они с Заммаем, но он радовался, что сообщник его так опозорился. — Заставили чурбаны под буркой расстреливать!

Заммай насупился.

— Все наши промахи окупятся, когда взорвем станцию.

О Мурате он не говорил больше ничего. Даже Адылу.

Арсен, так долго искавший убийц, теперь, найдя их, вдруг растерялся. Раньше ему казалось: главное — найти. А сейчас он увидел: этого мало. Как он докажет, что Заммай с Адылом убили кого-то, если убитых нет. Они будут отпираться — и им, ударникам, скорее поверят, чем ему. Надо поймать их на месте преступления. Но пока он будет ловить их, они могут еще кого-нибудь убить, а то и сбегут со стройки.

Он как-то туго соображал, что теперь делать, чтобы не упустить преступников. Эх, надо было учиться, когда все учились, а не проводить время в гулянках...

«Лучше всего — рассказать все Берестову. Тому видней, как ловить убийц», — решил Арсен в конце концов и пошел в контору.

Нины на месте нет, слышен ее голос из кабинета начальника. Она и Берестов стоят у самой двери, каждую секунду могут выйти в приемную и увидеть его подслушивающим. Надо бы отойти подальше от двери, но ноги не подчиняются Арсену.

— Не понимаю я тебя, — говорит Берестов. — Ведь Арсен тебя так обидел...

— Не трогайте его, Сергей Романович. Мы сами разберемся. Я не хочу быть черной тучкой в его ясном небе...

Арсен не стал ждать, что ответит Берестов, и быстро отходит от двери. Наверно, он похож сейчас на вора, — и мысль эта оскорбляет его. То, что он делает сейчас, — низко, позорно для мужчины. Надо сейчас же вернуться и рассказать все об убийцах. В конце концов это важнее всех его обид...

Он пересиливает себя, подходит к двери и широко распахивает ее.

— Что там у тебя? — спрашивает Берестов.

Враждебности в его голосе не слышится и вообще Арсену кажется, что после того, как он ушел в землянки, Берестов стал больше его уважать.

В эту минуту зазвонил телефон. Пина взяла трубку:

— По-моему, вас спрашивает товарищ Калмыков...

Арсен ждет, пока Берестов поговорит по телефону. Пина стоит у окна. «Не хочу быть черной тучкой на его ясном небе...» — сказала она. И это после всех огорчений, которые он причинил ей! Другой такой жены ему не найти...

Берестов сам почти ничего не говорит в трубку, только слушает, но лицо его становится возбужденным и радостным.

— Отгрузили нам, Пиночка, Арсеичик! Турбины отгрузили, вы понимаете?! — На радостях Берестов обнимает их обоих.

— У меня дело к вам, Сергей Романович...

— Какое дело? В дороге турбины — сердце ГЭС! Скоро увидите, как заспят горы!

Арсен понимает, что для начальника строительства Баксанской гидроэлектростанции не может быть ничего значительнее того, что ему сейчас сообщили, и оставляет его в покое.

«Перед пуском они все могут, — думает он о Заммае с Адылом. — Любую пакость могут сделать...» Арсен шагает к экскаватору через нагромождение строительных материалов. Теперь, когда он точно знает убийцу, ему стыдно, что одно время подозрение его пало на Мурата с Беталом. Он чувствует себя виноватым перед

нимп и спешит рассказать им о своем открытии и о всех своих опасениях.

Но посреди дороги Арсен вдруг останавливается. «Наган отца! — вспоминает он. — Завещанный мне наган... Настал день, когда он поможет мне. Так я продолжу дело отца!»

XVII

После того как родители оставили «эту дрянную девчонку» Зайнаф жить и работать на стройке, они больше не приезжали на Баксан-ГЭС. Дорога была дальняя, да и знали они, что живется дочери неплохо под боком у родной тетки, и поэтому особенно не беспокоились о ней.

Но вот получили они письмо от Зайнаф, узнали, что открытие стапцил состоится в дни весеннего праздника, и решили посмотреть на это небывалое чудо своими глазами.

Два дня и одну ночь добирались они до Баксана. Сначала на попутной арбе, потом пешком, а потом на грузовике, который больше останавливался, чем ехал. Одно было хорошо: шофер им попался веселый, под стать Тапишу. Как понял прозорливый Тапиш, веселый шофер мало чего понимал в своей машине, — во всяком случае, гораздо меньше, чем рядовой аробщик в арбе.

Наконец машина остановилась совсем. Шофер выругался.

И снова они пошли пешком. Тапиш с тяжелыми хурджинами — впереди, Гыттой со свертком в руках — позади, как и полагается верной жене. Они устали в дороге, но радость близкой встречи с дочерью и сознание того, что они уви-

дят, как зажигаются воздушные лампочки, придает им силы.

Наконец они пришли.

Тапиш, охая, кладет хурджины на землю, озирается вокруг и спрашивает — скорее самого себя:

— Не заблудились ли, жена?

— Ты только в молодости сбивался с правильной дороги, а теперь старый ты для этого.

— Не ворчи, жена... — Из нагрудного кармана Тапиш достает письмо дочери, с любовью и гордостью разглядывает его. — Видишь, какая наша дочь? Клянусь душой, до нашей Зайнаф никто не умел так написать письмо в Балкарии, чтобы оно дошло до Карачая!

— Да, сразу видно, тот русский — хороший человек. Наверно, он и научил ее.

— Э-э, тут дело не в том, что тот русский — человек хороший. Все дело в крови. Это моя кровь сказывается!

— Понесло, понесло...

Но за долгие годы семейной жизни Тапиш давно уже привык к издевкам жены и не обращает на них внимания.

— Молодчина! — хвалит он дочь, бережно похлопывая ее письмо. — Обрадовала отца. Подумать только: Зайнаф так написала, что ее письмо само нашло дорогу к родному дому! Э-э, жена, а ведь таких умелых джигиты любят. Не ровен час, не окажемся ли мы на пустом месте: не увез ли твою дочь кто-нибудь под буркой? Вот будет потеха!

— Побойся бога, она ребенок еще.

— Э-э, как замуж выходить, все вы сразу становитесь взрослыми... — Он снова озирается вокруг. — Жена, клянусь душой, мы заблуди-

лись. Это не те места, где мы были в первый раз.

— Места те же, только много здесь всего понастроили... Аллах, аллах, что там за трубы? Наверно, этот электр в них внутри рождается.

— Не болтай, старая. Вы, женщины, всегда думаете, что все рождается внутри. Там установлены машины, вот что.

— Как же так? Если там машины, то куда дым девается?

— Это такие машины... без дыма. Ты думаешь, все машины тарахтят и воняют, как трактор у нас в колхозе?

— Не хвастайся, Тапиш. Ты тоже не больше меня понимаешь. Давай лучше поищем нашу девочку.

— Где они теперь работают? Не видать и моего кунака Бато. Ты стой здесь, а я пойду спрошу у начальника или у той русской девушки.

Он вошел в контору, но Нина не узнала его.

— Дочь моя, — обращается к пей Тапиш, — не можешь ли сказать, как нам найти Сальпагарову Зайнаф? Такая... ну, ударница, комсомол...

— Комсомолка Зайнаф? Вы ее отец? — Нина наконец-то узнает его и здоровается. — Пойдемте, я провожу вас. Зайнаф сейчас на работе.

Однако Тапиш и Гыттой хотят сначала встретиться с дочерью здесь, а уж потом решать, куда им идти. На стройку, где трудится много народу, так просто идти нельзя: не принято без угощения. А с дороги они к этому не готовы.

Нина идет сказать Зайнаф о приезде ее родителей, а Тапиш кричит ей вдогонку:

— Доченька, пайди сначала моего кунака Бато... — Он молодецки поглядывает вслед девушке, в глазах его засветились оворные оговьки. — Эх, где ты, моя молодость?!

— Что ты говоришь, старый? Совсем спятил.

— Да, черт возьми, родился я рановато. Мне бы позже родиться, не достался бы такому деревянному коню, как ты.

— А ты был хоть куда: повернешься налево — орла поймаешь, направо — камень проглотить!

Но что для Тапиша насмешки жены? У него много славных воспоминаний.

— Клянусь душой, когда я был в отряде Кочубея... — Он вздымает свой посох, как саблю. — У меня был желтогривый конь. Скакал, как Гемуда¹. Как размахнусь влево — две головы долой, размахнусь вправо — долой сразу три... Кочубей сам видел. Я считал позором сесть на коня, вдев ногу в стремя. Издалека вспрыгнешь — и будь здоров.

— Спятил ты, это уж точно.

— «Вперед!» — кричали мы, — продолжает Тапиш, не слушая жену. — «Власть беднякам, смерть белякам!» А каков был сам Кочубей? Бес настоящий!

Тут он увидел своего кунака Бато, идущего к нему в черкеске, опоясанной серебряным поясом с кинжалом. Бато показался ему сейчас гораздо моложе, чем при первой их встрече.

— Приехал-таки, черный карачаевец!

— Бато, друг мой! Конокрад несчастный!

Они обнимаются.

¹ Г е м у д а — сказочный конь.

— Я тебе покажу, как крадут копей!

— Хвастун! Почему БаксанГЭС еще не готова? Я спешил увидеть земные звезды.

— Немного осталось. Ты приехал в самый горячий час: сегодня поворачиваем Баксан в горы. Вон, гляди, какой канал прорыли по склону.

Они увидели Берестова, спешащего к месту перекрытия реки.

— Русский начальник, как и Кочубей, непоседа, — говорит Тапиш, шагая рядом с Бато.

Берестов, заметив стариков, приостановился.

— Добро пожаловать, отец, — обращается он к Тапишу.

«Такой неувыдаемой красоты мужчина», — думает Гыттой.

— Тапиш приехал к нам на подмогу, — уверяет Бато. — Как, Сергей Романович, запряжем его?

— Он, наверно, устал с дороги.

— Как так устал? Вы думаете, у меня вода в жилах? Мы еще посоревнуемся с Бато.

— С Бато соревноваться не легко, аксакал.

— Я заставлю тебя попотеть, черный караевец.

— Если кого и заставляли кабардинцы потеть, так это никомушных балкарцев.

— Балкарцев не трогай, мужчина, — оскорбляется Гыттой. — Уж они-то покажут тебе, кто кудышный, а кто никомушный!

Пока они так шутят и дружелюбно поддевают друг друга, Зайнаф бежит к ним в лучшем своем платье, с двумя тяжелыми длинными косами, освещенная любовью.

— Отец! Мама! — Она обнимает обоих сразу. — Благополучно добрались?

А Гыттой:

— Как, дочка, не болела? Не голодала? Не обижали тебя здесь?

— Ой, мама, что ты! Ко мне так хорошо все относятся...

— Думаем послать ее на учебу, — говорит Берестов.

— Очень хорошо думаете... будто дом у старого Тапиша ничуть не заброшенный!

Похоже, эта весть совсем не радует Тапиша. Но Берестов стоит на своем и разъясняет:

— Пошлем учиться на инженера-строителя. Вот увидите, Зайнаф еще покажет себя...

— Где женщине взять такой ум, милый человек? — От удовольствия Гыттой даже закрывает глаза.

— Не болтай, старая, — останавливает жену Тапиш. — Когда ты начинаешь кривляться — у меня спина чешется... — И Берестову: — Если пошлете, великое спасибо. И так мы много добра увидели от русского народа. Душа русского человека высока, как наш Эльбрус. В этом я убедился еще в отряде Кочубея.

Берестов тронут искренним признанием старика.

— Спасибо, аксакал. Но я должен сказать, что знамя революции окрашено не только кровью русских. И мирную жизнь все мы строим сообща. Вот наша красавица БаксанГЭС — каждый считает ее своей... Однако, аксакалы, не пора ли нам? День у нас сегодня исторический, опаздывать не годится.

— Пойдем, кунак. — Бато берет под руку Тапиша.

Гыттой, шагая вслед за мужчинами, думает о Берестове. Ей неудобно перед дочерью, но все

же, не в силах скрыть душевный восторг, она шепчет ей на ухо:

— Ей-богу, доченька, если б этот русский приехал к нам в гости, я бы угостила его!

Зайнаф не придает значения смятению матери, звонко смеется и беззаботно успокаивает ее:

— А я его приглашу, если ты так хочешь...

У перекрытия Баксана — там, где канал гидростанции выходит к плоскому берегу реки, собралось много народу. Строители, гости, руководители района и республики. Жители ближних колхозов приехали со знаменами и гармониками — на подводах, на скаковых лошадях, с богатым угощением строителям. Парни и девушки нарядились в национальную горскую одежду.

— Аллах, аллах! — удивляется Тапиш этому праздничному скоплению народа.

— Аллах тут ни при чем, — поправляет Бато. — Пойдем, хоть руку приложишь к нашей общей работе. А то нечем будет хвастаться, когда вернешься домой.

Подумать только! Он, который сомневался, а если честно-то и совсем не верил, что Баксан повернет в горы, теперь примет участие в его перекрытии!

Он закатал рукава старой своей черкески и пошел вместе с Бато ворочать камни.

А потом он с молчаливым восхищением смотрел, как вода потекла по новому руслу.

А потом танцевал!

XVIII

С этим торжеством совпало еще одно событие.

На БакалГЭС часто приезжали корреспонденты. Это была крупная стройка пятилетки, и многие газеты считали своим долгом рассказать об этой стройке и людях, работающих там. Очередной приезд очередного корреспондента совпал с крупным успехом Мурата. Особенно корреспонденту пришлось по вкусу, что раньше Мурат был пастухом, а на стройке сначала работал землекопом, а потом оседлал и машину. Корреспондент заинтересовался Муратом, ни на шаг не отходил от него целых две смены, чтобы получше увидеть его в работе.

После отъезда корреспондента минуло недели две, и Мурат стал уже забывать о нем. Но в день торжества строителей пришла газета с очерком об экскаваторщике Мурате, — и очерк был не простой, а с портретом.

В этот день все радовались, что завершилась многолетняя работа и на берегу Бакана, как сказал Бато, белым лебедем поднялась станция. Каждый чувствовал приближение всеобщего торжества «красных землекопов».

Мурат вместе с Беталом должен был пригнать машину к месту перекрытия реки. К экскаватору он пошел пораньше, чтобы подготовить его в дорогу. Но и Бетал рассудил точь-в-точь так же. Они встретились на полдороге и пошли вместе.

А когда подготовили машину к перегону — увидели хромого Бектура, почтальона. Он спешил к ним по свежему гребню новой насыпи, проваливаясь и что-то крича. Хромал он весело, энергично. «Значит, несет радостную весть», — решили Бетал с Муратом.

Да, он принес им газету, где «попапсано о Мурате»! Хромой Бектур так ликовал, будто

узнал вдруг способ, как выпрямить свои кривые ноги. Мурат и Бетал поблагодарили его, пообещали суюпчу — подарок за хорошую весть. А тот рассказывает:

— Прихожу на почту — все почтальоны кричат, вырывают друг у друга газету. Кинулись меня поздравлять — вы ведь на моем участке. А я им: участок тоже надо выбирать с умом... «Передовик строительства» — ничего себе? А портрет какой крупный дали, за Муратом даже экскаватора не видно... Поезжай домой, матери покажи. Вот кто по-настоящему обрадуется!

Хромой Бектур шагает дальше — раздавать газеты и славить Мурата. Этой новости хватит ему на неделю. А Бетал взбирается на экскаватор и там читает газету.

— Покажи ей. И приходи на берег, машинку я пригоню.

И прогромыхал мимо счастливого и растерянного Мурата. Тот постоял-постоял и вдруг сорвался с места, кинулся к женскому общежитию.

Но к общежитию Мурат подошел медленным прогулочным шагом. Огляделся по сторонам и постучал в знакомое окно. Занавеска шевельнулась, но никто не выглянул. Мурат подождал и только вскинул руку, чтобы стукнуть в окно погромче, как из общежития степенно вышла Зайпаф. На ней пестрый передник, рукава платья закатаны до локтей. Вот такая — пепраздничная, работающая — она правится Мурату больше всего.

— Ты звал, Мурат? — остановившись поодаль, спрашивает она строго — пожалуй, чуть-чуть более строго, чем надо бы. Вдали от Мурата ей нравится казаться, что она ведет себя

слишком уж покладисто, и Зайнаф дает себе слово в следующий раз быть с ним построже.

— Да, хотел вот что-то показать... если не сильно занята. Ты только не смейся.

— А что у тебя? Покажи!

Заинтересованная Зайнаф, позабыв все свои строгости, быстро идет к нему, разворачивает газету и сразу находит очерк с портретом. Она переводит глаза с портрета на присмирившего Мурата, сравнивая их.

— В газете ты веселей... Вот ты какой везучий, Мурат! Пусть радуется та, кого любишь.

А Мурат — опустив голову:

— Тогда радуйся ты! Радуйся же!

Зайнаф спокойно возвращает газету, будто ничего не слышала. Но смотреть ему в глаза она не может и отворачивается. Это придает Мурату уверенности.

— Пока я тебя не знал — вроде и не жил на свете. Совсем слепой был и только теперь прозрел... Жизнь так хороша...

— Дурачок! — Зайнаф поворачивается к нему. — Зачем ты все выдумываешь? Вот когда женишься... на ком-нибудь...

— Я знаю, на ком женюсь.

— На ком?! — живо спрашивает Зайнаф.

— На одной недогадливой девушке. Имя ее начинается на «з».

— В нашем ауле живет старуха Зурум! — И Зайнаф заливается молодым звонким смехом.

— Зайнаф... Зайнаф... Когда мы пустим электростанцию и лампочки осветят нашу землю, мы будем жить в светлом просторном доме. Вечером я вернусь, усталый, с работы, а ты встретишь меня... И тогда я подниму тебя вот так! — Мурат неожиданно схватил Зайнаф, лег-

ко поднял и закружился вместе с ней. И осторожно, очень осторожно поставил ее на землю. — Твой свет, твоя красота сразу снимут с меня всю усталость... Зайнаф, какая жизнь ждет нас!

У Зайнаф закружилась голова. Чтобы не упасть, она держится за Мурата и стоит, закрыв глаза.

— Правда ли, Мурат: влюбленные, если не встретятся на этом свете, то на том свете обязательно соединятся?

— Притча не по мне. Счастье нужно мне на этом свете, я не могу откладывать его до того света. Мы поженимся в тот день, когда пустим станцию. Я увезу тебя прямо с нашего праздника... Зайнаф, так, да?

— Скажи, Мурат, ты... ты уже говорил кому-нибудь такие слова?.. Говори скорей!

— Не веришь? Я же люблю тебя, Зайнаф, и не могу сказать неправду, если б даже и захотел... Раньше я думал: о любви только песни поют. А теперь самые высокие слова рождаются у меня в сердце.

Зайнаф стало так хорошо, что она просто не могла устоять на месте и невольно закружилась — все быстрее и быстрее, словно радость подхватила ее.

— Мурат, держи меня! — кричит Зайнаф. — Какая-то огромная белая птица поднимает меня на своих крыльях. Я лечу, лечу... Волшебная белая птица уносит меня, Мурат!

Зайнаф вдруг резко остановилась, испуганно озираясь.

— Что с тобой?

— Мне показалось, кто-то злобный смотрит на нас... Уйдем отсюда, Мурат.

— Зачем? Я — не вор. Я люблю тебя и хочу крикнуть об этом на весь мир!

— Когда тебя нет, — тихо говорит Зайнаф, — я хожу словно по обожженной, выгоревшей земле. Каждое утро жду тебя.

— Теперь нас никто не разлучит!

— Я слышала, свет первой любви остается навсегда. Пусть он не погаснет во мне...

Больше слов у них нет. В их сердцах звучит музыка и наполняет собой все вокруг. И в этом плавящем музыкой мире они стоят лицом друг к другу, на пороге своего близкого счастья.

XIX

В день пуска станции, ранним утром, как и в начале нашей истории, над обрывом реки Баксан стоял человек. Но это не Берестов, а старик Бато, помнящий эти места с детства. В предутреннем сумраке, как несколько лет, а может быть, и несколько тысячелетий назад, высились скалы — все такие же юные и непрестушные. А чуть повыше их — там, где проходит путь Большой Медведицы, прерывистым дыханием застыли тучи. Звездный караван уже скрылся за горой, и луны нет на небе. Но зрение у старика острое, он видит весь свой жизненный путь — от самого его начала и до нынешнего дня.

Медленно отступает темнота, и становятся видны белые степы станции. Кажется, и свет зарождающегося дня идет от этих стен. Взору Бато открываются стремительные и непонятные линии электропередач. Справа от него трубы — мощные, сказочные при сумеречном све-

те, по ним вода спешит к турбинам. Бато смотрит вдаль — вслед исчезающей в горах линии электропередачи. Теперь его лицо и борода ярко освещены светом, падающим от белых стен станции.

Во взгляде Бато радость смешана с болью. Утренний мир, давний и терпеливый его собеседник, в этот час слушает его, притаившись в ожидании чуда. Лишь изредка всплесками реки нарушает он исповедь старика.

— Салам алейкум, новый мир! Пусть будет открыта дорога тебе во веки веков! Я радуюсь, но и огорчение мое велико. Как не радоваться, если ты такой смелый, ясный... Был рваный у тебя бешмет и дырявые чарыки, от голода и холода в глазах темнело, но ты говорил о грядущем изобилии! Кто верил тебе? Такие же, как ты, оборванные и смелые... Ты был упрям, правдив, хотя горели, кровотока, раны твои. Я, старый человек, благословляю твой путь. Ты победил в горах, вошел в тесные ущелья со звездами в руках... И огорчение мое тоже от радости: мало осталось мне жить в этом светлом мире. Моя жизнь здесь — лишь чудесное и краткое мгновенье, а хотелось бы увидеть больше, ведь чудо только начинается. Старость пришла чуть раньше счастья...

Река Баксан! И ты стара, и я стар. Жили мы с тобой, не думая не гадая о нынешнем дне. Я счастлив — увижу чудесную твою силу. И ты, река, счастлива: отныне будешь служить человеку. Ты дашь людям свет, а что от меня останется? И это меня огорчает...

К Бато подошли Мурат и Зайнаф — радостные и как бы просящие старика извинить их за эту радость. В руке Зайнаф был букет диких

горных цветов. Не знал Бато на своем веку этого обычая — дарить цветы. Да и любовь во времена его молодости была иной. И, жалея о том, что так много хорошего прошло в жизни мимо него, он дал им наказ:

— Берегите жизнь и землю. Они — защитники вашего счастья.

Слезы навернулись на глаза Бато. А Мурату было стыдно — стоял возле старика со своей девушкой, — такого раньше не бывало в горах. И Зайнаф не смела поднять голову: слыханное ли дело — показаться на людях со своим избранником.

Им обоим было стыдно и... хорошо. И, поговорив со стариком, они поспешили дальше по своим неотложным молодым делам.

— Да, теперь наши дома будут светлыми, — сказал старик им вслед. — Парни наши — плечистей, девушки — еще стройней. И земля наша станет щедрей, горы — доступней. Мы будем жить, как подобает человеку. Вот в чем наш свет — яркий, как жизни погибших в борьбе.

Нет, не пристало мне огорчаться. И от меня останется след — мои узоры! Я сложил стены станции, и на них — мои узоры, моя радость и боль. Значит, и я имею право прийти на сегодняшнее торжество с поднятой головой...

Так думал и говорил старик Бато, встречая рассвет на крутом берегу Баксана. Много сказок слышал он в своей жизни, но та, что предстала сейчас перед ним, была самой лучшей...

В этот же ранний час Арсен притаился у мощных стальных шлюзов, где стремительные потоки бились о бетонные опоры. После удара они на мгновение словно застывали в удивле-

нии, а потом, опомнившись, бросались на напирющую сверху массу воды и в яростной схватке толкали ее в сторону открытого шлюза. Сбитый со своего пути, поток ревел у водоотводных ворот, как напуганное стадо, и, сопровождаемый глухим глубинным стоном, падал вниз. Шум его падения отдавался вдалеке — там, где каменистый склон горы уперся в серые скалы.

Арсен чувствует, как дрожат шлюзы от напора воды, и голова его начинает кружиться. Он смотрит вниз. Там сила воды иссякает, потом перестает бурлить и течет спокойно, широко разливаясь над пестрой россыпью гальки.

Но бунт и последующее примирение потока с судьбой не интересуют Арсена. Почти не интересуют. Наган, который хранился у верного человека по завещанию отца, теперь щекочет его бок. Арсен видит, как собирается народ на площади перед станцией. Но тех, кого он выслеживает, там нет. Скорей всего они пошли туда, где установлены агрегаты.

«Как глупо я жил, — думает Арсен. — Но это теперь позади. Сегодня все увидят, на что я способен».

«Зря ты медлишь, Арсен», — говорит ему тот внутренний голос, который всегда осуждает его промахи и ошибки. Если б Арсен мог, он заставил бы замолчать этот требовательный голос навеки, но это не в его силах.

«Ничего страшного. Они в твоих руках», — возражает второй голос: он добрее к Арсену и готов простить ему все его прегрешения.

«Ты один, а их двое... И ты неопытен».

«Теперь я другой и многое понял... Если бы можно было начать все сначала!»

«Черное дело готовится на станции, а ты не спешишь...»

Но Арсен спокоеи в этот час. Уходя сюда, он сказал Мурату, чтобы тот, не спрашивая ни о чем, нашел Берестова и был все время рядом с ним. Пожалуй, надо было сказать еще кому-нибудь...

Он спускается вниз, идет в агрегатную. На ходу наган сильней щекочет его бок. И вдруг Арсен увидел их. Увидел и спрятался за выступ стены. Заммай, стоя на коленях, тянул из-под пола конец шнура.

«Давно готовят, сволочи!» Голос, как загнанная справедливость, не пропадая совсем, но и не зная, что теперь делать, задыхался в груди Арсена. А сам он, кажется, уже примирился с тем, что должно случиться...

— Спичку! — приказал Заммай.

Адыл поднес зажженную спичку к шнуру.

— Готово!

И они кинулись прочь от шнура.

Огонь быстро бежал по шнуру. А Арсен сомневался: совсем ушли Заммай с Адылом или прячутся поблизости. И в разгар этих сомнений его пронзила мысль: а ведь он может погибнуть при взрыве, так ничего и не совершив. И Арсен шагнул навстречу огненному шнуру...

А Берестов чуть пораньше Арсена был у шлюзов. Теперь он возвращался, осмотрев перед пуском и шлюзы и канал. Оконченная работа и радовала его и печалила: скоро он уедет отсюда, а гибель Нади как-то по-особому породила его с этой стройкой.

В саду за станцией навстречу ему попались знатные взрывники Заммай и Адыл. Они быстро шли, поминутно оглядываясь.

— Вы куда, братцы? Гонят вас, что ли? — весело спрашивает Берестов. — На митинг, на митинг! Или праздник не ваш?

— Наш, Сергей Романович, — отвечает, задыхаясь от быстрой ходьбы, Адыл.

— Горцы умеют веселиться... — озираясь по сторонам, говорит Заммай.

— Вы достойные люди, — Берестов хлопает Заммай по плечу. — И работали всегда ударно. Администрация и общественные организации представили вас к награде вместе с лучшими строителями. Поздравляю!

Заммай пожал руку Берестова обеими руками, как бы в порыве глубочайшей благодарности, а на самом деле — чтобы придержать его, если понадобится. Адыл зашел за спину Берестова и вынул нож. Никто не заметил Мурата, бегущего к ним через сад. Адыл размахнулся, и одновременно Мурат предостерегающе крикнул:

— Сергей Романович!

Рука Адыла с ножом на короткий миг замерла в воздухе — и Мурат успел прыгнуть и оттолкнуть Берестова от ножа. Берестов отлетел в сторону и упал, а Адыл изо всей силы ударил Мурата ножом в грудь и крикнул Заммаю:

— Стреляй! Стреляй же!

Но тот и не думал стрелять в Берестова. Посерев лицом, он пятился от поверженного Мурата, спиной выискивая дорогу между деревьями. Разъяренный Адыл кинулся к поднимающемуся Берестову, но тут выстрелил из нагана подоспевший Арсен. Адыл схватился за живот, упал и стал кататься по земле. Заммай с поднятыми руками стоял перед Арсеном.

Не сознание, а слепая ненависть поставила Адыла на ноги. Он рванулся к Берестову — и Арсен снова выстрелил. Адыл вздрогнул всем телом и рухнул на землю.

— Волы моего отца! Желтогривые скакуны... — пробормотал он в предсмертном бреду. — Осел, рожденный от осла... — Это были последние слова Адыла на земле, и неизвестно, к кому они относились: к трусливому Заммаю или к себе самому, умирающему за гиблое, обреченное дело.

Берестов нагнулся над Муратом, приподнял его голову.

— У нас будет светлая комната, — отчетливо произнес Мурат, а потом, теряя последние силы, заговорил тише и невнятной: — Когда я, усталый, приду с работы... Зайнаф... Зайнаф... Твой свет...

Мурат затих и вытянулся.

— За меня погиб... — прошептал Берестов, снимая фуражку. — Я почти прожил свою жизнь, а ты ведь ничего еще не видел... Что я скажу теперь твоей матери?

— Это все я... Я виноват, Сергей Романович... — Арсен рукой с наганом вытер слезы. — Послал его к вам, а сам хотел осмотреть подходы к станции. Если б не я, он остался жив.

— Какой толк теперь, Арсен? Матери Мурата мы все равно сына не вернем...

— Что вы там задержались, Сергей Романович? — издали весело окликнула Нина.

Берестов стоял с опущенной головой, как надгробный камень. Нина подошла, увидела мертвого Мурата и оцепенела, не веря своим глазам.

— Кто скажет, Нила, что за будущее счастье мы дешево платим?

Арсен увел Заммая, подталкивая его нагагом в спину.

На выстрелы в сад собираются ошеломленные строители и гости. Пришел Бетал со знаменем и накрыл красным полотнищем тело друга.

Река Баксан не знала такой тишины.

И в этой гнетущей тишине, ничего не подозревая, в сад ступила Зайнаф. Она пробиравась сквозь толпу, а где-то рядом ее отец сказал удрученно:

— Не добрыми оказались мы гостями...

— Когда-нибудь и это позабудется. Человек все забывает. Смерть — не родина, забывается, — отозвался другой старик.

Зайнаф слышала и эти странные слова, но, ища глазами Мурата, не придала им значения. И тут она увидела впереди накрытое знаменем тело — и страшная догадка ударила ей в сердце. Зайнаф шагнула к телу и приподняла угол знамени. И, сама того не замечая, опустилась на колени... Нет, это родная земля притянула ее к себе. Но пока еще Зайнаф — вся удивление. На мертвого Мурата и на всех людей вокруг с ее лица взирает лишь удивление.

А люди стояли, опустив головы, и ни у кого не было сил утешить ее или как-то ответить на ее удивление.

Зайнаф не может сейчас ни плакать, ни говорить. Что-то твердое и острое застряло в ее горле и не дает ей дышать.

— Что это?.. Зачем?.. — пересилив себя, спросила Зайнаф, и хотя говорила она тихо — ее услышали все вокруг. — Зачем? — повторила

она и строго посмотрела на людей, сгрудившихся у тела Мурата, на здание электростанции, празднично белеющее за деревьями сада, на серые скалы, стерегущие реку Баксан...

— Мужайтесь, — сказал Берестов, собравшись с духом. — Народ может испытывать и горе и радость. Может изнемогать от кровавых ран своих сыновей и оплакивать их гибель. Но народ, у которого есть такие сыновья... — он поднял на руки окутанное знаменем тело Мурата, — ...такой народ бессмертен.

*ДЕВУШКА
ИЗ АҚ-СЫРТА*

СКАЗКА О СОЛНЕЧНОМ
ЛУЧЕ
И УТРЕННЕЙ РОСЕ

Последние двадцать дней я часто гуляю в больничном ореховом саду вместе с Марзиат. Эта молчаливая девушка с темными спокойными глазами как-то сразу, незаметно для меня, вошла в мою жизнь, — и вот я уже охотно рассказываю ей сказку о Солнечном Луче и Утренней Росе.

Если б мы познакомились с Марзиат где-нибудь в другом месте, я наверняка и не подумал бы рассказывать ей эту сказку — тем более в самом начале нашего знакомства. Но в неказистом больничном халате я чувствую себя не в своей тарелке, все мое остроумие куда-то подевалось, а красивая сказка дает мне возможность привлечь к себе внимание Марзиат. Если б я был министром здравоохранения или хотя бы директором больницы, я велел бы шить изящные больничные халаты — по крайней мере для больных моложе тридцати пяти лет. Но пока я рядовой тридцатилетний журналист, и мне не остается ничего другого, как рассказывать Марзиат сказку о Луче и Росе.

— Надо же, вот здорово, — сказала она, в первый раз услышав о великой любви Луча и Росы — этих двух чистейших детей Солнца и Земли.

Я шагаю рядом с ней по ореховому саду и искоса разглядываю ее. У Марзиат еле заметные веснушки на смуглом лице, тяжелые черные брови, длинные ресницы. Типичная балкарка из Черекского ущелья.

Сказка не только в моих словах, но и вокруг нас. Вот Солнечный Луч тянется меж ореховых ветвей к Утренней Росе. Самого Солнца еще не видно, его где-то остановил сторож, который посвящен в сердечные тайны Луча и искренне хочет ему помочь. Сторож знает: век влюбленных краток, а Солнце лишено чувств. Поэтому он полон сострадания к сыну его — Лучу.

Луч очень боится отца, рассказывала бабушка. Отец не хочет, чтобы сын связал свою судьбу с земным существом, — и Луч бежит от Солнца. Конь его трепещет, мчась над горами, опускаясь сквозь разорванные глухие облака, а когда печальный всадник спешится, достигнув владений Росы, конь прячется в тень облаков.

[С давних времен каждый день Луч приходит на свидание с Росой. И с тех же времен Утренняя Роса, как дочь Утра, выходит на свидание с любимым. Так горяч сын Солнца, так сильна его любовь к Росе, что он не успевает обласкать ее, сказать ей все слова, родившиеся в пути от Солнца к Земле. Он мог бы многое ей сказать, но Роса слишком долго тосковала, слишком долг был его путь к ней, — и она, обессилев от тоски, испаряется в пламени его любви...]

Моя бабушка знала много сказок и легенд, по эту сказку она любила особенно. И рассказывала ее как заклинание, как бы запово переживая свою жизнь.

— Солнце не отпустило своего Луча, а Луч оказался неверным джигитом, — повторяла она. — И с тех пор дрожит Утренняя Роса, стыдясь своей любви. И тут же исчезает, как

только появится Солнце... — Бабушка подолго умолкала.

Когда Солнечный Луч уносится дальше на своем коне, а весь мир вокруг оживает для нового дня, никто уже не может увидеть Росу. Ореховый сад и густая мягкая трава, овеянные горячим дыханием уже не Луча, а старика Солнца, выглядят пустыми, лишенными одухотворенности и таинства сказки. Можно уходить, ничего в саду теперь нет, кроме скучной пустоты и густых ореховых теней.

И я говорю Марзиат:

— Поидемте.

А она не отвечает — поглощенная то ли моей сказкой, то ли давней своей болью, которую я порой угадываю в ней, хотя и не знаю, что вызывает эту боль.

Иногда Луч не приходил к Росе. Тогда дни становились пасмурными: над ореховым садом повисали нервные бесплодные обломки дождевых туч. Молодой родниковый запах густой травы жался к земле, не в силах подняться к ореховым деревьям и лишая сад светлой радости. Воздух делался тяжелым и бесцветным, как болотная вода. Тогда сад терял всю свою привлекательность, становился похожим на скупой дом, где не любят кунаков.

В такие дни я не приглашал Марзиат на прогулку, а сидел в больничной палате и читал. Но и читая, я думал о Росе. Мне казалось, я слышу тихий ее плач, ее смятение и тоску. Я чувствовал себя виноватым. Мне было больно и совестно оттого, что Роса, чистая и искренняя от природы, верная и неприкаянная в любви, брошена на произвол холодного степного ветра, ворвавшегося в час ее незащищенности. И имен-

но в такие дни пропадал Луч, — пропадал как раз тогда, когда Роса нуждалась в крепком мужском заступничестве. Надо ли говорить, что Роса в этих моих размышлениях-догадках была похожа на Марзиат?

Я закрывал книгу, подходил к окну и видел, как колыхается в саду трава, гонимая ветром. Если б не орехи на деревьях, если б не большие добрые листья, ветер совсем бы согнул траву. Они защищали траву, зная, что в траве спрятана великая любовь Росы: ее светлая застенчивость и надежда.

Когда я поделился с Марзиат своей тревогой о Росе, она улыбнулась и, кажется, подивилась моей наивности, тому, что я всерьез верю в свою сказку. Но тут же лицо ее погрузнело, словно она вспомнила что-то тяжелое и неприятное. Я вопросительно заглянул в ее глаза. Она поспешно отвернулась и зашагала по аллее, вертя в руке сухолистую ореховую ветку. Я шел, чуть приотстав, и думал, что у девушки своя утрата и эта утрата холодным ветром обдувает ее сердце. Ведь на свете много Солнечных Лучей, которые обжигают, но ничего не хотят знать об ответственности за нанесенные ими раны. И эта рана, и ответственность, и тоска по крепкому мужскому заступничеству остаются у тех, кто, подобно Утренней Росе из сказки, идет, теряя голову, сквозь людские осуждающие взгляды и толки навстречу своим Лучам... Но вот грянет ненастье, а твоего Луча нет!

— Трогательная история, — сказала наконец Марзиат. Я так и не понял: смеется она надо мной или моя фантазия на самом деле вызвала в ней интерес. — Только Роса у вас такая сла-

бенькая. Не может полюбить Луч такую слабую.

— Какая она слабая?! — запротестовал я. Наоборот, я восхищался ее силой, ее достоинством. Мне казалось: только сильная, уверенная в своей правоте Роса могла отстоять свою любовь, не расплескать ее и не потерять своего достоинства.

— Я знаю: многие считают, что покорность — верный путь к женскому счастью, — насмешливо сказала Марзиат.

— Покорность — и счастье? Вы испытываете меня!

— Верно, — согласилась она, — но не в этом дело. Пусть женщины расплескивают свою любовь, пусть теряют все свои достоинства, лишь бы оставались слабыми! Современные Лучи так хотят этого в глубине своих модернизированных душ! И для горца что может быть лучше покорной жены? — Марзиат тихо засмеялась: она была еще не совсем здорова и смеялась осторожно. — И ваш Солнечный Луч тоже никогда не признает равенства.

— Когда любят, об этом не думают, — перебил я ее.

— В любви чаще бескорытна женщина. А вы на чьей стороне?

— Я на стороне верности.

— Да, конечно, вы за верность. Как же иначе, вы — горец. Но забудьте на минуту, что вы горец. Посмотрите на себя со стороны, и поймете, что вы такой же, как ваш Луч. Вы все не любите нашей независимости, а мы хотим быть самостоятельными. Вот вся наша вина и наша беда. Вы журналист, а задумывались ли когда-нибудь над таким фактом: из четырех разве-

денных балкарок — три с высшим образованием, отчего бы это? Вы прославляете в своих статьях и очерках образованных женщин, но почему же ученье — свет — обрывает их на одиночество?

Марзиат говорила с жаром и болью, позабыв о своей слабости. Я мог бы многое ей возразить: например, сказать, что далеко не всегда семейная или любовная драма вызвана стремлением к самостоятельности и образованию, а гораздо чаще все зависит от сочетания характеров мужчины и женщины. Я знавал таких ученых балкарок, которые, кое-как научившись читать и писать, а более овладев искусством косметики, козыряют им перед своими неучеными мужьями. Но я не захотел ничего доказывать: по существу, это не опровергало бы, а лишь подтверждало мысли Марзиат. Я верил: и у меня и у нее одна боль, одно желание. И боль и желания эти порождены нашим временем и связаны с судьбой нашего поколения.

— Мой современник — горец, — продолжала Марзиат, — прекрасно понимает, что для счастья и любви у него нет неодолимых препятствий. Солнце не может теперь помешать Лучу любить свою Росу. Но ведь сняты лишь социальные преграды, а нравственные остались. Помните случай в автобусе? Какой джигит мог себе позволить сто лет назад такое неуважение к женщине?

Так моя сказка о Солпечном Луче и Утренней Росе обернулась горячим спором о жизни и нас самих. Мне виделось особое значение в том, что пути наши с Марзиат пересеклись впервые. Однажды я случайно встретился с ней

в автобусе на горной дороге. Позже, не узнав ее, но уже не случайно, я брал у нее интервью. А теперь вот она оказалась вместе со мной в одной больнице. Третий раз — наверняка, говорят балкарцы.

После этой встречи, к удивлению врачей, мое здоровье быстро пошло на поправку. Моя жизнь, моя работа, и вообще все мое существование в этом мире обрели новый смысл. И я благодарю случай, пославший Марзиат болезнь именно в этом месяце, благодарю свою звезду, Утреннюю Росу и Солнечный Луч, свет которых вел меня к ней.

2

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРЫМ ТРОПИНКАМ

В больнице я лежал уже несколько недель. По мнению врачей, я жил неправильно: работал на износ, забывал, что у меня больное сердце, что соперничать со стенокардией — сумасшествие. И поскольку я всего этого не понимал, они решили создать для меня абсолютно спокойную обстановку и заставили лечь в больницу. Однако это «абсолютное спокойствие» сделало меня еще более нездоровым. Больница угнетала меня, я нервничал. И болезнь не только не ослабевала, а с каждым днем усиливалась. Врачи не жалели для меня упреков и лекарств. Но на упреки я отвечал упреками, а лекарства большей частью доставались воробьям.

Когда меня навещали друзья, я забывал о болезни. Палата превращалась в один из кабинетов редакции и даже переставала пахнуть

лекарствами. И сестрички казались корректорами, машинистками, кариатидами — кем угодно, но только не медичками, которые так надоели мне. Было чудесно оттого, что мы говорили о газете, о гранках, о поездках и поиске материала. Мы даже начинали спорить, что тут же пресекалось нянькой тетей Настей, которая осуждающе стучала шваброй.

Но подходил срок, моих друзей вежливо выпроваживали, и я вновь оставался наедине со своей болезнью. Палата вновь начинала пахнуть лекарствами, сестрички снимали маски корректоров и превращались снова в медичек, умеющих колоть словами лучше, чем шприцами.

Врачи разуверились в моем скором выздоровлении. И, как водится, винили во всем мою болезнь и не свою маломощную медицину, а меня. Тайком они уведомили моих родственников, что я и в больнице веду себя неправильно. И родственники насели на меня. А потом я услышал, что врачи решили отправить меня куда-нибудь подальше от нашей редакции — для дальнейшего серьезного лечения.

Весть эта не обрадовала меня. К тому времени мне уже осточертело все это лечение. Я хотел окунуться в горную свежесть, хотел распластаться на зеленой траве и дышать чистым воздухом наших гор. Лучшего лечения мне и не надо было...

Вот в один из таких дней и привезли эту девушку в нашу больницу. Она была, кажется, без сознания или у нее была высокая температура, — не знаю. Но по тому, как забегали сестры, — можно было сразу догадаться, что в больницу поступила тяжелобольная. И других

больных взволновала судьба девушки. Многие толпились в коридоре и спрашивали друг у друга, что с ней.

Я открыл тогда для себя, что больных по-особому беспокоит состояние других больных. На какое-то время они даже забывают о себе и успокаиваются лишь тогда, когда узнают, что опасность для другого больного миновала. И я тоже как-то незаметно для себя позабыл о своей болезни и стал думать о девушке. Позже мне казалось, что в тот вечер какая-то неведомая медицине сила высосала боль, мучающую мое сердце.

Почему вдруг эта незнакомая девушка, которую почти никто не видел, так заняла нас, больных? Почему у меня вдруг появилось желание заглянуть ей в глаза, спросить, что ее беспокоит и не нужно ли ей чего? Провести мокрым платком по высохшим от сильного жара губам... В каком-то странном предчувствии я ожидал скорейшего прихода завтрашнего дня. Мне просто некогда стало болеть самому — и болезнь моя отступила. Наверно, и помимо лекарств есть средства, которые одолевают наши недуги.

Утром меня посетил врач. Он обрадовался перемене во мне и сказал удовлетворенно, что дела наши идут хорошо и с нынешнего дня он назначает новую серию лекарств. Когда он ушел, я постарался поточней представить все события вчерашнего дня. Но они были так туманны и непоследовательны, что казались мне сном, и я никак не мог собрать их вместе. Образ больной девушки блуждал вдали, исчезая и появляясь вновь. А приблизиться к ней и взглядеться у меня не было сил. Я видел ее и не ви-

дел — и она обижалась, хмурила брови, а потом, уходя, смеялась...

У меня было трудное детство. Отец не вернулся с фронта, мать погибла в гестапо. Она была коммунисткой, до войны работала директором школы. Когда немцы ворвались в город, она ушла в партизаны. А потом как-то случайно попала в руки фашистов. Ее пытали, но она никого не выдала. Меня и мою маленькую сестренку спасли ее товарищи по подполью. Мы выжили, хотя сплона познали сиротскую долю. Сестра моя вышла замуж и стала хорошим врачом. Я мечтал об археологии, а получился из меня журналист...

Вечером, когда людей в коридоре поубавилось, я пошел в палату, где лежала девушка. Стоя у открытых дверей, я смутился и неловко спросил у сестры:

— Что с ней?

— Тоска! — сказала сестра грубо и ушла.

Вообще-то к грубостям медицинских сестер в нашем отделении я уже привык. Но эта грубость, словно током, ударила меня. Молоденькая, стройная, может быть даже красивая, эта медичка показалась вдруг мне старой каргой. Было обидно и горько оттого, что ударить ее рука не поднимется, а словом такую не проймешь.

Девушка лежала в палате одна. Я вошел и, не отрывая глаз от ее сомкнутых век, тихо сел на стул возле кровати. И опять повторилась утраченная картина. Вновь издали, как бы из-за горизонта, шел ко мне знакомый и незнакомый образ. Невольно робея, но все же на что-то надеясь, я пристально всмотрелся в нее, словно сверяя тот образ с нею.

Кто эта девушка? Почему никто из родных не приехал с ней? Меня, рано потерявшего своих близких, испытавшего вкус чужого хлеба, это особенно волновало.

Как бы просыпаясь от сладкого сна, она с трудом открыла глаза. Сначала глаза ее были пусты, как у поворожденной, потом она скользнула взглядом по потолку, сосредоточилась в безмолвии, пытаясь узнать, куда она попала. С трудом повернула голову в мою сторону и спросила шепотом:

— Кто вы?

Я сказал: сосед по отделению, пришел проведать ее. Назвал свое имя.

Уголки ее губ дрогнули в полуулыбке. И тут же она снова закрыла глаза и забылась. Мне показалось на миг, что она ожидала увидеть на моем месте другого. Я почувствовал вдруг себя самозванцем, пытающимся вторгнуться в чужую жизнь, — встал и на цыпочках вышел из палаты.

Но, вернувшись к себе, я опять не смог уснуть. Лицо девушки было мне знакомо. На каком из журналистских своих путей встречался я с пей? В Уштулу или в Сукан-Су? На ферме или на свадьбе? Много я путешествовал по нашим горам, иной раз ездил просто так, посмотреть на древние аулы, — насладиться мужеством своих предков. Или услышать старинные песни у чабанского костра. Со многими людьми встречался я — и каждый раз свет этих встреч освещал мою дорогу.

В нашей палате, кроме меня, еще двое. Один из них — верхнебалкарец, кандидат математических наук. У него с давлением что-то не в порядке. Другой — директор ресторана Сауба-

ров, у него одышка. Странный это был человек — добрый, не по летам наивный, легкоранимый и очень чувствительный к чужому горю. Среди директоров ресторанов я еще не встречал таких людей. Директором он стал, очевидно, случайно, а по природе своей был пахарем, сеятелем. И меня он хорошо понимал. Что касается кандидата — то это был человек нелюдимый, неразговорчивый. Он не умел думать о других. И то ли для того, чтобы казаться солидней, то ли на самом деле характер у него был такой, — он никого не подпускал к себе близко.

Было уже за полночь. Тучный Саубаров храпел. Кандидат наук спал, словно прислушивался, затаив дыхание. Я включил ночной светильник, достал старую записную книжку и принялся искать на пожелтевших ее страницах имя этой девушки. Нелегко было разобраться в старых своих записях: время отодвинуло их от меня. Но дорожная тетрадь журналиста похожа на шифр разведчика. И за каждым расшифрованным словом таится целый рассказ. Я наткнулся на запись: «Случай в пути из Верхней Балкарии»...

В автобусе было много пассажиров. Мужчины — в основном молодые люди — сидели и весело болтали. Оттого, что обычай почитания мужчин был освящен веками, оттого, что в автобусе было тесно, — Верхняя Балкария самое крупное селение в республике, и у верхнебалкарцев больше всего дел в городе, и оттого, что дорога была ухабистая, — женщины, мучаясь от тряски, ехали стоя. Каким-то чудом среди сидящих оказалась лишь одна девушка. Она заметила, что я — чужой и городской человек — еду стоя, и встала, уступая мне место.

— Вы — мужчина, садитесь...

Сначала мне показалось, что девушка испытывает меня. Потом я понял, что она предлагает место от души. Я осторожно взял ее за плечо, усадил на место и поблагодарил.

— Не огорчайтесь, — шепнул я. — Когда древний житель гор придумывал обычаи для потомков, он не учел автотранспорт.

— А ему и не надо было ничего учитывать, — возразила она чуть-чуть насмешливо. — Почитание не может зависеть от чего-нибудь. Если считаешь — то считаешь в любых обстоятельствах.

Она уселась поудобнее и больше не стала доказывать свою правоту.

Да, конечно, в любых обстоятельствах... Иначе почитание смешалось бы с лицемерием. И если прав был просветитель гор, если в душе горца сидел основательно и верно очерченный облик хорошего человека, которому он поклонялся, — то где он теперь? Не оттого ли он померк, что культ воспитания ныне в горах заменен культом образования?

«От отцов осталось много хороших обычаев, — думал я. — Но среди них и такие, которые мешают нам, унижают человеческое достоинство. Раньше в присутствии мужчины — женщине сидеть и разговаривать считалось непристойным. И не только это. Рядом с мужчинами им не разрешалось греться у очага. А показаться на улице вместе с мужем было непочтанием бороды стариков...»

Кто-то кому-то в автобусе наступил на ногу.

— Чтоб отсохла твоя нога! — выпалила богатая женщина: рот полон золота, на толстых, вспотевших в жаре пальцах крупные кольца с

камнями. Похоже, едет на базар — корзина битком набита курами. И уж молчать такую не заставишь!

Автобус вышел на ровную дорогу и поехал.

— Вот ты, парень, рядом сидящий, — обратился я к молодому человеку, который сидел рядом с девушкой.

Он нехотя поднял голову и посмотрел на меня отсутствующим взглядом. Очевидно, он думал, что я начну сейчас отчитывать его за то, что он не уступает места мне, старшему, и приготовился отразить удар. Девушка насмешливо покосилась на меня — и я спросил:

— Какой час?

Парень неожиданно смутился, вскочил и, не говоря ни слова, ринулся к выходу.

Оживленный разговор в автобусе затих. Мне показалось, все вдруг стали думать о времени, о том, сколько мы едем и сколько еще осталось ехать. Или же о том, какая это все-таки опасная дорога — по ущелью вниз: стоит шоферу отвлечься на секунду — и автобус полетит в пропасть. В изгибах скал, где машина еле помещалась на дороге, шофер поминутно сигнализировал, предупреждая встречные машины. И пассажиры тогда словно вдруг узнавали друг друга, становились родными, и им было стыдно оттого, что еще недавно они обижали один другого.

Но ничего не случилось, — автобус благополучно миновал ущелье. Стоявшие не умерли, сидевшие не заболели — у всех на душе было хорошо и светло. Автобус остановился в районном центре. Все сошли, разбрелись по своим делам. И девушка сошла, исчезла в толпе. В усталом и опустевшем автобусе остался я один. В тот раз я ехал дальше.

Ни имени, ни фамилии девушки, ни места ее работы в записной книжке не было...

Под утро я вышел в больничный коридор, распахнул окно, стал дышать свежим воздухом. Была осень. Деревья в утренней, отдохнувшей тишине ждали солнца. Безустанно пели сверчки, сухо шелестели ореховые деревья, издали слышался шум горной речушки. Просыпались и улицы города. Из соседнего квартала доносилась веселая танцевальная музыка. «Кто-то справляет день своего рождения или идет свадьба», — подумал я. И мне стало хорошо оттого, что ночные звезды уступают место солнцу, и есть танцевальная музыка, и так щедро дарит свежесть всему миру утренняя прохлада. Мои думы о старых обычаях и о девушке рассеялись в предрассветной суете.

3

ВОСПОМИНАНИЯ О МАТЕРИ

Прошло несколько дней. Однажды после обхода врача я и спросил разрешения у сестры и отправился проведать мою знакомую пезнакомку.

— Да будет день ваш хорош, — поздоровался я.

— А, это вы? Заходите.

Она протянула мне руку.

— Как чувствуете себя?

— Кажется, лучше. Утром целый стакан чая выпила. А когда мельница мелет — значит, все нормально! — пошутила она.

— Простите меня. Может, это нескромно с моей стороны, я... Я забыл ваше имя.

— А разве вы знали мое имя? — удивилась она.

— Кто не знает имя красивой девушки?

— Много имен придется помнить тогда, — пожалела она меня. — А я вас помню, вы газетчик.

— Плохой газетчик.

— Не скромничайте. Некоторые ваши статьи мне нравились.

Я спросил поспешно, чтобы она не догадалась, как порадовала меня ее похвала:

— И все же, как вас зовут?

— Марзиат.

— Марзиат? У вас чисто горское имя...

Ничего другого я не нашелся тогда сказать, и мне стало неловко за свое косноязычие. Но Марзиат, кажется, не заметила моей оплошности.

— А женщина, которая дала мне это имя, была настоящей горянкой. Если б она была жива...

— Мать? — осторожно спросил я, боясь вспугнуть ее доверие ко мне.

Марзиат не ответила. На длинных ее ресницах задрожали слезы. Но они не пролились, а стояли в ресницах, как твердые стекляшки, как росинки в лепестках.

— А я даже не помню своей матери, — проговорил я: мне тогда казалось, что эти мои слова должны хоть отчасти утешить Марзиат.

Она пристально посмотрела на меня и сказала так, будто подумала вслух:

— Дважды она ложилась в больницу, но лечиться не хотела. Не придавала значения своей болезни... Все трудилась, заботилась о нас — о

brate и обо мне. «В жизни нет места ожидания, она коротка, как взрыв молнии в наших ущельях, — говорила она. — Надо больше взять у нее для детей — поэтому некогда мне лежать в больнице...»

Я был благодарен Марзиат за то, что она так искренне и доверчиво, словно брату, рассказала мне о своем горе. Мне захотелось самому испытать ее горе, в самом себе нести такую же боль. Рассказ ее разбудил во мне давно забытое, неосознанное чувство, похожее на тоску по материнской ласке. Я невольно вспомнил свою мать, замученную в застенках гестапо. Как ее хоронили, кто по ней плакал и плакали ли вообще — я не знал. Я пытался выстроить в душе образ матери по фотографии, по рассказам родственников, по своим туманным детским воспоминаниям, но это плохо мне удавалось.

Все то, что с уходом из жизни дорогого ей человека почувствовала Марзиат, чем стала для нее смерть матери, — эти уроки памяти не были мне преподаны. Я даже позавидовал ей сейчас. Слушая ее, я открыл для себя, что лишь смерть возвращает к тебе родного и близкого человека во всей его неповторимости и невосполнимости, что со смертью родного и близкого человека в полной мере начинают действовать его уроки. Его слова и поступки оживают, приобретают реальную силу, становятся для тебя завещанием. Марзиат была по-своему счастлива, что владела таким завещанием. А мне была завещана лишь гибель моей матери. Для сына это слишком мало...

— Марзиат, — сказал я, стремясь утешить ее, — нет на свете таких людей, кто не изведал бы горя. Но человек, в каком бы безвыходном

положения он был, не остается без надежды. Твое будущее, о котором так заботилась твоя мать, впереди.

Я хотел теплотой голоса восполнить сухость казенных этих слов, но кажется, не достиг своей цели. Марзиат лишь вздохнула, и я так и не понял: слышала она меня или нет. Мне показалось: она начинает уже жалеть, что так разоткровенничалась с незнакомым человеком. Больше в этот день она мне ничего не рассказала. Мы стали встречаться. Первые дни я приходил к Марзиат в палату, потом мы виделись в коридоре, а позже, когда дело у нее пошло на поправку, — в больничном саду. Мы разговаривали о многом: иной раз просто болтали, но чаще обсуждали насущные стороны нашей жизни. Мне нравилась независимость ее суждений — это не так уж часто встречается у горянок, которые что-то не очень спешат воспользоваться всеми плодами дарованной им эмансипации.

Марзиат иногда была словоохотлива, как человек, который долго молчал и теперь спешит высказаться, а то вдруг замыкалась в себе — и тогда из нее нельзя было слова вытянуть. Мне все чаще чудилось: что-то занимает ее мысли и тревожит — какой-то злой отголосок недавней ее беды.

Меня радовала начитанность Марзиат, которая невольно проскальзывала в разговоре, даже в строе фраз. Я слушал ее, а сам ломал себе голову: кто она, где и кем работает? В нашей редакции я был известен тем, что мог по внешнему виду человека или поговорив с ним две минуты безошибочно определить, кто он, много ли учился и какая у него профессия. А тут было мое умение постыдно буксовало и ничего не

подсказывало мне. Судя по ее речи, она могла быть учительницей, заведующей клубом, библиотекаршей. Сразу я постеснялся спросить, где она работает, а теперь было уже неловко спрашивать.

Но было в Марзиат и что-то такое, что никак не укладывалось ни в одну из предполагаемых мною профессий. Порой чувствовалось, что ей знаком и тяжелый физический труд. Я ждал, когда она сама проговорится, но Марзиат тщательно избегала в разговоре всего, что касалось ее жизни. В конце концов я решил, что после смерти матери ей пришлось какое-то время поработать в колхозе, а потом она училась и, наверное, кончила техникум или какие-то краткосрочные курсы. Меня этот вариант вполне устраивал: мой университет рядом с ее предполагаемым техникумом создавал тот самый перепад культурных высот, который льстил моему самолюбию мужчины и укреплял мои позиции.

Я убеждал себя, что интерес у меня к Марзиат чисто профессиональный: наш брат журналист всегда ищет нестандартных людей, у которых свои взгляды на жизнь. Но в глубине души я и тогда уже распрекрасно знал, что обманываю себя: взгляды взглядами, а Марзиат все больше нравилась мне сама по себе.

Мой повышенный интерес к Марзиат не остался тайной для моих соседей по палате. Директор ресторана одобрил мой выбор, а кандидат наук сказал, что в романе, зародившемся в больнице, есть что-то противоестественное и такой роман никогда не может кончиться счастливо. Недаром, видно, я с самого начала ожидал от него какой-то пакости...

Охотней всего Марзиат рассказывала о своей матери:

— Мать у меня была необразованная. О многом из того, что знаю я теперь, она и понятия не имела. Иногда мне кажется: она как бы прожила жизнь с закрытыми глазами, так и не успела открыть их... Когда мой старший брат Мухаммат сделал первые шаги, родилась я. В тот год отца взяли на фронт, и он не вернулся. Мы с братом не успели узнать его, даже не запомнили черты его лица. Он исчез, как исчезают путники за перевалом. Мы, его дети, не плакали по нем, не просили, чтобы он поскорей вернулся. Малолетние сироты плачут повзрослев...

Мать прожила с отцом только три года и стала вдовой. Ей приходилось очень трудно, мы никогда не видели ее отдыхающей, всегда она была чем-то занята. Мы пытались ей помочь, но она хотела везде успеть сама. Она не плакала, в ее глубоко запавших глазах я никогда не видела слез. И нам она запрещала плакать. Наедине она любила сидеть за нашим большим столом, наматывала старую тряпку на пальцы, а затем разматывала ее. Я не понимала, о чем она думает в такие минуты. Лицо ее становилось спокойным, ясным. Только глаза выдавали то, что творилось у нее на душе. Горе было слишком тяжелым для нее, чтобы плакать.

Мой брат Мухаммат проучился только до восьмого класса. Чтобы как-то помочь матери, облегчить ее участь, пошел работать в колхоз. Тогда ему было всего пятнадцать лет. Недаром говорят: «У бедняка теленок заменяет вола». Вечером он приходил домой, еле волоча ноги, но старался не показать своей усталости. Держался как взрослый мужчина, говорил

бодрые, правильные слова, и маме от этого стало лучше.

Сперва мы даже не знали, где работает Мухаммат. Оказывается, он устроился в тракторную бригаду и возил на арбе воду. Потом его поставили помощником тракториста. Я помню, как радовалась мама, любовалась своим мальчиком, обнимала его, приговаривая: «Мой тракторист, мой тракторист...» Как бы то ни было, но после того как мой брат стал работать, мы почувствовали себя уверенней, и в доме сразу сделалось уютней, даже теплее, словно неожиданно вернулся отец. А потом брат женился. Теперь у меня есть племянничек Эльдар и племянница Амалия. Эти имена дала им я сама.

Мать наша была умной женщиной. Ее материнское тепло живо во мне и сейчас. Чему только она не учила нас, особенно меня. Она хотела, чтобы я увидела решительно все: в школе меня учили читать и писать, а мать дома — и вязать, и стирать, и готовить. «Мы остались темными, — говорила она. — Вот и брата твоего не смогла как следует выучить. Ты восполни этот пробел — за всю нашу семью. Учись — иначе ты не сумеешь осуществить мечты отца. А он мечтал о многом. Хотел видеть своих детей большими людьми, образованными...»

Марзиат умолкла. Я думал о своей матери. Благодарности к ней не было, как у Марзиат к своей матери, была лишь тоска по ней. Своими отцами мы были равны с Марзиат. И у нас не было благодарности к отцу, была лишь тоска по нему.

И я почувствовал себя виноватым перед памятью родителей.

А Марзиат, как бы самой себе, тихо сказала:
— Моя судьба так тревожила маму, словно я на всю жизнь останусь маленькой...

— А разве не так? — спросил я. — Маленькая и есть.

Я думал о том, что незаметно она вошла в мою жизнь, и теперь, чем бы у нас все ни кончилось, мне уже никогда ее не забыть. Было такое непривычное ощущение, будто все последние дни я шел по самому гребню скалы. Я не знал, отчего так: от неуверенности в ее ответном чувстве ко мне или от страха, что Марзиат вдруг окажется чьей-нибудь невестой?

И с каждым днем мое влечение к ней усиливалось. Я постоянно хотел видеть ее, ведь она была искренней со мной. Но что такое искренность и дружелюбие горянки? Одно неверное слово, один неверный мой жест — и пиши пропало.

Как-то я спросил ее, где сейчас живет Мухаммат.

— Работает шофером в ауле.

— А как его жена к вам относится?

— С братом она ладит, а это главное... — уклончиво ответила Марзиат. — Они живут в согласии. Мама хотя и не создала нам счастливую жизнь, но научила понимать ее и бороться за нее.

— С такими детьми она и сама была счастливой, — убежденно сказал я.

— Нет, она не была счастливой. Разве женщина, которая так рано потеряла любимого мужа и не дожидая до полного счастья своих детей, может быть вполне счастливой?

— Это называется счастьем трудной жизни.

— Так говорят, чтобы утешить тех, кто не

изведал настоящего счастья, — не уступала Марзиат.

— Просто вам тяжело сейчас. Такие трудные воспоминания...

— Нет. Чем больше я говорю о своей матери — тем легче мне становится. Как бы провернешь себя.

В другой раз она рассказала мне:

— Мама болела всего одну неделю. Я поехала в город за лекарствами и отстала от автобуса, тот ходил в наш аул только раз в день. Кинулась искать машину, но машин не было. И тогда я пошла пешком. А на полпути меня догнали конные подводы. Лишь под утро я вернулась домой. А через два часа мама умерла, и если б я дождалась в городе автобуса — то не застала бы ее в живых. К матери всегда надо возвращаться вовремя...

— Скоро вы поправитесь, — пообещал я, — и все у вас будет хорошо. А возвращаться вовремя надо не только к матерям.

— Но материнский свет — самый верный свет, — возразила она.

В эту минуту я понял: не может быть горя одного человека. Горе — всеобщее явление, и оно переходит от одного человека к другому. Любое горе трогает сердца, сближает их и становится бедой для всех. Когда я потерял свою мать, рассуждал я, число осиротевших увеличилось. Для меня в то утро не взошло солнце. А сколько было таких, как я, в мире? Разве в то утро думала Марзиат, что горе, которое охладило мой очаг, войдет так неожиданно и в ее дом?

— Горе не должно ломать людей, — твердо сказал я. — Вот вас не может оно сломить.

Марзиат кивнула головой, соглашаясь: не должно горе ломать людей.

— До восьмого класса мама даже не пускала меня по воду, — вспомнила она. — Говорила: «Расти, набирайся сил, потом все заботы оставлю тебе. Тогда я сама не позволю тебе бездельничать и лениться. Если увидишь старую женщину с коромыслом на плечах и не снимешь эту тяжесть с ее плеч — значит, забыла свою мать. Опозоришься один раз — всего твоего века не хватит, чтобы смыть этот позор...» Она посадила много деревьев, но так и не увидела, как они цветут...

Мы расстаемся в коридоре больницы: Марзиат идет в свою палату, а я в свою. Я слышу ее шаги за своей спиной и хочу еще раз обернуться, еще раз о чем-нибудь спросить. Все равно о чем, лишь бы услышать ее голос. Тихой музыкой звучит ее рассказ в моих ушах. Сильно же любила она свою мать, если до сих пор так горюет о ней. Как будто никакой другой боли в мире нет... И, перебирая свои думы, я снова, теперь уже не у равнодушной медсестры, а у себя самого настойчиво спрашиваю: «Так что же с ней? Неужели одна лишь незаживающая боль воспоминаний об умершей матери привела ее сюда?»

4

РАДОСТИ И ОГОРЧЕНИЯ

— Не привыкла я утруждать даже близких мне людей, — сказала Марзиат на следующий день, когда, проводив пришедших навестить ее посетителей, вышла в сад. — А тут попала в

большинцу в самый разгар работы. Доить двадцать чужих коров нелегко.

— Разве вы работаете на ферме?

Я изо всех сил постарался скрыть свое удивление, но у меня не получилось, и Марзиат это заметила.

— А чем не доярка с такими руками? — Она засмеялась.

— Очень даже красивые руки. И... ничуть не похожи вы на доярку. Разыгрываете вы меня!

— Третий год я дою коров, — сказала она серьезно. — И фамилия моя должна быть вам известна... из газет. — Она помолчала, как бы давая мне возможность кое-что вспомнить. — Одно время газеты часто писали о доярках нашего колхоза. Я участвовала в совещании передовиков сельского хозяйства в Ростове и... видела вас там. Помнится, про это совещание у вас и статья была. И, кажется, вы собирались еще что-то написать...

Стыд ожег мне лицо. Разом припомнилось все: я взял тогда у нее интервью и пообещал, вернувшись домой, написать о ней очерк. А потом начисто позабыл об этой своей задумке. Знаете, как это бывает: сразу не сделаешь, а потом мешает то одно, то другое, и интерес твой остывает.

Пряча от нее глаза, я вспомнил: на совещании в Ростове в голосе Марзиат была сердечная теплота, горячая заинтересованность во всем том, что ее там окружало. О самых мелких вещах она говорила тогда так, будто все это было очень важно. Так ведут себя люди, когда любят. И любят не только свою работу. А теперь все это у нее куда-то улетучилось...

— Марзиат, — покаялся я, — вы можете что угодно думать обо мне. Но, честное слово, я тогда на самом деле собирался писать о вас...

— А на что мне обижаться? Просто вас увлекли проблемы более значительные.

— Не надо так! — запротестовал я. — Значит, вы из Ак-Сырта?

— Мой дом — ферма. Одна отсталая ферма в Ак-Сырте.

— В последние годы, а до этого?

— Школа, потом... Тимирязевка.

— Тимирязевка? — снова удивился я.

— Там я училась один год.

— А затем?

— А затем пришла на ферму.

— Никак не могу понять... — Мне показалось: она меня дурачит и смеется надо мной.

— Нет, меня не исключили за неуспеваемость!

— Я так не думаю.

— Верю. Просто... ферме я была нужнее. — И она посмотрела на меня в упор.

— Глупость! — выпалил я. — Кто в наше время может всерьез так говорить? Практика никогда не заменит науку.

— Но ведь вы, журналисты, любите, когда так говорят — броско, хоть сейчас в заголовок статьи или на плакат. К нам на ферму приезжали корреспонденты, которые писали не о нас, а о наших плакатах!

— Есть и такие. Но ведь речь не о них же.

— А я убеждена: как раз об этом и надо вести речь сегодня. Пока всякая фальшь не уйдет из нашей жизни, мы всерьез не сможем говорить ни о чем. Так и будем кощунствовать над светлыми чувствами наших людей. Я буду кра-

сиво врать, вроде того: счастлива тем, что доярка, а вы — хвалить меня за это. Вы еще скажете прищательные слова, описывая мозоли на моих руках, будете всерьез убеждать миллионы девушек, что это очень хорошо и приближает наше светлое будущее. Вы сфотографируете меня возле коровы и на этот торжественный случай заставите надеть белый халат и улыбаться. А рядом будут ржаветь обломки механизмов для машинного доения, купленных за дорогую цену и привезенных в горы лишь для того, чтобы валяться под нашими ногами и чтобы мы — передовые и прославленные доярки — спотыкались о них и проклинали, — проклинали и плакали! Вы будете снимать меня, передовую доярку, на фоне всех этих ржавых железяк, на зависть подругам, для примера тысячам других доярок и уедете с чувством исполненного долга.

Марзиат помолчала, перевела дыхание и, успокоившись, закончила:

— Почему вы поете славу мозолистым рукам? Следовало бы, видя в наши дни мозоли на руках, кричать и позорить... как ее там, НТР, ругать ее за нерасторопность, медлительность, а тех, кто тормозит ее свершения, призывать к ответу. А вместо этого вы все пишете о счастливых доярках, а когда здороваетесь с ними — приходите в ужас оттого, что руки у них деревянные, а лица обожжены ветром... Да что журналисты! И поэты так же пишут. Вот я недавно прочитала такие стихи: парень любит всех коров на свете, потому что его возлюбленная — доярка...

Что я мог ей возразить? Что она не права? Не знает жизни? Что в ней говорит озлобление?

Нет, я мог только согласиться с ней, по-братски порадоваться за нее, за ее боль и протест. Ибо как раз эти боль и протест делали ее сильной и правдивой.

— Фальшь отпадает, — сказал я.

Сказал лишь для того, чтобы не молчать. И еще — я боялся впасть в назидание. А не сказать и этого — было бы лучше. Ведь Марзиат и сама верила, что фальши придет конец, и говорила о ней не с позиции постороннего человека, которому на все наплевать. Я догадался, что она ненавидит эту фальшь всюду, где лишь встречала ее — в людях и в их делах, так как все мы, и наши дела, и все то, о чем мы говорим, о чем думаем, — волновало ее, было крепко связано с ее жизнью, как слова ее матери, как тропинки детства, как первая ее любовь...

И я повторил еще раз:

— Фальшь отпадает! — чтобы показать свою солидарность с Марзиат, дать понять, что она не одна так думает. Думающих так много — и, значит, фальши нечего делать в нашей жизни, и ей не остается ничего другого, как провалиться ко всем чертам...

* * *

Вскоре меня выписали из больницы. Вернувшись в редакцию, я решил отыскать, что же мы писали о Марзиат. Газетные полосы рассказывали о передовых людях сельского хозяйства щедро. Здесь же можно было найти и портреты многих девушек. Но Марзиат среди них не было.

Когда тяжесть подшивки перешла с правой

стороны на левую, Марзиат вдруг улыбнулась мне с газетной полосы, будто выбежала из-за угла. В первый миг мне даже показалось, что в редакцию зашла сама Марзиат. Она стояла во весь рост, улыбаясь устремленными вдаль глазами. Изображение вышло очень четким — удивительно удачное клише! Назывался очерк «Становление». А вот и фамилия автора — Эльмурза Бертаев.

И я сразу понял, почему Марзиат не очень-то жалуется нашего брата газетчика. А вся моя радость от встречи с Марзиат сменилась чувством обиды. Бертаев был весьма посредственным журналистом, собственно, он и не был им вовсе, а за долгую работу ночным корректором его выдвинули в литсотрудники. Он был жадным и завистливым человеком. И если писал — то лишь потому, что и другие писали. А писал он высокопарно, пусто, словно месил тесто из трухи, сдабривая свое месиво плоским стандартным юмором — вместо соли сыпал песок. И на летучках наших он выступал так же громко и пусто, как писал, нападая на корректоров и машинисток. Мне всегда было неловко, когда этот уже немолодой человек, вместо того чтобы хоть что-то постичь в нелегком журналистском искусстве, — занимался демагогией, искал, как говорят у нас, волосинки в яйце. При всем том Бертаев никогда не возражал, когда его материал переделывали от первой до последней строчки — урезывали и кромсали.

Но как он ни надоел всем, никто не пытался вернуть его на прежнее место. Мы знали, редактор хотел этого: однажды он даже попробовал сократить штат того отдела, где числился Бертаев, чтобы избавиться от него. Но из

этого ничего не получилось: Эльмурза Бертаев перешел в другой отдел и обосновался там крепко. И теперь он думал только о продвижении по служебной лестнице, но никак не об отступлении. Больше редактор с ним не связывался.

И вот этот человек, именно он, написал очерк о Марзиат. Могла ли она после встречи с этим горе-журналистом, после того, как прочитала о себе бертаевскую сухомятину, — могла ли она после всего этого хорошо думать о нас, газетчиках?

Я набрался терпения и стал читать очерк. В нем было все, что полагается в таких очерках, но Марзиат не было. Не было души.

За два года работы Марзиат на ферме она ни разу не испытывала ни одной трудности. «Да будет», — говорила она — и все тут же исполнялось. В очерке были добросовестно перечислены все виды работ, которые за два года переделала на ферме Марзиат, но совсем не нашлось места для ее мыслей и переживаний. А сколько раз она плакала там, сколько бессонных ночей провела, — хоть бы одно слово Бертаев обронил об этом.

А ведь мы сами в редакции порой страдаем даже от такой чепухи, когда написанная нами кудая заметка выпадает вдруг из номера — забракуются редактором! А сколько такого брака было у Марзиат и сколько она всего вынесла, чтобы вырастить двенадцать телят от двенадцати коров?!

«Люди, которые пасут стада на этих питательных лугах, которые отправляют в город парное молоко, щедрый, как эти горы, — писал Эльмурза Бертаев. — Марзиат Алымова, имя

которой известно всей нашей республике, свой замечательный успех в труде свершила в этих горах, у берегов студеной реки Сукап. Вот она стоит, как река чистая и как река трудолюбивая...»

Нет, я не мог читать дальше. Я возненавидел Бертаева. Стыд обжигал мне лицо. Я был убежден: Марзиат, как только увидела Бертаева, сразу распознала, кто перед ней. Но отвечала ему вежливо: она сразу поняла, как надо отвечать, и, смеясь в душе над ним, придумывает для него правильные ответы в духе и стиле самого Бертаева. А тот с серьезным видом записывает в свой пухлый блокнот цифры. «Так, так, — говорит он и строго смотрит на доярок. — Так, так, все прекрасно». И он уезжает.

Я закрываю подшивку. И сейчас же Марзиат, припрыгивая, вбегает в свою комнату, подолом халата вытирает лицо и начинает убирать в доме. К чему бы она ни прикасалась — все вокруг оживает, начинает петь и звенеть. Вот, вытирая стекла окон, она размахивает рукой, чтобы поймать муху, севшую на подоконник. Муха улизнула, а рука Марзиат спшибает с тумбочки флакон одеколона. Стукнувшись о стенку кровати, флакончик разбивается. Марзиат распахивает окно, чтобы выбросить осколки стекла, — и в комнату врывается свежий ветер. Марзиат так и застывает у окна — конь Солнечного Луча останавливается во дворе. Разгоряченный конь трепещет, бьется о стены дома, требуя белую ее шаль¹. Ветер, посланец Луча, обшаривает комнату, ищет белую шаль

¹ Белая шаль — национальный символ обещания руки и сердца.

Марзиат. Но она далеко упрятала ее, никто не найдет, пока не достанет она сама. Оскорбленный ветер возвращается во двор, берет под уздцы трепещущего коня Солнечного Луча...

— Весна во дворе! — кричит Марзиат.

Высоко поднимается солнце. Оно большое и доброе и довольно своим Сыном. Солнце щедро дарит тепло весенней земле, улыбается своей невестке, благословляя ее. «Вот бы так греть и быть таким добрым», — думает Марзиат. Солнце и девушка смотрят друг на друга, и непонятно, в ком больше света...

Через несколько дней Марзиат совсем поправилась. Когда я пришел проведать ее, она сидела в саду и читала.

— Не скучно вам здесь? — спросил я.

— Некогда скучать: нет покоя от посетителей. Если бы их было меньше — я, наверно, скорей бы выздоровела. Это все из-за матери, ее любили, а не меня. Многие из навещающих меня даже и не знают.

Я припомнил высокого смуглого парня, который подолгу разговаривал с Марзиат и все ухмылялся.

— А этот худой, чернявый, кто он вам? — небрежно спросил я.

— А-а, Музафар, мой родственник. Отзывчивый добряк, а все хочет казаться равнодушным.

— Хороший парень! — с чувством сказал я. Теперь я мог его похвалить: он мне ничем не угрожал. — Вот принес вам Фолкнера, «Свет в августе».

— Не знаю, что за писатель.

— Прочтите — узнаете. Женщина ищет свое счастье, а оно все убегает и убегает.

Я посмотрел на нее в упор. Она опустила глаза, скрутила журнал в трубку и сказала неопределенно:

— Женщина ищет свое счастье... Бедняжка... — И, преодолев минутную слабость или растерянность, задорно добавила: — А что, сама женщина... не есть счастье?

Мне хотелось сказать: «Да!» и еще раз повторить: «Да!» Я полон был новой для меня и незнакомой нежности к ней, но Марзиат сейчас была холодна и неприступна. Все мои слова отскочили бы, не тронув ее, и порыв мой был бы смешон. Теперь настал мой черед опустить голову и задуматься. А она сказала непонятно:

— Женщине предписано: либо самой быть счастливой, либо сделать счастливым другого.

Тут я не вытерпел:

— Когда женщина делает счастливым другого, разве тогда не счастлива она и сама?

Она не стала больше философствовать, полистала журнал и спросила, не глядя на меня:

— А как на это отвечает Фолкнер?

— Фолкнер не отвечает. Он был бы плохим писателем, если б отвечал напрямую.

— А Эльмурза Бертаев ответил бы?

— Он бы ответил.

— И хорошо бы сделал: ответы тоже нужны.

— Только не категорические и не о жизни человеческой души.

Она встала. Я тоже встал, и мы молча пошли по дорожке. Сейчас снова расстанемся. И мне снова надо искать повод, чтобы прийти к ней. Я думаю: «Сказать или не сказать о том, что я решил съездить в Ак-Сырт, на ее

родину, чтобы посмотреть на нее глазами ее земляков. Нет, не скажу, пусть это будет моей маленькой тайной.

На прощанье говорю обычное:

— Выздоровливайте.

Она уходит. Я стою у ограды, и мне хочется, чтобы она обернулась. Но она не оборачивается и исчезает в дверях больницы. Мне больно оттого, что она не обернулась, и я ухожу. Иду неуверенно, как будто она, спрятавшись за дверь, все же смотрит мне вслед...

5

ПОЕЗДКА В АК-СЫРТ

По обе стороны дороги, глубоко вонзившейся в горы, раскинулись крытые черепицей дома, которые издали кажутся одинаковыми. А войдя в деревню, видишь, что каждый дом имеет свою отличительную черту и особый характер, как и люди, живущие в нем. Поражает чистота в каждом дворе и даже на улицах. Во дворах много цветов, на крышах — антенны телевизоров и радиоприемников, а посаженные вдоль дороги молодые деревца придают молодость старому селу.

Правление колхоза размещается в длинном старом доме. Новый дом для правления строится, но еще не готов. Кабинет председателя очень большой. Он кажется еще просторнее оттого, что в нем, кроме стола и трех стульев, ничего больше нет.

Колхоз имени Хачаева возглавляет Таубий Хачаев — однофамилец революционера, именем которого назван колхоз в Ак-Сырте. В преж-

ние годы колхоз был очень бедным. «Топчутся возле двух старых коров!» — говорили в те дни руководители других колхозов, чтобы посмеяться. И еще говорили: «Клянусь аллахом, если в их аул забежит бешеный бык — не найдет там ничего, что могло бы зацепиться за его рога!» Сочувствовали: «У них все село расплелось, как старый плетень...» Но земля у хачаевцев была и люди умели работать. Нужен был дельный руководитель — и Таубий Хачаев оказался как раз таким.

Мало-помалу перестали смеяться над Ак-Сыртом. Кто знает, может, этому помог организаторский талант Таубия. Или, может, молодежь взяла дело в свои руки — и земля отблагодарила колхозников за труд. Как бы там ни было, теперь у всех складывалось хорошее мнение о хачаевцах. Это не был больше отстающий колхоз, но и в передовики он тоже не выходил.

Хачаева я знал немного по газетным материалам, по районным и республиканским совещаниям, а так близкого знакомства у меня с ним не было. Я знал, что, несмотря на определенный сдвиг, в Ак-Сырте еще многое не сделано.

Я довел эти свои мысли до сведения председателя. Хачаев согласился со мной и сказал:

— У нас здесь так: чем богаче становится колхозник — тем более свысока он смотрит на колхоз.

— А колхозы-миллионеры? — спросил я. — Ведь там колхозники еще богаче.

— А все дело в том, что колхозы-миллионеры всегда идут впереди своих, если так можно сказать, миллионеров-колхозников. У них все-

гда есть чем заинтересовать своего колхозника. И потом, колхозы-миллионеры — обычно степные колхозы. У них все условия для того, чтобы удержать молодежь: техника, близость города со всеми его культурными богатствами. А у меня что? Одни горы! Наш колхоз может обогатиться за счет хорошего использования горных пастбищ и сенокосных угодий. А для этого надо пасти скот, косить сено. Молодого человека не пошлешь пасти овец. А если и пошлешь — больше двух-трех месяцев не выдерживает... — И горько похвастался: — У меня есть колхозники, которые могут, не работая, жить несколько лет!

Все это было очень интересно, но сейчас меня интересует совсем другое. Я хотел бы услышать хоть что-нибудь о Марзиат и поподробней расспросить председателя о ней. Но я опасаюсь, что тогда он сразу догадается, зачем я сюда приехал, — и вместо этого напоминаю ему: до войны, а если точно — то в 1940 году Ак-Сырт имел сорок тысяч овец. Что изменилось с тех пор? Как обстоит дело теперь?

— Была война, — сказал Хачаев, — многие наши земляки погибли. Да и вообще с тех пор много лет прошло и многое у нас изменилось — и не только на полях и в аулах, а и в самих людях. Для того чтобы не быть в зависимости от настроений пастуха или доярки — нужны современные благоустроенные базы. А для того, чтобы их построить и оборудовать, — нужны деньги. А их у нас нет. Уже сейчас мы задолжали государству полмиллиона рублей. Но ругают меня не за то, что у нас нет баз, а за то, что растут долги. Вот и танцуй вокруг тлеющего костра: пора тебе усилить танец, а для

этого нужен свет. А для того, чтобы был свет,— падо подложить в костер большие поленья, а их у тебя нет. Вот и приходится кое-какие имеющиеся у пас дровишки подкладывать, чтобы костер не угасал, чтобы танец наш совсем не остановился...

Передо мной сидел уставший, работающий по привычке, по указке и старой схеме человек, не видящий никаких возможностей, уже давно потерявший всякую инициативу. Он хотел добра своему колхозу, имел перед ним заслуги, был добр сам, отзывчив, защищал интересы Ак-Сырта как только мог. Но оттого, что Таубий так сильно устал, уже несколько лет Ак-Сырт топтался на месте: долги его умножались, люди все больше отчаивались. Нужно было предпринять один шаг, один элементарный шаг, чтобы не было этого застоя. Но об этом никак не мог догадаться Таубий, а те, кто догадывался об этом, слишком его уважали за прежние заслуги...

Я так и не сказал ему, ради чего приехал в Ак-Сырт. Решил не спрашивать ни о чем, а просто попросить копя и съездить в Суканское ущелье, где находятся хачаевские фермы.

Не в первый раз ехал я в Суканское урочище. Мне попался очень ленивый конь, а ленивые кони, чтобы не подниматься в гору, все норовят общипывать придорожные канавы.

Навестив хоть один раз суканские луга, навсегда остаешься влюбленным в них. И не очень-то торопишься уехать обратно. Облачная свежая прохлада, смешанная с запахом трав, веет тебе навстречу. Ты жадно вдыхаешь этот запах, эту прохладу. Долго смотришь на причудливые белые вершины. А чуть пониже, как

богатыри, привыкшие защищать свободу гор, стоят отвесные скалы. Внизу, блестя на солнце, змеится река Сукан, которая, кажется, только сейчас расколола ущелье, чтобы вырваться в этот пахнувший снегами и лугами мир. Ты стоишь зачарованный, слушаешь шум реки, торопливое и глухое гудение курьером несущегося ветра. Весть его чиста и свежа, как края, пославшие эту весть. Он несется мимо бело-грудых скал, срывая запах лугов, шепча на ухо коровам, где слаще трава. Он мой давнишний знакомый, он смеется надо мной, — нет, не надо мной, а над моим конем: никак не назовешь этого лодыря ветром! Как люди неосторожны в своих сравнениях. Назвать коня ветром? Черепаха — вот кто твой конь!

Конь мой ленив, у него в паху пот — и только там чувствует он голос ветра. Я держу его за повод, он продолжает щипать траву — мы стоим на гребне горы. Отсюда спуск. Не очень крутой и не очень пологий, перекрещенный тропинками, густо засеянный альпийскими цветами, — монтаж картин абстракционистов Кандинского и Сальвадора Дали. У альпийского художника чуть-чуть больше нежности, и еще грунтовик у него отлично знает свое дело.

Но конь мой ленив, он щиплет траву и чисто отвергает всех абстракционистов. Я с ним не спорю, ибо это бесполезно: конь самое разумное существо, а абстракционисты — это абстракционисты.

И здесь прилив сил и бодрости наполняет меня. Я стою на высокой горе, откуда виден огромный мир. И небо надо мной чисто и бесконечно, а земля подо мной щедро и вечна!

Какое счастье видеть все это, чувствовать все это, осознавать, что ты живешь на этой земле, под этим небом, в окружении таких надежных гор, вдыхаешь запах трав и снегов этого мира, распахнув свою грудь всем его ветрам. После больницы, после встречи с Марзиат, после дороги я особенно остро чувствую это.

Я так переполнен счастьем, что кричу о нем. Кричу — и мне несколько не стыдно своего счастья. Мне хочется побежать по гребню до самого ледника. Я твердо знаю: стоит мне добежать до ледника — и я стану бессмертным. И болезни, и Бертаевы, и ленивые кони уйдут тогда из жизни. Я избавлю все человечество от болезней, от Бертаевых и от ленивых коней. Я возвращу людям первозданную их суть — жажду творчества и добра.

Но пора уже спускаться вниз. Мне тридцать лет — и пора уже быть серьезным. Спасибо тебе, гора, за чувство счастья.

Я уже вижу ферму: небольшой домик, двор, огороженный плетнем, короткий навес. Оборванная радиоантенна над домиком, на кольях плетня — опрокинутые ведра. А ближе ко мне — стан, где доят коров. Белые оцинкованные фляги стоят там с открытыми крышками. Издали они кажутся прибрежными валунами, поближе — какими-то причудливыми сказочными птицами. Но они не валуны и не птицы — фляги, ожидающие вечернего молока.

И вот тогда, когда я вижу все это, когда уже чувствую запах только что выпеченного на ферме хлеба и во рту появляется вкус айрана, когда я уже приготовил первые слова, которые скажу, привязывая коня к плетню, — вот тогда до меня доносится вдруг песня. Я остава-

ливаюсь. Конь мой ленивый тоже останавливается. И мы оба глядим в сторону песни. Песню мы не видим, но видим стадо коров, пасущееся в долине. Мы оба приходим в замешательство. Я уже думал, что скоро буду есть горячий хлеб с айраном, но в долине, на огромном валуне, сидит пастух и поет, словно коров пасет не он, а его песня. Конь же мой думает: неужели ему придется тащить меня обратно в долину, к пастуху? Так и есть — придется. Я поворачиваю обратно. Но конь снова удивлен: я иду пешком, веду его за повод. «Лучше бы он отпустил меня пастись...» — написано на лошадиной морде.

А пастух, оказывается, мой старый знакомый — Музафар.

— Да умножится твое стадо, — приветствую я.

— Спасибо, добро пожаловать.

Мы обнимаемся. Он в бурке, и на какое-то время я пропадаю в его бурке. Конь мой ржет — наверно, от неожиданности.

— Какими судьбами? — спрашивает Музафар.

— Да вот твоя песня сюда привела. Конь — свидетель.

— Нашел певца! Это от скуки я.

— Ну как успехи?

— Отличные! — Музафар поднимает подол бурки: через плечо висит транзистор. Он снимает бурку, стелет на траве. — Садись, рассказывай, как жизнь?

Хочется сказать ему сразу: я приехал к тебе, чтобы ты помог сосватать Марзиат. Но, усевшись на бурку, я говорю о том, что он хорошо пост: если бы не пел — я не пришел бы

сюда. Музафар полулежа, ухмыляясь, слушает меня. А мне сидеть неудобно — земля под мной неровная, косогор. Но я остаюсь сидеть, надо сидеть, — предстоит серьезный разговор. Музафар может позволить себе рассказать что-нибудь о Марзиат или слушать о ней лежа или стоя, — не очень будет волновать его этот разговор.

Реет ветерок. Здесь, в долине, он не так резвится, как там наверху, и не срывает запах трав, и ничего не шепчет на ухо коровам. Просто так гуляет себе, стережет долину, а шептать на ухо коровам ему нечего, они и сами прекрасно знают, где слаще и сочнее трава.

— Ладно! — говорю я Музафару.

Он продолжает ухмыляться.

— Чего мрачный, жениться собираешься, да? — спрашивает он.

А я:

— Если выдашь за меня свою родственницу.

— Кого, кого?

— Марзиатку, — небрежно говорю я.

Музафар перестает ухмыляться. «Лисица Азамат», — написано у него на лице. Я говорю ему о том, что был утром у Хачаева и тот очень мне не понравился: совсем не видит перспективы...

Я умолкаю, мне не хочется снова думать о том же, о чем думал, сидя в правлении колхоза, и позже — по пути сюда. И вообще я начинаю нервничать. Что за восточные церемонии я затеваю, когда цель у меня одна: узнать свои перспективы с Марзиат.

И Музафар молчит. О ком он думает сейчас — о Хачаеве или о Марзиат? «Лисица Азамат», — снова написано у него на лице. Но я

не лисица. Я — скромный журналист, впервые познавший вкус любви в тридцать лет. Стыд и неуверенность мешает мне быть ясным и кратким. Я несколько не лисица. Быть лисицей — это искусство. Даже Бертаев не лисица, он — начисто лишенный таланта, но зато густо начиненный злобой барсук. А лисица — талантливая bestия.

— Да, он был когда-то энергичным, устремленным вперед руководителем колхоза, — сказал наконец Музафар. — Эта его устремленность вывела колхоз имени Хачаева из отстающих в средние. Для начала это был неплохой успех. Но для того чтобы идти дальше, требовалось удвоить энергию, проявить смелость, даже дерзость. И на это его уже не хватило...

Музафар говорил как по-писаному. Похоже, вопрос мой не застал его врасплох, и он уже не раз думал обо всем этом. А впрочем рядовые колхозники со средним образованием теперь нередко говорят так, о чем их ни спроси.

— Что же произошло с вашим Таубием?

— Он стал председателем в сорок лет, а сейчас ему стукнуло пятьдесят три. Не своей прозорливостью он брал, а энергией. Да и сын его тогда еще не был женат и дочь не выходила замуж. Словом, не обростал он густой, убаюкивающей шерстью родства. Ведь горец в молодости не спрашивает, где дорога, а спрашивает, куда ему ехать. В старости же он ищет дорогу поспокойней... Я бы ввел в колхозное руководство эстафетный способ: уставший передает эстафету другому. У нас есть все возможности, чтобы колхоз наш стал миллионером. Иному руководителю укажи только цель, а дорогу к ней он и сам найдет.

Молодой пастух Музафар, скромный и тихий с виду, думал такие думы о своем колхозе и верил в его будущее. Он принимал близко к сердцу и то, что происходило сейчас во всем мире, и то, что было связано с судьбой его односельчан, — как мог бы принять близко к сердцу, если б из его стада пропала вдруг корова.

А со стороны трудно было догадаться, что, идя за своим стадом, он восхищается тем молодым горцем, который рвется к цели, не спрашивая дороги. И что он давно знает о сомнительной философии тлеющего костра, которой, к сожалению, руководствуется не один Хачаев.

— У тебя есть единомышленники? — спросил я.

И в Музафаре сразу ничего не осталось от философствующего пастуха. Теперь он ухмыляется.

— А что?

— Мне кажется, у тебя нет единомышленников, — поддел его я.

— А зачем они мне? Делать переворот в колхозе не собираюсь. Ты хочешь услышать о Марзиатке? А то заладил: единомышленники, единомышленники!

— Скажи о Марзиатке.

И тут этот лисенок Музафар опять вернулся к делам своего колхоза:

— То, что я говорю, теперь у нас говорит каждый.

— Почему вы вместе не говорите где надо?

— Потому что у каждого есть свое дело.

— А теперь расскажи мне о Марзиатке...

— Пора гнать стадо на стан, — опять улизнул Музафар.

Мой конь и конь Музафара стоят рядом го-

лова к голове. Они давно знают друг друга, так что им есть о чем поговорить. Но о чем могут беседовать две караковые лошади?

— Бери моего коня в пару, — говорит Музафар. — Я пешком.

Коровы уже идут сами. Мыча, задрав головы, бодеясь: жадные, на ходу щиплют траву. Под брюхами вздулись молочные вены, как обнаженные корни на краю обрыва. Изредка кричит Музафар, краем уха коровы слышат его озабоченный окрик, но внимания не обращают, — сами прекрасно знают, что надо идти, не разбредаясь и не бегая, ибо, когда корова бежит — получается некрасиво: отяжелевшее вымя под брюхом большое, заставляет широко расставлять ноги.

Вечером после дойки мы не возвращаемся к нашему разговору. Одна из девушек, посетившая Марзиат в больнице, запомнила меня и, глупенькая, все выспрашивает о моей болезни. Музафар поддразнивает ее, что я совершенно здоров, и не только здоров, но и холост, — так что, считай, приехал жениться. А девушкам скучно в горах, они тут из камней выбирают себе женихов, так что, хорош или плох приезжий, — он все равно сойдет за жениха и смело может рассчитывать на то, что отнимет у какого-нибудь камня его песту. У доярок кровь горячая, камни слишком долго испытывают их терпенье, — так что не оплошай, джигит!..

На другой день на пастбище Музафар рассказал мне:

— Марзиат училась в Тимирязевской академии, и зачетка у нее была — гордиться можно. И все же она оставила Москву. Многие

мечтают туда попасть, и даже после учебы не хотят возвращаться, а Марзиат оставила. Стала учиться заочно, чтобы работать на ферме. Она считала, что хорошим зоотехником станет только тогда, когда научится разговаривать с каждым животным. Работая здесь, она поняла, что путь в науку начинается с фермы. Вот поэтому она и решила учиться заочно и одновременно работать на ферме — приносить пользу колхозу, себе и науке!

— Ты рассказываешь то, что было написано Бертаевым! — не вытерпел я. — Все это я читал в редакции.

— А что? Неправда, что ли? — ухмыльнулся Музафар.

Я гляжу на него так, словно узнал в нем своего врага. Сейчас он похож на Бертаева.

— Конечно, неправда. Ты и сам хорошо знаешь, что неправда.

— Да, не совсем... Хамалай — подонок, он виноват в том, что она оставила учебу. Гордая была и упрямая — вот и не поехала в Москву. А тут еще горе — мать умерла... Она очень хотела учиться. Но у брата большая семья, и Марзиат после смерти матери побоялась стать для него обузой. Не хотела чувствовать себя обязанной. И потом, на каникулах после первого курса она была какая-то надломленная, все время тосковала...

Мне сильно хотелось поподробней расспросить Музафара об этом неведомом мне Хамалае — подонке, которого он недавно упомянул. Я уже рот раскрыл, чтобы спросить, но вдруг мне показалось это очень подло — расприрашивать за спиной Марзиат о ней и ее знакомых. Никогда раньше со мной такого не было, а тут

я вдруг усомнился: имею ли я право расспрашивать Музафара. Но, не скрою, мне понравилось, что Музафар назвал этого неизвестного мне Хамалая подонком. Это принизило его в моих глазах и уменьшило ту опасность для меня, что шла от него...

— В одном ваш корреспондент был прав, — сказал Музафар. — Новая сила на ферме сразу дала себя знать. То, чего мы не замечали до прихода Марзиат, стали теперь замечать. Как шла здесь наша молодая жизнь? Да так просто — день за днем. И никто не интересовался, как мы тут живем. А теперь на ферме появился человек, рядом с которым просто невозможно было жить по старинке. Марзиат не только сама пришла к нам, но и принесла с собой на ферму все свои знания и культуру. Да что там знания — живую душу принесла она сюда. Некоторые тихони считали ее дерзкой, но эта дерзость нарушила однообразие всей нашей жизни. Сначала кое-кто думал, что Марзиат будет отлынивать от самой грязной работы, но она делала все, что и другие доярки. Все, что они, и еще свое добавляла, чего до нее здесь никто не делал.

Жизнь наша изменилась, повеселела. Девчата раньше скучали здесь и не знали, как скоротать свободное от работы время, а теперь даже не замечали, как оно проходит. Марзиат придумывала для них то одно, то другое, и они втянулись в эту новую жизнь.

Однажды Марзиат пошла вместе со мной на выгон. Признаться, меня это не очень-то обрадовало.

«Куда собралась? — спросил я. — Только тебя там и не видали!»

«Хочу посмотреть, как пасутся коровы», — ответила она.

Я, честно говоря, удивился и даже немного обиделся, но ничего не сказал. А Марзиат в тот день до самого вечера пасла коров вместе со мной.

«Половину твоих коров не одобряю», — сказала она на обратном пути.

«Это почему же?»

«Неважные они у тебя».

«Чем они тебе не угодили?»

«Слабо пасутся. Если хочешь знать, Музафар, половина твоих коров ленивые. Давно пора их заменить другими».

«Ты считаешь, у нас есть такие возможности?» — спросил я.

«Есть», — уверенно сказала Марзиат.

Я тоже думал об этом, но был убежден, что нам рано еще замахиваться на коренное обновление стада. Выходит, мы думали об одном и том же, но думали по-разному.

«На ферму должна прийти большая жизнь», — размышляла вслух Марзиат.

«Ну, ясное дело!» — поддакнул я.

«Например: кино, телевизор, театр», — продолжала она мечтать.

«Не заносись, — посоветовал я. — Все может быть, но театр...»

«И театр, Музафар! Подумай сам: на берегу этой реки — фермы пяти-шести колхозов и маслосырзавод. Сколько здесь народу работает? Пусть сегодня еще не хватает силы, а завтра? Если будет здесь клуб — и культура будет. Почему бы не проводить каждый вечер и выходные дни в клубе, построенном где-нибудь посередине, на одинаковом расстоянии

от всех ферм, чтобы никому не было обидно? Построить такой клуб один колхоз не в силах, а все вместе смогли бы... А если будет клуб, почему бы не приехать сюда и не выступить артистам из Нальчика? Почему бы там не продемонстрировать фильмы — цветные, широкоформатные и всякие другие? Я верю, все это будет... — А потом совершенно неожиданно: — Ты любишь свою работу, Музафар?»

«Не любил бы — не работал».

«И я люблю! — с вызовом сказала она, будто не со мной говорила, а с кем-то другим, кто ей не верил. Но тут же ее охватила грусть и она поскучнела. — Что же мне делать с тем, кто хочет отнять у меня эту любовь?»

«И такой есть? — Мне стало неловко, что на вопрос я ответил вопросом. — Кто тебя осилит? Смотри, только потом сама не пожалей».

«Я буду доить коров, — ответила она. — Назло всем, кто думает, что на ферме живут отсталые люди...».

6

БАЛЛАДА О НОЧНОМ ВЕТРЕ

Потом я сидел один. Сидел один, а вокруг меня стояли камни — женихи, понурив головы, обиженные, рассерженные на меня — своего соперника. Сверху дул чистейший на свете ветер, лаская ночь и камни, словно заманивал их в чужие края. Но каким быстрым и настойчивым ни был этот ветер, он ни разу не смог поднять каменных женихов с места. Они были настоящими мужчинами и ни за какие красоты дальних краев не покидали родные места.

И теперь стояли, окружив меня, размышляя, какое выбрать для меня наказание, ибо слишком паглым был я вчера, чтобы остаться сегодня безнаказанным. Но как накажешь, когда человек ни жив ни мертв от тревожных дум, от неясной своей дороги, у которого все запуталось, который, прожив тридцать лет на свете, ни разу не испытал любви. А теперь за несколько дней потерял голову, не знает, что ему делать. Вернее, что делать — знает, а вот как делать — не знает. Не знает, как ему поступить после рассказа Музафара, после того, как узнал о существовании Хамалая, который, судя по всему, растоптал первую любовь Марзиат. У нас говорят: сломался первый чурек в горячей золе — и соединить этот чурек уже нельзя.

Вот и сидит он, журналист Азамат Гериев, среди камней, слушает мерный гул горного ветра, который пахнет ледником, студеной горной рекой, жующими коровами, сосной, слежавшимся навозом и луной. Особенно пахнет луной: она сильно поправилась на летнем выгоне, потеряла свою недавнюю угловатость и серость, в окружении гор выглядит потяжелевшей, кажется даже — катится вниз.

Сидит Азамат Гериев, тридцатилетний одинокий муж, чувствует на себе жалость луны, жалость камней, жалость ущелья. Грустная улыбка застыла в уголках его губ, морщины на лбу сделались глубокими. Ему надо сказать «нет». Тогда придет успокоение. Не было счастья в двадцать лет, глупо и бессмысленно искать его в тридцать. Надо примириться с этим и сказать «нет». Тебя ждет работа — кипучая журналистская работа. Ждет борьба

с Бертаевым, с тупостью и демагогией. Что по сравнению с этой борьбой какая-то девчонка Марзиат!

Именно в этот миг разом захохотали камни! Серьезный вроде бы человек, а рассуждает глупо. «Двое — есть двое, один — есть один», — сказали они. Улыбнулась луна, и выросли тени скал. Он увидел колыхание влажной, залитой лунным светом травы, его остудили брызги купающихся в реке звезд и подоспевший запах ледника.

И тогда журналист Азамат Гериев перестал думать о борьбе с тупостью и демагогией, ибо понял, что одному ему не справиться с ними, а вместе с Марзиат ему будет гораздо легче. Он вовремя припомнил, что и Марзиат ненавидит Бертаева, один ее взгляд в силах испепелить того, так что если бороться — то бороться вместе. Далее он подумал о том, что из одного дерева хлеба не построишь, и еще: рана от кинжала заживает, а от любви не заживает никогда.

Подумав так, Азамат Гериев зашагал к своему коню. Спиной он почувствовал, что камни, одобряя его решение, перестали смеяться. На седле сидела, улыбаясь, луна. Когда он снял путы с коня и тот встряхнулся от страха перед ночной дорогой, луна взлетела, коснувшись его лица. Она была взволнована этой встречей и сопровождала его до самого Ак-Сырты, то улыбаясь, то хмурясь — соответственно настроению всадника.

На следующий день вечером после больницы тихого часа, я пришел к Марзиат.

— «Свет в августе» я уже прочла, — сказала она.

— Я тоже прочитал одну большую книгу.

— Какую?

— Моя поездка в Ак-Сырт.

— Вот как. А я-то думала-гадала, куда пропал мой друг.

— Ну уж пропал... — И, глядя на нее в упор, без тени смущения, я попросил: — Расскажите мне о Хамалае.

Я решил, что так будет честнее всего: никого за спиной Марзиат не спрашивать, а обратиться прямо к ней.

У Марзиат расширились глаза и редкие веснушки насторожились.

— Вот, оказывается, вы какой. Не думала я...

А я, так же смотря на нее в упор, нисколько не сомневаясь в своей правоте, повторил:

— Расскажите мне о нем. Для меня это очень важно, Марзиат!

А она в ответ:

— Знаете что... Уходите! Уходите и больше не приходите.

— Я могу уйти сегодня, по навсегда — нет.

Она не растерялась. Удивительно, она не растерялась, словно ждала этого давно.

— Покажи парню зубы, а ему покажется сыр! — припомнила она поговорку.

— Неудачное сравнение, — возразил я. — Вы мне ни разу не показывали зубы.

— А вы к тому же еще и самонадеянны.

— Каков есть — таков есть, — сказал я. — Но бороться за свое счастье буду. Так просто от вас я не откажусь.

В следующий раз мы почти не говорили, во всяком случае о Хамалае я не заикался.

И попрощались мы с ней холодно. Да, напоследок я передал ей привет от Бертаева.

А в третий приход после поездки в Ак-Сырт я принес ей свой очерк, который пазвал «Рассказать о себе отказался» — о враче-осетине из города Тырнауза. Меня поразили в этом человеке редкостная скромность и замечательное сочетание традиций Гиппократата и народной медицины.

Не знаю, что тут мне помогло: или ей надоело молча выжидать, когда я снова заговорю о Хамалае, или мой очерк ей понравился, но она вдруг быстро спросила, глядя мимо меня:

— Откуда вы Хамалаея знаете?

— Какого Хамалаея? — лениво переспросил я, чем привел ее в замешательство. Я бессознательно мстил ей за молчание: в каждом человеке сидит мучитель.

— Ну... Эльбаева... Вы же сами...

— Педагога?! — удивился я. Так вот какой у нее Хамалаея!

Под ее растерянным взглядом я постепенно приходил в себя.

— Ну да, учителя, — подтвердила она.

— Он мой хороший товарищ. Вместе учились в университете.

Марзиат опустила голову и ничего не сказала.

Да, я хорошо знал Хамалаея Эльбаева. Годы совместной учебы сблизили нас. Одно время мы даже были друзьями. Сколько раз мы, собрав медяки, оставшиеся от стипендии, «давали обед» в честь безденежного в нашей компании. Обед проходил, как говорится, в дружественной обстановке, и на столе не остава-

лось ни одного кусочка. Иной раз, когда Хамалай возвращался из родного аула, мы выходили навстречу ему и обнимали его, зная, что он обеспечит нас на целую неделю холодным айраном, сыром и картошкой. Сам он тогда ужасно обожал картошку, и мы величали его «картофельным брюхом». Он не обижался, а наоборот, сам весело шутил над этой своей слабостью. Обещал: когда будет выбирать маршрут для заграничных поездок — выберет только те страны, где хорошо растет картошка.

Как бы там ни было, нам всем запомнились студенческие годы. Хамалай после учебы пошел в свой аул учительствовать. Я выбрал путь журналиста. После этого мы редко встречались и постепенно стали забывать «золотые студенческие дни...».

— Я его давно не видел, как он там? — спросил я.

— Ничего, — ответила она с каким-то горьким равнодушием. — Он не пропадет.

Мы сели на лавку в ореховом больничном саду.

— Он женат? — Я посмотрел на нее с подозрением.

— Нет.

— Старик уже!

— Вы же о себе так не думаете!

— Сейчас я думаю только о себе.

— При чем тогда Эльбаев?

— Я хочу знать... при чем он для вас. Для меня он ни при чем.

Марзпат провела по лбу бескровной рукой и снова изменилась в лице. Мне стало стыдно, что я мучаю ее своими расспросами.

— Марзиат! Тебе нельзя волноваться. Я — нехороший человек.

— Нет, нет, не от этого. Я спосно себя чувствую. А это сейчас пройдет.

— Надо быть осторожней. Береги себя.

— Если бы человек все свои беды в жизни одолевал так же, как одолевает болезнь! Есть вещи потяжелей, чем болезнь. Для меня эта болезнь пройдет бесследно. А вот другая...

В ней жила какая-то душевная тревога, о причине которой я мог только догадываться. А спросить прямо я не осмелился. Впервые я заметил эту тревогу еще тогда, когда сам лежал в больнице. А теперь, после поездки в Ак-Сырт и разговора с Музафаром, еще острее чувствовал эту ее душевную тревогу. Но связана ли эта тревога с картофельным Хамалаем или что-то другое мучило Марзиат — я не знал. «Она сама расскажет все, — думал я. — Сама должна рассказать, если тревога эта тяжелым камнем лежит у нее на сердце. Она должна сбросить этот камень — и ей станет легче».

— Мы с Хамалаем дружили четыре года, — неожиданно сказала Марзиат так, как будто говорила совсем не о себе.

Но в этом ее равнодушии я расслышал некогда горячую, остывшую теперь силу. В тоне ее слов прорывалось торжество победы, осознание своей правоты. И рядом с этой победой, переплетаясь с ней и порой даже забывая ее, шла грусть, словно победа эта далась Марзиат нелегко и не принесла ей полной радости.

— Во всяком случае, я видела в нем тогда друга, — пояснила она. — Четыре года я верила ему, ждала, надеялась. А потом перестала

верить. Меня до сих пор ругают, что я оттолкнула свое счастье. Лишиться такой перспективы! Ведь можно было купаться в богатстве, шить себе платье с золотыми пуговками...

Я молчу. И Марзиат умолкает. У меня такое чувство, будто на нас свалилось что-то тупое, упрямое, невыносимое. Я силуюсь представить Хамалаю рядом с Марзиат — и не могу. *Моему* Хамалаю просто нечего делать рядом с ней.

— Считается, что женщина — слабое существо, — говорит наконец Марзиат. — Отчасти это так, конечно. Я была слаба, когда верила, надеялась. А когда потеряла все — сильнее меня не стало человека на свете... Смешно, правда?

— Что тут смешного? — выпалил я сердито, невольно злясь на нее: и что она нашла в Хамалае?! Потом взял себя в руки и спросил осторожно: — С тех пор как вы попали в больницу... он что... ни разу, да?

— Да, Хамалай не пришел ни разу... — Марзиат улыбнулась, но в этой улыбке не было никакого тепла. Она умела улыбаться по-другому. — Он и не придет.

— Почему? — вырвалось у меня.

— Я же говорю — кончилось.

— Что кончилось?

Она посмотрела на меня с упреком: «Будто не понимаете?» Я попытался оправдаться:

— Я действительно не понимаю... Что... он вас обманул?

Это был самый позорный мой вопрос, лучше бы я его не задавал. «Что я, торговка?» — было написано у нее на лице. «Дураки вы мужчины, если верите, что каждую из нас можно

обмануть!» — было еще написано. А вслух она сказала:

— Я думаю, он самого себя обманул.

— Но вы же дружили четыре года. Даже о проданном коне заботится человек. Не мог же он забыть так быстро?

— Все не так, как вы думаете... Можно считать я обидела его: сказала ему, что он женщина. Вместо шапки предложила надеть платок.

— Заслужил, значит?

— Может быть, и не заслужил...

Под нашими ногами валялись сухие ореховые листья. Марзиат пристально смотрела на них, будто никогда раньше не видела. Кажется, она думала об их судьбе. Над нашими головами распростерлась ореховая ветвь с многими высохшими листьями.

— Они оттуда, — сказал я, поводя головой в сторону ветви.

— Наверно, и деревья болеют? — спросила Марзиат.

— Если земле трудно, — предположил я.

— И у этих листьев есть душа, — задумчиво сказала она. — Но никто не жалеет их.

— Не все любят жалость, Марзий.

— Жестокый ветер отрывает их от родных ветвей и бросает на землю. То же самое и у людей: судьба обрывает и разбивает счастье. В природе все похоже друг на друга.

Мы помолчали.

— Марзиат, — опасливо попросил я, — расскажите о Хамалае. Мне надо знать о нем все.

Я боялся, что она спросит язвительно, зачем мне это понадобилось, но она ничего не спросила, а лишь зажала в руке коричневый лист, растерла его и сдула сухую пыль.

— Вот лист, — сказала опа, — распускался, вырос, расцвел, потом исчез... Но это никого не тронуло...

— Спросите у дерева!

Марзиат не ответила. Она напряженно думала. Потом провела рукой по лбу. Я уже заметил у нее этот жест: он всегда предвещал какое-то трудное для нее решение. Похоже, мое давнее знакомство с Хамалаем, в представлении Марзиат, давало мне право знать все, что у них было. Или это моя любовь к ней давала мне право и заставляла Марзиат быть откровенной со мной? А может быть, я тут был вовсе ни при чем, а ей самой стало невозможно таить в себе свое горе и захотелось выговориться, чтобы в конце концов понять, что же с ней произошло? Как бы там ни было, но Марзиат заговорила спокойным и ровным голосом:

— Когда Хамалай появился в нашей школе, я училась в десятом классе. Он преподавал русский язык и литературу и был старше меня на шесть лет. Никто из наших преподавателей не умел так хорошо говорить, как он, и одевался он безупречно. И к тому же он никогда не ограничивался одним лишь преподаванием своего предмета. Казалось, он никогда не бывал дома. Когда бы я ни пришла в школу, он уже был там: руководил литературным кружком, целыми днями занимался на опытном участке школы. Всегда и везде возле него толпились ученики. И не было такого вопроса, на который бы он не ответил. Все наши девочки сразу влюбились в него.

И я встретила свою весну, и со мной стало твориться что-то пеладное. При виде Хамалай

я терялась и забывала обо всем на свете. Но я долго не догадывалась, что тоже полюбила его: слишком уж было не похоже то, что нагрянуло на меня, на ту любовь, о которой я мечтала до этого и читала в книгах. Больше всего меня злило, что среди всех наших девчонок он совсем не замечал меня. А я видела каждый его шаг, каждую смену выражения на его лице.

В его характере было много такого, что не нравилось мне. Иногда он был высокомерен, не любил, когда называли его не первым, а порой позволял себе говорить неправду. Но постепенно и эти его черты стали мне нравиться. В конце концов эти его недостатки были не так уж существенны. Если как следует взяться, их можно легко устранить. К тому же, совершенно идеальных людей не бывает, думала я, у меня самой разных недостатков больше, чем у него. Когда при встрече с ним в школе я вспоминала о своих думах о нем, свое старание казаться взрослой и красивой, стыд обжигал мне тело, я снова терялась, а он все улыбался, таинственно шевелил губами, — и как бы плохо мы ни отвечали ему на уроках, всегда ставил нам хорошие отметки.

Он был высокий, красивый. Умел шутить, и большие черные глаза его часто улыбались. Смеялся он широко, свободно, и все время от него веяло какой-то особой добротой. Он был доверчив, учтив, вежлив со всеми, — а больше мне тогда ничего и не надо было.

Однажды мы пошли помогать колхозу копать картошку. Случилось так, что мы с ним попали в одну пару. Он звал меня только по фамилии, и это злило меня. «Как будто у ме-

ня нет имени, — сердилась я. — Тоже мне учитель!»

«Алымова, ты, может быть, устала?» — спросил он.

А я, позабыв даже назвать его Хамалаем Жарахматовичем, ответила ему:

«А почему я должна уставать? Будто Алымовы хуже Эльбаевых!» — сказала и покраснела до ушей.

«Чего краснеешь, раз уж сказала дерзость?» — спросил он и посмотрел мне в глаза.

Я опустила голову.

«Спрячь голову в куртку», — пошутил он.

Я отвечать не стала. Мне было стыдно и хорошо. Когда прятала от него голову — больше его видела. Когда молчала — больше с ним разговаривала.

А урожай колхозного картофеля в тот год был богатый: два корня — ведро, два корня — ведро. И все картофелины как на подбор — крупные, белые. Мои одноклассники и одноклассницы шумели, кидали друг в друга картошками, задевали и меня. Тогда Хамалай Жарахматович заступался за меня и говорил:

«Не трожьте ее, Алымова голову в куртке потеряла».

А одноклассницы, завидовавшие мне, злорадствовали:

«Где она потеряла голову, мы знаем!»

«Оставьте ее в покое, она с учителем на пару работает!»

«На то и отличница!..»

Не знаю, что нашло на меня, но слезы полились у меня ручьем. Не могу сдержать — и все... Убежала в овраг и там выплакалась. Никто не пошел за мной, и Хамалай Жарахмато-

вич не пошел. А я надеялась, что он придет меня успокоить, но он и не подумал. Тогда я возненавидела его. И вдруг я испугалась — сама не знаю чего, но испугалась. Шла обратно как по натянутой над пропастью веревке...

До самого вечера Хамалай Жарахматович не сказал мне ни одного слова. Он был рассеян, копал картошку как-то бестолково, всаживал лопату в землю криво и много картошки порезал. Меня подмывало посмеяться над ним, но злость заглушила этот порыв, и, пряча от него надутое лицо, я молча собирала картошку. Наверно, я была тогда очень смешна, и это его забавляло. Не знаю почему, но вдруг он повеселел, — повеселел так, словно избавился от недуга или нашел потерявшееся слово, которое долго искал.

«Ну, Алымова, вперед без страха и сомненья», — сказал он.

И прежде в классе он часто так говорил. Брал в поход нас, девушек и ребят, и подбадривал: «Вперед без страха и сомненья». Нам всем это очень нравилось. И теперь у меня ничего не осталось от той обиды, что была в овраге. Я ему так тогда ничего и не сказала.

Он стал копать быстро и ровно. Мягкая сыпучая земля, казалось, сама распахивалась перед его лопатой, а картошки... Ну, прямо Млечный Путь на земле! Наполнив ведра, я бегала ссыпать картошку в кучу, не успевала за ним, а он, видя это, копал еще быстрее. И один раз, когда я бежала с пустыми ведрами, он остановил меня со смехом. В руке он держал большую картошку, похожую на фигуру человечка.

«Смотрите, картошка — точь-в-точь наша Алымова!»

Он имел право говорить все, что придет ему в голову, смеяться, шутить вот так, сравнивать свою ученицу с картошкой. А я ничего этого не могла делать. А слова у меня тоже были, и шутить я тоже могла, но не имела права: он был учителем, а я ученицей, он был мужчина, а я — девушка.

Теперь эта старая его шутка не кажется мне такой забавной, но тогда я не обиделась на него, хотя многие школьники смеялись надо мной. Но душа моя тоже смеялась тогда, ей было хорошо и легко: кто из моих одноклассниц не хотел бы, чтобы Хамалай Жарахматович обратил на нее внимание, шутил бы с ней? Пусть даже сравнивал бы с картошкой!

После этого дня вся моя жизнь еще больше стала походить на перетянутый через пропасть канат. Видеть его мне хотелось все время, а когда видела его — терялась. Его внимание ко мне поднимало меня в собственных глазах, я гордилась собой. Каждое его слово было мне приятно, заставляло думать, вызывало желание быть достойным его.

На выпускном вечере он пригласил меня танцевать и шепнул на ухо:

«Поздравляю тебя. Ты — белое чудо!.. — А потом сказал: — Я тебя люблю! Выходи за меня замуж!»

Эти слова он сказал уже громко, не скрывая ничего от других своих учениц, — даже так, чтобы все вокруг услышали. Подружки мои ахнули от удивления, я опустила голову. У меня так застучало сердце, что я забыла о танце. Может быть, мне следовало поблагодарить его и дать согласие... Но я тогда растерялась, мне казалось, что он должен был сказать

другие слова и совсем не так громко. У меня даже такое чувство появилось, что слова эти сказал не чуткий и добрый Хамалай Жарахматович, а кто-то другой, незнакомый мне. Неожиданно для себя я выпалила:

«Женитесь на картошке!» Отомстила-таки!

Это было похоже на отказ. А поскольку он сделал мне предложение во всеуслышанье и был так уверен, что ошастливил меня, а все вышло по-другому, — в глазах всех, кто был на школьном балу, он пал очень низко. Мне стало обидно за него, зачем он сам поставил себя в такое глупое положение. Впервые я почувствовала, что могу помочь ему, и поспешно сказала:

«Замуж мне рано выходить, я учиться буду...»

«На кого же ты хочешь учиться?» — спросил он — уже не так громко.

«Не знаю... — Я действительно не знала еще тогда, куда пойду учиться. И мне любопытно было узнать его мнение. — Что вы посоветуете?»

«Ты же не принимаешь то, что я советую».

«Советуйте, разумное — и я приму».

«Разве то, что я сказал тебе, неразумно? — удивился он. — Или я недостойн тебя?»

«Это я недостойна вас, — сказала я искренне. — Мне еще надо учиться и учиться... — И тут я вспомнила, что один мой одноклассник, любимец Хамалай Жарахматовича, собирается в Тимирязевскую академию. Он мечтал стать зоотехником — и я, смеясь и озорничая, сказала: — Хочу поступить в Тимирязевскую академию... Выучусь на зоотехника».

Вот тут он расхохотался. На нашем вы-

пускном вечере это был самый громкий смех. Я не на шутку обиделась.

«Над чем вы смеетесь? Что я такого смешного сказала?»

Но он не стал отвечать. И мы долго потом не встречались.

Бывают, наверно, такие переломные минуты в жизни каждого человека, когда случайная шутка оборачивается вдруг правдой и предвиденьем. Я тогда пошутила насчет Тимирязевской академии, сама же подумывала идти в торговый институт, а он своим смехом решил все. Если бы он тогда не расхохотался так презрительно, так открыто и с таким мужским неприятием не выразил своего отношения к женскому вмешательству в область мужского труда, я бы, наверно, никогда не подумала о Тимирязевской академии. Но он засмеялся и сказал своим смехом, что женщине полагается быть женой, а не зоотехником. И еще сказал, что другой такой блестящей партии, как он, у меня не будет. Если я отталкиваю от себя счастье, так легко пришедшее ко мне, то очень скоро пожалею об этом.

Смех этот звучал у меня в душе и унижал в собственных глазах. Может быть, он тогда и не думал ничего такого, когда смеялся, но мне все представилось именно так. И чтобы доказать ему, что он зря смеялся надо мной и унижал меня, считая недостойной заниматься значительным и трудным делом, — я на другой же день после выпускного вечера, послала документы в Москву, стала зубрить, как никогда раньше не зубрила, выдержала все экзамены и поступила-таки в Тимирязевскую академию.

СУДЬБА ЭЛЕКТРЫ И ПОИСК БОЛЬШОГО КОВРА

Хамалай не провожал меня, когда я уезжала учиться в Москву, а через месяц прислал вдруг письмо. Он писал о своей любви, называл меня упрямой, жестокой. Снова все всколыхнулось во мне, я даже почувствовала себя в чем-то виноватой перед ним. И в то же время что-то мешало мне повиниться, и на письма я не отвечала. Писала, а потом рвала их...

А зимой, когда я сдала зимнюю сессию, Хамалай приехал ко мне в Москву.

Вы знаете, что значит поддержка опытного, умного друга. Эта поддержка воодушевляет, но она же и обязывает тебя тянуться за ним. С первых дней нашей дружбы я начала мерить себя его меркой, сравнивать свои поступки с его поступками. Я считала Хамалая человеком большой культуры и старалась быть достойной его дружбы. А когда он приехал ко мне в Москву, я увидела его совсем иным. Он сильно изменился, очерствел и уже не умел разговаривать со мной на равных. Теперь он лишь диктовал и хотел, чтобы каждое его слово было для меня законом.

Я предложила ему, чтобы он поселился у нас в общежитии, с нашими ребятами. Но он наотрез отказался, снял номер в гостинице и позвал меня к себе: «Если любишь — будешь вместе со мной». Я сказала, что это глупость, и не согласилась жить вместе с ним в гостинице. Тогда он стал обвинять меня во всех грехах и даже пожалел, что приехал.

Трудно мне было. С одной стороны, я боялась, что он уедет и больше ко мне не вернется, — и ругала себя за то, что не верю ему, иду против него. Но с другой стороны, сердилась в душе, он должен был бы беречь меня, а он требует, чтобы я перебралась к нему в гостиницу, — ведь знает же, какой это позор для горянки. И в непостоянстве я его обвиняла: тут он слишком уж современен, а во многом другом покорно следует старым законам нашего быта..

Тогда у нас в Москве гостил Пирейский театр. Есть, оказывается, в Греции такой город и такой прославленный театр греческой драмы. До этого я и слышать не слышала об этом театре, а он был очень знаменит: вся Москва говорила тогда о его спектаклях: «Электре» Софокла и «Медее» Еврипида. И случилось так, что мои подружки достали два билета на «Электру» и подарили мне, чтобы я смогла сходить в театр с Хамалаем.

До самого вечера я жила радостным ощущением того, что смогу наконец увидеть этот прославленный театр, соприкоснусь с этой страстной двухтысячелетней жизнью и увижу все это вместе с Хамалаем. Наши студентки тормозили меня, называли счастливой, предлагали свои платья. Так, не помня себя от радости, я приехала к нему в гостиницу. Зачем я ликовала в тот день? Ради чего лишила подруг той радости, которая принесла бы им счастье? То, что я открыла в театре, и то, что случилось потом, двумя тяжелыми грузами легло на мои плечи.

«Кончай ты со своим театром! — вот что сказал Хамалай. — Мне тут делом надо заниматься, ковры искать, а ты...»

Я чуть не заплакала от обиды.

«Из-за твоей зоотехники мы нашу судьбу связываем со скотом, а не с театром!» — сказал он еще.

Я села на кровать. Не села, а упала: вдруг отвялились ноги. Хамалай долго молчал. Наверно, и ему было неловко оттого, что сказал мне слишком жестокие слова. Я же достала билеты, хотела их порвать. Но он выхватил их у меня.

«Пойдем искать ковры», — предложила я.

«Завтра! — Он сел рядом со мной — добрый, кающийся. — Не сердись».

Мне показалось, что возвращаются лучшие наши дни: сейчас мы помиримся и больше никогда не будем ссориться.

«Наверно, я глупая: ничего не понимаю...»

«И я не лучше», — согласился Хамалай.

Мы пошли в театр. Нет, судьба Электры не взволновала Хамалаю. Он остался холодным и равнодушным к ее боли и протесту, к ее слезам над извращенным и поруганным мировым порядком. Сначала мне показалось, что он просто испытывает меня. Но нет, он не испытывал, как не чувствовал никакой боли от увиденного. Другое тогда занимало его.

После спектакля мы забрели на набережную и долго шли, не зная, куда идем. Молчали. Каждый был занят своими мыслями. Хамалай дулся, я злилась. Казалось, мы никогда не дружили и не любили друг друга. От этой мысли стало страшно. Я почувствовала вдруг себя одинокой и машинально взяла его под руку. Он никак не ответил. Я прижалась к нему, стала поддразнивать.

«Перестань», — сказал он.

«Не перестану!»

Он вдруг расхохотался — как тогда в школе, обнял меня своими сильными руками, прижал к груди и долго молчал. О чем он думал тогда — не знаю. Но сердце его билось учащенно, в тот час оно было искренним и полно мною, — это точно.

«Я тебя люблю», — сказал он мне в плечо.

Я прижалась к нему, но словами почему-то ничего не могла сказать. Хамалай победоносно усмехнулся. Он считал себя гордым человеком, но на самом деле таким не был. Гордость он понимал как-то по-своему и, как я теперь вижу, упрощенно. Он прямо-таки боготворил гордых людей и этой чертой своего характера очень дорожил. Скорей всего он был чувствительный, мягкий человек... Нет, это тоже не совсем подходит. По-моему, в нем как-то странно сочетались мягкость и себялюбие. И постепенно себялюбие брало верх, и это меня тревожило.

«Себя ты любишь больше», — сказала я тогда.

Он задумался, словно я задала ему трудную задачу, и ответил оскорбленно:

«Не больше, чем ты себя!»

И тут же оттолкнул меня и ушел. Я глядела ему вслед. Он уходил все дальше и дальше, убыстряя шаг. Потом остановил такси и уехал. Я еще долго стояла на том месте, где он бросил меня, не зная, что делать. Ночная Москва затихала, людей на улицах становилось все меньше.

Потом все было со мной как во сне. Я куда-то шла и тоже остановила такси. Не помню, как я сказала адрес нашего общежития, и до-

рогу не помню. Перед моими глазами все стояла спина Хамалая, когда он уходил от меня. Вся наша размолвка казалась мне теперь ужасно глухой, и винила я только себя одну. Когда шофер сказал: «Приехали», — я поняла, что не смогу войти в общежитие. Меня тянуло совсем в другую сторону, надо было сейчас же ехать к Хамалаю, — иначе я поступить не могла, просто не имела права...

Шофер пробормотал что-то оскорбительное, по отказываться не стал. А когда машина остановилась возле гостиницы, я замешкалась, долго не могла решиться выйти. Шофер распахнул дверцу, почти силой вытолкнул меня из машины и, ни слова не говоря, уехал. Я еще минуту постояла и нерешительно направилась к входным дверям в гостиницу. Но тут в стороне на скамейке заметила человека, сидящего уткнувшись в воротник пальто. «Он?» Я шагнула к нему, подошла ближе. «Да, он!» Я бросилась к нему, стала обвинять, гладить по густым замерзшим волосам...

Утром Хамалай показал мне список вещей, которые он собирался купить в Москве, — большой список, наполовину уже вычеркнутый.

«Кое-что я уже купил... — Он брился электробритвой, и слова его тонули в шуме. — Надо готовиться. В Ак-Сырте я строю самый большой дом. Двухэтажный. Надо же обставить... И мать моя заботится. Нужны ковры. Два она купила уже. Нужен третий — большой, без него мать наказала не возвращаться... На всю стену в нашу комнату, а ты не радуешься... Я уже дал одному типу пятьдесят рублей, обещал достать. — Он кончил бриться, подошел ко мне. — Знаешь, Марзиат-

на, что я сказал себе? Я сказал себе: «Вперед без страха и сомненья!»... Я тебя люблю, и ты должна... просто обязана быть самой счастливой женщиной на всем свете. Слышишь?»

А я хотела слышать не это, совсем не это. Я любила одного человека, а передо мной стоял другой, и слова эти говорил этот чужой и далекий, закрывающий собой моего любимого. Занятая поиском своей потери, я ничего не могла сказать этому чужому человеку. Мне хотелось найти моего Хамалая, услышать его искренние слова любви, видеть его, чувствовать его тепло. А этот человек, так жестоко обокравший меня, ничего не хотел знать о моей тревоге и пустоте, в которую вверг меня, говорил и говорил, ушываясь собой и своим богатством. Размеры его ковра разрастались, охватывали чистые, нетронутые области моей души, и на фоне этого вселенского ковра я становилась малюсенькой, — ну, точь-в-точь незаметная клякса на цветном огромном ковре.

Я поняла: после этой ночи все сомнения покинули Хамалая, и он теперь уверен, что дальше все у нас будет так, как он захочет. А мне хотелось только одного — чтобы поскорей кончилось это утро, весь этот день, чтобы он поскорее купил свой великолепный большой ковер и уехал отсюда. Да, только одного этого я и хотела тогда.

И при всем том я видела, что он меня любит, — по-своему, но любит. Любит как свою вещь. Он даже не замечал, как на каждом шагу унижает меня такой любовью. Ему было сейчас хорошо, он был на вершине своей гордости и считал, был прямо-таки убежден, что уже по одной этой причине мне тоже должно

быть хорошо. А мне впервые не хотелось спорить с ним, доказывать свою правоту. Я знала, что ничего ему сейчас не докажу, и только старалась не встречаться с ним глазами, чтобы не выдать себя.

Так, непрерывно болтая и совсем не замечая моего состояния, Хамалай умылся, оделся. В сером костюме и модной рубашке в горошек он стал еще более красивым и... чужим для меня.

«Позавтракаем внизу, — сказал он непривычно ласково: я была сейчас его любимой вещью, а с вещами — тем более любимыми — надо обращаться заботливо. — Вперед без страха и сомненья!»

И мы вышли из номера.

8

ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ — ОДИНОЧЕСТВО

Теперь весь этот мир принадлежал и мне. Рассказав о себе так искренне и откровенно, Марзиат сделалась мне еще ближе и роднее. Я хотел каждый день видеть ее, бесконечно смотреть на нее, говорить ей самые нежные слова, какие только знал. Я терялся в догадках, каково ее истинное мнение обо мне, но продолжал навещать ее, говорил о разных мелочах, пытаюсь скрасить больничную жизнь Марзиат. Каждый день я собирался сказать о своей любви и каждый раз робел. Обычная моя смелость пропадала, как только я начинал подбирать слова.

А в этот раз она заставила меня долго ждать. Что только не передумал я, пока стоял

у больничной ограды, а когда Марзиат вышла заплаканная, я испугался.

— Что случилось? — крикнул я нетерпеливо еще издали.

— Старушки нашей не стало...

У меня отлегло от сердца. Об этой старушке я знал. Марзиат заботилась о ней, просила и меня приносить ей передачи. И теперь я почувствовал облегчение, узнав, что с самой Марзиат ничего не случилось.

В палатах все места были заняты, и старушка эта лежала в коридоре. Это была маленькая сухая женщина с глубоко запавшими глазами. Жидкие, совсем белые волосы еле покрывали маленькую высохшую головку. казалось, в ней не было никаких признаков жизни. Однако, когда она начинала стонать, все больные выбегали из своих палат. Стонала она не как больная женщина, а как озлобленный человек. Она проклинала все на свете, даже своего бога. Называла его глухим, немым, черственным, даже пьяницей, — и в конце концов низвергала с небес.

Что у нее болело? Трудно сказать. По моему, врачи и сами не в силах были поставить точный диагноз. Скорее всего — у нее болела душа. Но в больницах это не берется в счет, и тут никакой врач не в силах помочь больному. Просто это не входит в их обязанности. Наверно, поэтому все они требовали терпения от «бабушки». «Потерпите, бабушка», — говорила каждая медсестра, каждый врач, даже техничка. И это угнетало старушку: после их успокоительных слов она металась, плакала. «О, боже, проклятый! — кричала она. — Неужели тебе жалко взять мою душу к

себе? Ведь я хочу умереть, как ты этого не понимаешь! Нет у меня никого — ни сыпоев, ни дочерей... Все они разлетелись... Вот так...» Она смеялась и начинала изображать летящую птицу.

В минуты успокоения она становилась доброй, умной. Трезво рассуждала о жизни, ласково справлялась о самочувствии больных, желала им скорейшего выздоровления. Потом рассказывала о своих детях: какие они замечательные, как хорошо работают, как дружно живут. И глаза у нее тогда светились, она становилась сильной, обаятельной. А потом вдруг снова начинала плакать и проклинать бога.

Несмотря на эти истерики, все больные жалели ее, ухаживали за ней, особенно Марзиат привязалась к старушке. Она кормила ее, делилась всем, что ей самой приносили, массирувала старушке руки и ноги. Марзиат вообще не умела сидеть без дела, выискивала себе занятия и охотно, по-крестьянски бралась за любую работу и заботилась о всех, кому сочувствовала.

Большую навещала одна старая женщина, — видимо, подруга. Однажды, когда та пришла, Марзиат попросила достать ей адрес детей старушки. В тот же день женщина выполнила ее просьбу и по телефону продиктовала адреса.

— Ох, и напишу я им! — сказала мне Марзиат. — Конечно, теперь они ей не нужны, она может умереть не сегодня-завтра, но пусть совесть мучает их, пусть она их карает. Никогда не прощаю тех, кто забывает свою мать.

Днем Марзиат написала всем неблагодарным детям по письму, а вечером старушка начала бредить, метаться. Мать, воспитавшая

четырёх детей, выведшая их в люди, отдавшая им всю свою силу, умирала в одиночестве. Из этого мира она уходила тихо, незаметно, со своими несбывшимися надеждами и сердечной болью, не веря в собственную смерть. Не помня, что когда-то жила, любила, тосковала, танцевала, плакала.

И не было рядом никого из родных, кто мог бы оживить в ее душе все это. Рядом была только Марзиат с заплаканными глазами, раньше совсем ее не знавшая, но остро чувствующая любую потерю. Она закрыла веки чужой матери и искренне пожалела детей этой старухи: их ждет такое же одиночество, тоска по своим детям, жажда ласки и ответного чувства признательности и в конце концов — одинокая смерть с открытыми глазами, до последней секунды ищущими над собой родное лицо, родные слезы, но так и не находящими их. Детей ждет точно такая же участь, в этом Марзиат не сомневалась, ибо внуки платят отцу с матерью той же монетой, какой те отблагодарили своих родителей.

Марзиат плакала горько, сама не создавая того, что оплакивает сейчас всех забытых матерей на земле.

Старушка умерла ранним утром. Когда днем пришли ее родные, Марзиат отдала им свою зарплату, которую накануне принес ей колхозный кассир.

— Эти деньги оставила бабушка, — солгала она, — и просила передать родным, если умрет. Видимо, берегла для похорон...

Я слушал Марзиат, но думал совсем о другом. Говоря о старушке, она отдаляла рассказ

о себе. А мне хотелось как можно больше знать о пей, и я, стыдясь, торопил ее:

— И все же почему вы стали работать на ферме?

— Бедная... — шептали губы Марзиат.

Она все еще была со старушкой этой горькой ночью. Меня это начинало раздражать.

— Ладно, — сказал я, — тут уж ничего не исправить.

— Вы ничего не знаете. Вы не смотрели смерти в глаза, не видели, как умирает человек.

Я ожесточился душой.

— Хорошо, что умирает... Что было бы, если б не умирали? — А когда Марзиат широко раскрытыми глазами посмотрела на меня, добавил: — Знаете, какая из наших здравниц мне больше всего нравится? «Пусть ваш двор никогда не останется без похороп!»

— Какая жестокость...

— Замечательная здравница, под стать сильным людям. Ведь где нет людей — там не может быть похорон... Но я все же больше люблю свет.

— То-то же, — примирительно сказала Марзиат.

9

РАВНОВЕСИЕ НА КАНАТЕ

Летом Марзиат приехала домой на кашикулы. Чтобы поближе ознакомиться с работой зоотехника, попросилась на ферму. Хамалай с первого же дня был против этого.

— Не позорь себя и меня, — горячо говорил

он. — Что скажут люди? Учишься в Москве, а сама на ферму пошла коров доить. Зачем тебе эта грязная работа?

— Грязной работы нет, — ответила Марзиат. — Разве девушки, работающие на ферме, хуже нас?

Хамалай прервал ее и сказал убежденно:

— Каждому свое. И зачем ты сравниваешь себя с этими тушицами?

— Там есть девушки грамотнее нас!

— Тоже мне, скажешь...

— Пойдем, познакомимся с жизнью доярок на ферме.

— А потом — не пойти ли самому туда! — усмехнулся Хамалай. Улыбка сошла с его лица, и он сказал уже серьезно: — Нет, моя Марзиат, сам не пойду и тебя не пущу. Нам надо сыграть свадьбу и провести наш медовый месяц на берегу моря. Попутешествуем, увидим новые края! Ради чего тебе возиться здесь по пояс в грязи? Носить резиновые сапоги есть кому и без тебя.

Чем больше Хамалай противился, тем сильнее Марзиат хотелось переубедить его. Она все больше убеждалась в том, что не отступится от дела, за которое взялась. В последнее время Марзиат все чаще задумывалась о том, достаточно ли мы все искренни, когда говорим о преданности Родине, о коммунистическом отношении к труду. Вот ведь и Хамалай учит школьников честности, преданности нашему делу, а работа на ферме для него грязная, недостойная его подруги.

Сначала она думала, что он считает себя патриотом и хочет быть первым в любом деле, — вот это и есть его сущность. Но все было

не так. Хамалай совершенно не придавал значения своим словам, да и тому, что говорили другие. Открывая его с этой стороны, Марзиат приходила в замешательство. «Неужели он на самом деле так думает? Или это голос совершенно чужого человека?»

— Патриотизм — требовательное чувство, — сказала она однажды. — Родину нельзя обмануть высокопарными словами. Ни заверения в любви, ни громкие слова о верности мы же не говорим своим матерям. Мать ждет от детей прежде всего поступков. И любовь нельзя подделывать — она проверяется делами.

— Школьница моя! — умилился Хамалай. — До чего ты наивная!

Он хотел обнять ее, как обнимают дурочку, чтобы посмеяться над ее вообще-то верными, но сейчас совершенно неуместными рассуждениями. Марзиат сразу почувствовала это и отстранилась от него.

— Ты не смейся. Ведь это подло, подло... говорить одно, думать другое, делать третье. Это же страшно, так страшно... Или ты всем врешь? И мне тоже?

Хамалай даже не попытался ее успокоить, опровергнуть ее подозрения. Он сидел рядом на камне, как «Мыслитель» Родена — умный, красивый и ничуть не тронутый упреками любимой женщины.

— Если ты не перестанешь, я тебя брошу! — сказал он, улыбаясь.

Марзиат вздрогнула и почувствовала себя на зыбком канатном мосту, переброшенном через бурную мутную реку.

Солнце опускалось к горизонту. Его слабые лучи тянулись через ветви деревьев и теря-

лись в траве. Подул прохладный ветерок. Он играл густой шевелюрой Хамалай. Казалось, этот нежный ветерок успокаивал не встревоженную Марзиат, а его. Но Хамалай ничего не замечал.

— Ты же знаешь, я хочу быть зоотехником, — напомнила ему Марзиат. — Почему же ты идешь против моего желания? Не зная всех повадок животных, не познакомившись с жизнью животноводов, как смогу я осуществить свою мечту? Так кто же, если не мы, принесет на фермы все новое и хорошее, что есть в нашей жизни? Кто, как не мы, должен ликвидировать понятия «чистый» и «грязный» труд? Зачем мы должны оставить это идущим вслед за нами? Плохое не оставляют! Почему говорят, что девушки на ферме только и знают убирать навоз за коровами? Странно ведь получается, Хамалай. Вот пить молоко ты не прочь, а доить коров, по-твоему, позор...

Она знала, что говорит сбивчиво, неубедительно. Но не находила других слов, не знала, как переубедить любимого в его неправоте. Марзиат чувствовала себя беспомощной. Простые и сильные слова не шли на язык, а те, что она говорила, казались вычитанными в книге, продиктованными ей кем-то. И хотя она глубоко верила в смысл этих слов, в ее произношении они теряли многое и казались нетакими достоверными.

А главное, после этих слов Хамалай молча ушел от нее. Недели две он не искал с нею встреч и не упрекал ее, а потом слова заговорил о своей любви. И тогда Марзиат неожиданно для себя сказала, что она окончательно решила остаться на ферме.

В тот вечер они собирались пойти в кино, но пришли на берег реки. Луна висела на краю скалы, а ее отражение быстро, против течения, плыло в реке. Холодная и злая река смывала добрую луну, а та не поддавалась — стойко плыла против течения. Знали об этом поединке вершины гор или не знали, но были задумчивы в этот вечер. Видели они и луну, висевшую на краю скалы, и вторую луну, плывшую против течения, видели и хитрость реки, норотившей смыть луну, видели они и этих молодых людей, любящих друг друга и оттого мучающих друг друга. Видели горы все это, но вмешиваться не хотели: для них это было слишком мелкое дело. Что там луна, что там река — пусть даже она смывает луну. Что там какая-то девушка, полная светлых побуждений, влюбленная, разрывающаяся между любимой работой и любимым человеком. Горы были слишком высоки, чтобы думать о ней и о нем и о том, почему люди бегут с ферм, почему осуждают тех, кто стремится на ферму, и почему мир и согласие в семье связаны с тем, чем хочет заниматься человек...

— Марзиат! Мы вместе — и я счастлив, — сказал Хамалай, глядя прядь ее волос, упавшую на лоб. — Без тебя я был бы похож на иссохшее дерево.

А Марзиат молчала. Ей хотелось сказать: «Если ты меня любишь и жить без меня не можешь, то зачем слушаешь меня, глупую, а не увезешь к себе домой?»

— Мы до самой смерти будем любить друг друга, Марзий!

— Не говори! Давай помолчим. Прислушайся к тишине.

— Слышу биение твоего сердца, Марзий!

— И я...

— Мы будем счастливы! Я тебя украду.

— А ты меня уже украл, — сказала она и почувствовала себя шеловко.

Они помолчали.

— Марзий, как я теперь буду без тебя? — грустно спросил он немного погодя. — Ведь скоро ты уедешь... — Хамалай будто и не слышал о том, что она решила остаться на ферме.

В глубине души Марзиат и сама до конца не верила, что поступит так и пойдет наперекор любимому человеку. Она ждала, что он назначит день свадьбы, — и тогда для нее потеряют весь смысл и академия, и ферма, и все, что существует в мире вне Хамалая.

Несмотря на все свои гордые мысли о женском равноправии, которое дает ей возможность выбрать себе в жизни дело по душе, — иногда ей так хотелось махнуть на все рукой и плыть по течению, как до сих пор поступали десятки ее односельчанок. Почему им всем можно, а ей нельзя? Марзиат сама не любила себя в эти минуты слабости, но минуты эти нет-нет да накатывали на нее. И сейчас она сказала упрямо — не так даже в пику Хамалаю, как назло себе.

— Никуда я не уеду. Буду работать на ферме и учиться заочно.

— Нет, ты будешь моей женой, — возразил Хамалай. — Меня хотят забрать в район, и мы уедем отсюда.

— Там меня ждет почет и блестящее окружение? — насмешливо спросила Марзиат.

Он не услышал в ее словах иронии и сказал:

— У тебя будет своя машина. Я устрою тебя на такую работу...

— Хамалай, откажись от всего этого, — взмолилась она. — Ты хороший учитель, зачем тебе район?

Он удивился:

— Слушай, Марзиат Алымова, ты на самом деле глупая или разыгрываешь меня? В наше время так думать — идиотство.

Ей стало холодно, словно ее окатили ледяной водой.

Луна по-прежнему висела на краю скалы, — еще чуть-чуть, и она свалится. Но все же она была счастлива оттого, что ее отражение плыло против течения. Если даже свалится — ничего, она испытала радость борьбы с потоком.

А на берегу несколько долгих минут длилось тяжелое молчание.

— Ты любишь меня? — спросила Марзиат, спросила очень серьезно. Раньше она никогда так не говорила с ним, ибо никогда не сомневалась так, как усомнилась сейчас.

— Неужели ты еще сомневаешься! — проговорил он оскорбленно, отвернулся и закурил.

— Я тебя не люблю, — сказала она. — Оказывается, я тебя не люблю, — еще сказала. — Думала, что люблю, а не люблю.

— Так я и поверил тебе! Скажи лучше — разлюбила.

— Так почему же тогда все то, что мне дорого, не дорого тебе? Почему, любя меня так горячо, как ты уверяешь, остаешься равнодушным ко всему тому, к чему я стремлюсь?

— То, что тебе дорого, дорого и мне, — проговорил он очень искренне.

— Все слова, слова, слова... — Она подавила в себе обиду, не дав родиться слезам. — Дом у тебя есть в конце концов? Есть дом у тебя?

Вот здесь Хамалай растерялся. Когда она сказала «не люблю» — он еще выдержал, а теперь опешил.

— При чем тут дом? — изумился он.

— Чтобы жечь его, жечь! — крикнула Марзиат. — Жечь твое благополучие, твою ложь, трусость, тщеславие...

— Марзий! — Он закрыл ей рот рукой и прижал к себе. — Перестань. Ты с ума сошла, перестань! Жги все, жги, только себя не сожги.

Слезы Марзиат нашли себе дорогу. И оттого, что она не хотела дать им волю, они стали обжигать ей лицо, — обжигать и колоть. Они кричали ей, что Хамалай давно уже перестал заботиться о том, что для людей превыше всего. О том, что он перестал расти, перестал думать, перестал уважать людей. Ты помнишь, каким он явился в село? Тогда все завидовали ему, все школьники ему подражали. Для всех он был тогда самым замечательным человеком в ауле. А теперь он — кто? Для него существуют только деньги, вещи, легковые машины. А ты говоришь ему о честности, об ответственности перед людьми, о культуре... Да плевать он хотел на все это!

У Марзиат закружилась голова. Никогда бы она не подумала, что может так жестоко обидеть Хамалаю, сказать ему так много горьких слов, — наверно, он и не все эти слова заслужил. Но поступить иначе она не могла. Это мучило ее давно, накапливалось в душе, — и рано или поздно ей надо было высказать все.

А он стоял, как надгробный камень, весь ушел в раздумье. И длилось оно долго. Марзиат даже забеспокоилась и стала ругать себя за излишнюю дерзость. В эту минуту ей казалось, что Хамалай, если он настоящий мужчина, распрощается с ней и уйдет. Но он и не думал сердиться. Высохли слезы у Марзиат, их холодные и соленые следы обрывались у губ, и она чувствовала их горечь. И оттого, что Хамалай не сердился на нее, и оттого, что кончались слезы, и оттого, что были высказаны мучившие ее слова, — на душе Марзиат стало пусто. Ей стали вдруг ненавистны и ферма, и академия, и луна, уже поднявшаяся над ущельем, и река, переставшая смывать луну. Она спросила:

— Не пора ли нам домой?

Он поднял голову и сказал с тоской:

— Ты ангел, Марзиат... Ты ангел...

Наверно, где-то в глубине души он понимал правоту Марзиат. Но подчинившее весь его разум желание жить *для себя* не давало ему примириться с ее правотой. За эти годы он посолиднел, обзавелся представительными друзьями. Вот ему и хотелось, чтобы и дом у него был большой и внушительный, и жена его была бы красивой и не работала на ферме. И вообще крестьянские привязанности Марзиат никак не соответствовали набирающей силу карьере Хамалая Жарахматовича и не сулили в дальнейшем никакой помощи в его стремлении оторваться от давно уже осточертевшего ему крестьянского пупка. Марзиат обвиняла его в пустословии, но он уже не раз задумывался обо всем этом, — потому и со свадьбой не спешил.

Больше они не сказали ни слова друг другу в тот вечер. Он проводил ее до дома, пожелал спокойной ночи и ушел.

В эту ночь Марзиат не спала. Не было теперь у нее никаких желаний, не ее звали светлые и дальние дороги, не к ней были обращены высокие слова. Она была всего-навсего крестьянской дочерью, по своей глупости вздумавшей стать специалистом и женой, — хорошим специалистом и хорошей женой. По своей глупости решившей закончить вуз в Москве — на радость любимого и на радость своего родного Ак-Сырты. И на благо любимого и во славу Ак-Сырты вытравить запах навоза из слова «ферма». Как могла она всерьез думать о племенной работе, о кормах, об учебе доярок и улучшении всей их жизни. Как могла поверить, что, не на словах, а на деле создавая новую жизнь в Ак-Сырте, можно в то же время оставаться женой, с которой преуспевающему мужу не стыдно показаться на людях, которой и самой не стыдно просто жить, строить свой уют и счастье, любить и быть любимой, воспитывать таких же скромных, правдивых и целеустремленных детей... Нет, эта дорога для больших людей. Она же была маленькая, слабенькая, немощные крылья ее не годились для полета. И то, что она не спала сейчас и ворочалась в постели, что от тоски и боли у нее сжималось сердце, — это тоже ничего не стоило, никого не волновало.

И сказаны были в ту ночь в их доме слова — всего лишь пескoлько неосторожных злых слов. Ее невестка, которая, как казалось Марзиат, всегда так хорошо к ней относилась и про которую она думала, что другой такой

чуткой и отзывчивой женщины нет на всем свете, сказала своему мужу — брату Марзиат:

— И без нее у меня хлопот хватает. Выдавай ее поскорей замуж...

И в свете этих простых и беспощадных слов сразу же детской игрой стало выглядеть все то, что Марзиат говорила Хамалаю, и то, что она минуту назад говорила себе самой. Житейская правда была суровой и не так красивой. Да, хватало забот у невестки и без нее. Ведь недешево стоило кормить и одевать студентку в Москве... И не было разве ответом на ее слова такое красноречивое молчание брата? Разумным и верным ответом...

Горький далекий крик оглушил Марзиат, и эхо его долго потом шумело в ушах. Она ругала себя за то, что ни разу не подумала, не догадалась: сколько было переводов ей — столько же и упреков брату... Было пусто в ночной темноте, пусто и на душе. И впервые с новой силой, неведомой ей прежде болью Марзиат почувствовала смерть матери. Был у нее хороший добрый брат, была по-своему хорошая, любящая мужа и своих детей невестка, но не было матери... Не было матери — она всегда должна помнить об этом.

Окрепшей, возмужавшей встретила она рассвет.

«Ничего, — сказала она себе. — Пойду к тем, кто живет грубо, трудно, — сказала. — Приму нелегкую, невеселую долю доярок. Стану с ними в ряд, плечом к плечу, и спою утреннюю песню вместе с ними. Говорят, доярки по утрам поют, только в песне этой нет слов и нет общей для всех мелодии. Каждая доярка поет ее по-своему, и каждая выражает

в ней свои сокровенные мысли, надежды, горе. И у меня есть для этой песни свои слова».

Марзиат знала, что начинать себя сызнова не так-то легко. Раз начав новую жизнь, потом нельзя от нее бежать, нельзя закрывать глаза, как Хамалай. Но он не увидит, и никто другой не увидит ни одной слезинки на ее глазах, не заметит, как дрожат ее руки в минуты тоски и усталости. Она преодолет...

10

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ТЕРЯЕМ

Жизнь на ферме шла своим чередом. Дела наши наладились, и постепенно установился порядок. Девочки наши работали не покладая рук: убирали, белили комнаты, повесили занавески на окна, даже заставили ребят покрасить полы. После этого никто из курящих парней уже не осмеливался бросать окурки на пол или сидеть в комнате в верхней одежде, как бывало раньше. Ферма приобретала обжитой и уютный вид.

Жили мы дружно. Ребята помогали нам и охотно выполняли все наши требования. Их было всего трое: вечно спокойный пастух Музафар, подводчик Ильяс, который был самым младшим и выполнял все мелкие поручения, и учетчик Хасан — тоже заочник, хотя никто никогда не видел его с учебником в руках.

Все свободное время Хасан отдавал шахматам. Его соперником был чемпион фермы Чомай — самый старший из всех нас. Как Хасан ни старался, у него ничего не выходило и Чомай побеждал его. После каждой по-

ездки в город Хасан привозил новые книги по шахматам, грозился на этот раз обязательно выиграть. Они тут же садились за доску — и Хасан вновь проигрывал. Чомай играл на редкость спокойно, часто острил и смеялся. Никто из нас не верил, что он рассчитывал ходы наперед.

Как-то он сказал, что в жизни ему пришлось играть не только с людьми в каракулевых шапках, но и в железных котелках, — он имел в виду фашистские каски. Он и тогда не проиграл, а теперь, рассказывая об этом, Чомай помрачнел, его огромные кулаки сжались. Нам показалось, что сейчас он вскочит и разобьет стол и шахматную доску. Но постепенно он пришел в себя и продолжал игру уже спокойно.

Мы знали, что во время войны он был в плену. Но Чомай не любил рассказывать об этом, и мы не настаивали.

Скуки мы не испытывали. Кроме служебных помещений, у нас было еще три комнаты. В одной спали девушки, в другой — мужчины, а третью мы величали нашим «домом культуры». Здесь мы и проводили свой досуг. Днем занимались кто чем, а вечером танцевали, устраивали викторины, спорили обо всем на свете.

У каждого из нас был свой идеал, и никто не хотел уступать другому. Хасан, например, терпеть не мог Маяковского, ничего не знал о Гегеле и Эйнштейне, зато о Капабланке знал все до мелочей. Рассказывал даже, как тот женился и как проиграл ответственную партию. Еще он любил Есенина, Леонова, знал наизусть «Раненый камень» Кулиева. Музафар же всег-

да молчал. Даже играл молча, но в нем было столько обаяния, столько теплоты, что, казалось, мы все играли лишь потому, что играет он.

Кроме того, у нас была довольно большая библиотека. А приобрели мы ее таким путем: в День животноводства нашу ферму премировали, дали сто рублей и одного барашка. Барашка мы, конечно, пустили на шашлык, а на деньги купили книг, — и получилась у нас неплохая библиотека. Был у нас и магнитофон. Хасан откуда-то доставал самые современные записи, так что любая городская девушка могла бы у нас отвести душу. Развлекали нас и самодеятельные концерты. Мы устанавливали магнитофон на запись и уходили из комнаты. Потом заходили по одному и цели или говорили в магнитофон все, что взбредет в голову, а затем все вместе прослушивали, что получилось, и дружно смеялись.

Вот так мы и жили. Я понемногу забывала о своей академии, хотя и переписывалась с подругами, которые сообщали мне все последние новости из Москвы. Мои профессора присылали мне одно за другим задания для самостоятельной работы, а рядом со мной был самый опытный, самый мудрый «мой профессор» Чомай...

Однажды, когда я чистила телятник, к кошу подъехали два всадника. Хамалая я узнала издали. Он очень красиво сидел на коне. Другого я сначала не узнала. Их встретил Хасан, помог спешиться и пригласил в кош.

До приезда Хамалая я считала, что все прежнее во мне уже перегорело и никогда не вернется. А теперь глаза мои вдруг заволкло туманом, голова пошла кругом, лопата выпала

из моих рук, и я побежала к кошу. Я была девочкой,ждавшей возвращения отца с фронта, я была жеребенком, нашедшим свой потерянный табун, я была глухая и счастливая и бежала со всех ног, не помня ни о чем, не зная, для чего бегу.

Когда я стремглав влетела во двор коша, какая-то таинственная сила остановила меня, схватила за край платья и потянула назад. Я чуть не упала. Задыхаясь, краем уха я услышала: «Куда ты бежишь, опомнись, Марзиат! Куда бежишь, потерявшая совесть? Он должен сам бежать навстречу тебе. Где твоя гордость? Что подумают люди?» Голос этот оглушал меня, стыд тянул назад, а я стояла посреди двора, разрываясь между проснувшейся вдруг любовью к Хамалаю и совестью, не могла двинуться с места.

«Зачем тебе такая гордость? — спросил другой голос, когда я все же рванулась с места и шагнула назад. — Зачем она тебе, когда самый близкий тебе человек, которого ты ни на кого не променяешь, здесь? Как можешь ты уйти? Если ты не побежишь к нему навстречу — значит, не любишь его».

Я снова приросла к земле, снова эти силы стали раздирать меня, и никого не было рядом, чтобы помочь.

И тут кто-то окликнул меня. Голос показался мне знакомым, но слышался будто издалека. Это была моя подруга по работе на ферме. Я так была занята единоборством с собой, что не смогла сразу ей ответить. Тогда она взяла меня под руку и повела в кош. Я даже не заметила, как очутилась там.

Человек, который приехал с Хамалаем, был

его дальний родственник Мутай. Он обратился ко мне с веселым приветствием, а с Хамалаем мы поздоровались сдержанно.

Хамалай был сильно выпивши. Я еще никогда не видела его таким. Глаза, ставшие от водки пустыми, светились тоскливо, скучно.

На мне была телогрейка, на ногах — резиновые сапоги. Хамалаю это не понравилось. Он смотрел на меня так, будто не верил своим глазам. Я сделала вид, что не замечаю этого.

Мутай что-то сказал дояркам, и те вышли. Мы остались втроем.

— На кого ты стала похожа, — сердито буркнул Мутай, покрутил свои рыжие усы и прошелся по комнате. Он был среднего роста, плотный человек, всегда довольный собой. По-настоящему я его не знала, знала только, что он дальний родственник Хамалая и тот слушается его советов. — Мы приехали увезти тебя, — сообщил он таким тоном, словно хотел порадовать меня.

— Копаться в навозе — это ее романтика, — проговорил Хамалай.

Его слова как током ударили меня. Нужно было просто уйти, но я не смогла.

— Не думала, что вы приедете сюда ради такого пустяка. — сказала я и нарочно заговорила о своей работе: — Я сейчас из телятника. Телята мучаются, когда грязно. В телятнике должно быть сухо...

— Мы не затем приехали, чтобы толковать о телятах! — сердито оборвал меня Мутай. — У нас совсем другие заботы.

— Вам виднее, — сказала я.

Мутай выразительно посмотрел на нас с Хамалаем и спросил с досадой:

— Вы люди серьезные или нет?

Хамалай молчал. Казалось, он и честь, и достоинство, и все слова свои передоверил Мутая, а самому ему нечего было сказать.

— Вы уже не дети, — продолжал Мутай. — Давно любите друг друга. Хамалай любит — значит, и все мы, его родственники, любим тебя, Марзий. Зачем дело откладывать? А то получается: вы смотрите на нас, ждете, что мы все организуем, а мы ждем, когда вы решите. Нет, довольно. Пора! Начинайте переступать один порог, сидеть у одного очага. Так было испокон веков. Мы не скряги какие-нибудь, свадьбу справим всем на зависть...

Я не слушала его, не понимала, что он говорит. Я смотрела на Хамалаю, а он молчал, склонив голову. Вот наконец пришел день, пришел час, когда он решился. Раньше я часто думала, как встречу этот час, а теперь не знала, как мне быть.

— Хорошее дело не откладывай, говорят в народе, — настойчивей прежнего убеждал Мутай. — Если ты согласна — мы откладывать не будем. Хоть сегодня! — заключил он и победоносно pokrutil усы.

Да, теперь все зависело от меня. Кончились сомнения. Любовь все-таки победила Хамалаю. Вернулись мои самые светлые дни, и я должна была чувствовать себя счастливой, но ничего этого не было. Передо мной сидел совершенно чужой мне человек — чужое лицо, чужие глаза, чужие руки. Даже голос, даже запах у этого человека были чужие. И сердце мое сказала: «Нет!»

Мутай растерялся, как будто камень проглотил. Хамалай удивленно уставился на меня.

Я молчала. Пусто было на душе — оттого и молчала.

— В таком случае поговорите сами, — обиженно пробурчал Мутай и нахлобучил шапку. — Поговорите наедине... Кто может понять нынешнюю молодежь? — И вышел.

— Почему ты молчишь? — очень тихо спросил Хамалай. Встал, подошел ко мне, положил руки на мои плечи. Пухлые, тупые руки. В час слабости пришел ко мне далекий выпускной вечер. Я молчала, преодолевая слабость, вспоминая тот вечер, когда были со мной и эти любимые тогда руки, и мой любимый учитель. А сейчас он сказал: — Дом наш готов, обставлен. Слышала: «Жигули» продал, купил «Волгу»... Как видишь, я верен своему девизу: вперед без страха и сомненья!

— Уберите руки. Я не буду вашей женой, — сказала я и пошла к двери.

Хамалай оттолкнул меня и загородил выход.

— На что ты рассчитываешь?! — закричал он. — Нет, я хочу все же знать, на что ты рассчитываешь?

— Ни на что я не рассчитываю, — ответила я. — Спасибо за честь, но выйти за вас замуж я не могу.

Хамалай впервые поверил, что теряет меня.

— Марзий, не сердись. Я виноват перед тобой, что так внезапно нагрянул. Но, понимаешь, собрались все родственники, они так решили, а я ничего не мог сказать против. Мать велела нам не возвращаться домой без тебя. И вот мы приехали... — Он замолчал, долго мялся, не решаясь сказать то, о чем думал в эту минуту, но наконец осмелелся: — А ты встретила нас в таком виде...

— И ты сразу остыл?! — вышалила я.

— Как мне остыть... — Он посмотрел на меня пустыми глазами.

В последнее время я все больше понимала, что наши пути расходятся. Но какая-то слепая сила, сидевшая во мне, хотела уверить, что это не так, что все у нас еще наладится. Иной раз я даже осуждала себя, думая, что слишком многого требую от него, что в конце концов он любит меня и я должна подчиниться ему. Но дело было совсем не в его любви ко мне. Он все дальше и дальше уходил не только от меня, но и от себя самого. Теперь школьники не льнули к нему, он не возился с ними, не отвечал на бесконечные их вопросы, ничего в жизни больше его не интересовало, кроме своего благополучия.

— Если суждено мне прожить сто лет — сто лет буду ждать тебя! — напыщенно сказал Хамалай. — Если ты так твердо стоишь на своем — то и я стану камнем. И не забывай: люди знают, как далеко зашли наши отношения — и тебе некуда деваться...

— Ни одного необдуманного шага я не сделала, — ответила я не своим голосом. И тут же обругала себя за эти слова: меньше всего мне хотелось оправдываться. Напоследок я сказала запоздалую правду: — Твои потери неизмеримо больше... — и выскочила из коша, побежала куда глаза глядят.

Я бежала как сумасшедшая, ничего не соображая и не видя перед собой. Опомнилась лишь на берегу Черека. Там у реки и наплакалась вволю и выплакала всю свою любовь.

Зла к Хамалаю не было, мне только горько

стало, что я так ошиблась в нем. Я не хотела ему ничего плохого — пусть живет как умест. Пусть только не влюбляются в него больше такие слепые и восторженные девочки-школьницы, какой была я, когда впервые увидела его. Если б я с самого начала знала, каким он станет. — я ни за что бы его не полюбила.

Раньше мне все казалось, что Хамалай не понимает меня, и я терпеливо ждала, когда же он меня поймет. А там, на берегу Череха, впервые ко мне припла догадка: он давно уже все понимает, но никак не может перешагнуть через то, что прочно держит его по ту сторону нашего счастья. Много не пускало его ко мне: воспитание, привычки, боязнь вызвать недовольство своих многочисленных и крикливых подицей. Просто на поверку он оказался слабым и, несмотря на всю свою деловитость и хватку, привык плыть по течению. А ему надо было резко повернуть против течения, но на это у него не хватило мужества. Да, слабый он был, в этом все дело...

А так он все понимал не хуже нас с вами. Да иначе и быть не могло: в конце концов он вырос в наше время, окончил наш университет. Но, видно, одно дело понимать все головой, и совсем другое — сердцем и душой. Хамалай великолепно знал, как должен вести себя передовой человек нашего времени на его месте. И на уроках в школе он всегда правильно говорил о прогрессе, сознательности и горячо клеймил позором постыдные пережитки прошлого. Но все эти знания висели у него лишь на кончике языка, в сердце и кровь они не проникали.

Мы привыкли думать, что разными пережитками напичканы главным образом негра-

мотные старики. Но таких древних стариков, сознание которых складывалось еще до революции, не так уж много осталось, да и по дряхлости своей старики эти не так уж и опасны. Гораздо опасней, когда эти же самые пережитки свили себе гнездо в человеке образованном, иной раз даже с университетским дипломом, как наш Хамалай. Такой человек знает назубок не только балкарскую, но и русскую и всю мировую историю и литературу, очень даже красноречиво может рассуждать о международной политике и Организации Объединенных Наций, о подтексте у Хемингуэя и об этом — как его?.. — Фолкнере. А душа у цветущего этого молодого человека, нашего с вами современника, такая же дряхлая, как у древнего старца. И особенно живучи эти пережитки во взглядах на женщину, на ее место в нашей жизни, в оценке чистой и грязной работы и того, что почетно и чего надо стыдиться.

Я и прежде кое о чем догадывалась, но меня сбивали с толку минуты раскаяния и нежности у Хамалай. Я видела в этой его нежности залог того, что все у нас скоро наладится. А там, на берегу Черека, я окончательно поняла: минуты эти так и останутся минутами, в дни и часы им не дано вырасти. И все последние остатки любви к Хамалаю перегорели во мне. Надеяться больше было не на что, да я и сама не хотела уже ни на что надеяться. Я вдруг сильно устала тогда, будто вручную выдоила два десятка коров или убрала навоз со всей нашей фермы...

Марзиат отвернулась, облегченно вздохнула. Ей безразлично было, слушаю я ее или нет. Похоже, и не мне вовсе она все это рассказывала, а себе самой. Мне же хотелось сейчас под-

бодрить ее, сказать ей самые светлые слова. Но что слова в такие минуты? Журавли в небе, когда они улетают в чужие края.

И еще мне показалось тогда: Марзиат нарочно так категорически говорит о том, что любовь ее к Хамалаю иссякла, чтобы убедить не так меня, как себя. У меня же были некоторые сомнения на этот счет: я знал, что влюбленные частенько принимают желаемое за сущее. Но в конце-то концов мне выгодно было верить — и я не дал своим сомнениям ходу, а с радостью поверил Марзиат: раз она говорит, что с Хамалаем все у нее кончено, — значит, так тому и быть.

11

ПРОВОДЫ

В то время я много думал о Марзиат — и днем и ночью, и на работе в редакции, и дома, в холостяцкой своей квартире. Больше всего я жалел о том, что не знал ее раньше, когда она была школьницей и копала картошку, или чуть позже, когда училась в Тимирязевке. Мы пошли бы с ней на «Электру» — и я не был бы таким толстокожим, как Хамалай. Но в прошлом Марзиат уже ничего нельзя было переделать, — и я уповал на будущее.

А иногда, в самокритичные минуты, я вдруг ловил себя на том, что и во мне самом есть какие-то черты Хамалая. Не то чтоб я был его двойником, — нет, чего не было — того не было. Но все-таки кое-что хамалаевское порой я находил в себе — если не в сегодняшнем, то, по крайней мере, во вчерашнем. Спрашивается, какого черта я стал тогда в Ак-Сырте выведы-

вать у Музафара тайны Марзиат? Ведь в глубине души я совсем по-хамалаевски надеялся, что он сосватает нас! Дальний отголосок Хамалая я вдруг обнаружил в излишней витиеватости отдельных фраз, которые нет-нет да и попадались в моих очерках. В пылу самокритики я даже усомнился, так ли уж на самом-то деле хороша моя любимая сказка о Луче и Росе. Недаром и Марзиат одобрила эту сказку как-то снисходительно, будто похвалила прилежного школяра за пятерку по чистописанию.

Словом, я не на шутку начинал опасаться, что и Марзиат увидит во мне это отдаленное сходство с Хамалаем, — и тогда песенка моя спета. Но она пока ничего не замечала, и я благодарил бога или кто там ответствен за эту ее слепоту. Впервые в жизни мне хотелось быть лучше, чтобы Марзиат никогда не пожалела о том, что полюбит меня. Все-таки я надеялся, что рано или поздно это произойдет. Лучше бы поскорей...

* * *

Марзиат выздоровела, и сегодня ее должны были выписать из больницы. Я не мог представить, как буду жить после ее отъезда в Ак-Сырт. Рядом с ней я как-то крепче стоял на земле, был полон новых идей и журналистских замыслов. А теперь, когда она уедет, мое сердце обмелеет, как зимняя река.

В тот день я пришел в больницу очень рано. Солнце еще только всходило. Желтый свет сентябрьского дня был влажен и петороплив. В ореховом саду я понял, почему так рано пришел сюда. Мне снова захотелось встретиться со

своей сказкой о Луче и Росе. Несмотря ни на что, я был благодарен этой сказке: ведь в ответ на нее Марзиат рассказала мне о себе. Да и не хотелось мне, признаться, уступать эту сказку толстокожему Хамалаю: не дорос он еще до нее!

Моя любовь к Марзиат внесла поправки в сказку. Теперь я уже не думал, как прежде, что любовь — это дар весны. Нет, она не может быть даром весны, она рождается во все времена года. Поэтому и в самой любви есть и зима, и осень, и лето, и весна. И Луч к Утренней Росе не всегда мчится на одном и том же коне. В разное время он седлает разных коней и скачет к своей возлюбленной по разным дорогам. И Роса не только чиста в дрожащей своей прозрачности. В ней растворены все цвета земли, и не всегда Роса знает, каким своим цветом она мила своему возлюбленному.

Так я думаю теперь. И оттого, что я так думаю, судьбы героев моей сказки становятся еще ближе и понятней мне. Став более земными, они приобретают для меня реальный смысл, вызывают во мне горячее участие к себе...

Марзиат пришла в сад, и я сказал ей:

— Пока ждал вас, здесь побывала моя сказка. Оказывается, раньше мне не так ее рассказывали.

— Вот как, — отозвалась Марзиат, и снисходительной усмешки не было в ее голосе.

Мне трудно было отвести от Марзиат глаза. Вся ее красота вернулась к ней только теперь. Глаза ее светились добрым огнем, голос был удивительно чистым. Все, что еще недавно было скрыто в ней болезнью, теперь обнаружило себя. Достаточно было лишь один раз взглянуть на нее — и запомнишь на всю жизнь.

— Вот я и выписалась, — сказала она. —
Скоро должны за мной приехать.

У Марзиат сейчас был такой вид, будто она позабыла все, что с ней случилось, только что очнулась от долгого сна и теперь зачарованно смотрит вокруг, заново узнавая этот мир. Все в ней устремилось навстречу жизни, а я вдруг почувствовал себя одиноким, покинутым.

— Рад, что вы поправились, — сказал я.

— Сегодня день моего рождения — вот вам еще одна радость.

Я пожалел, что не знал этого раньше.

— Поздравляю! Впредь не болеть, молодо и счастливо шагать вам по жизни, — тоном приказа сказал я и добавил: — Я хотел бы быть рядом...

Марзиат не ответила. Любуясь осенним садом, она, кажется, не слышала моих слов. Мы погуляли по знакомым аллеям и подошли к скамейке, где сидели в первый раз.

— Кто знает, может, больше нам и не придется встретиться, — волнуясь, проговорил я.

— Почему же? — возразила Марзиат. — Живые ведь! Если на работе не встретимся — то где-нибудь на свадьбе.

Я хотел услышать от Марзиат совсем не это и сначала обиделся, а потом припомнил, что она находила в себе силы шутить даже и тогда, когда была в тяжелом состоянии, — и все мои обиды улетучились. Но упоминание о чужой свадьбе повернуло мои мысли в другую сторону, и я спросил:

— Женился ли Хамалай?

— Не знаю, не интересовалась, — спокойно ответила Марзиат.

— Ни разу позже не встречались с ним?

Я ругал себя за бестактность и назойливость, но мне позарез надо было задать этот вопрос, чтобы знать, полный у них разрыв или Хамалай все еще на что-то надеется и ждет ее, превратившись в камень на ее пути, как пообещал в разговоре на ферме.

— Да, один раз я его видела, верней — слышала... — неохотно сказала Марзиат. — После того как Хамалай побывал на нашей ферме со своим родичем Мутаем, мы несколько месяцев не виделись. Он больше не приезжал на ферму, а я не навещала в аул — не хотелось встречаться с невесткой... А потом меня срочно вызвал к себе наш председатель колхоза Таубий. Он ко мне хорошо относился, и если у него бывало дело, связанное с фермой, то всегда приезжал сам. А тут вдруг распорядился: «Пусть придет Марзиат».

После утренней дойки на подводах с бидонами молока я доехала до завода, а оттуда на попутной машине добралась и до Ак-Сырта. Тот день хорошо мне запомнился. Я ехала в кузове машины. Наш сентябрь только начинался, горы пахли сеном. Вся щедрость природы раскинулась вокруг — и оттого было хорошо на душе.

Прямо с дороги я пошла к председателю. Он был утомлен какой-то старой, многодневной усталостью. Увидев меня, удивился, словно и не было никакого вызова. «А ты чего здесь?» — было написано на его лице. Но тут же он припомнил что-то, криво улыбнулся и пригласил меня сесть. Он спросил о делах на ферме, — спросил, лишь бы что-то сказать, а сам думал о чем-то другом. Потом стал жаловаться: не все выходят на работу, некоторые косят сено себе,

а колхозу не хотят. Что с ними делать, — в суд не подашь, все же свои, как тут быть?..

«Суд тоже не чужой, а тот, кто в первую очередь косит сено себе, а не колхозу — заслуживает наказания» — так я думала, так хотела ему ответить, по молчала: ясно было, что не для этого разговора он вызвал меня.

— Вот что, Марзиатка, — сказал он наконец. — Ты девушка не глупая. Давай устраивай свою жизнь. Доярку такую, как ты, я найду, а ты такого мужа, как Хамалай, не пайдешь!

«Вот оно что, — подумала я. — Хамалай решил действовать через председателя колхоза!» Это было уже что-то новое. Я сразу представила диалог между директором школы и председателем колхоза:

— Ты знаешь, Таубий, я собираюсь жениться на сестре Мухаммата, — небрежно говорит нашему председателю Хамалай Жарахматович.

— Да, — отвечает Таубий, — у тебя будет упрямая жена. Можно поздравить!

— Но ты сначала должен прогнать ее с фермы, тогда я на ней и женюсь.

— Этого я не могу сделать...

И тут они заспорили, наверно. Точно, без спора у них никак не обошлось. Таубий Хачаев понимал директора и не хотел с ним ссориться, по он знал мой характер и побаивался меня. Пообещает директору устроить его дело, а сам не сможет — куда это годится? Но Хамалай Жарахматович был молод, папорист, шел только вперед, а Хачаев старел, шел уже, как говорится, назад и поэтому сдался, пообещал поговорить со мной...

— Интересно! — сказала я председателю.

— Я тебе не чужой, — стал убеждать меня

Таубий. — Отца твоего хорошо знал, уважал его. Хочу, чтобы жизнь у тебя устроилась.

— Спасибо! — поблагодарила я.

— Со своей стороны могу обещать, что правление колхоза должным образом отнесется к твоей свадьбе — к свадьбе передовой нашей колхозницы...

Я видела, что председатель хотел мне добра, от чистого сердца предлагал устроить мою жизнь. А мне от его доброты становилось плохо. И почему люди так часто и охотно забывают, что у человека есть душа и с ней надо бережно обращаться? Что мне Хамалай со своим самым красивым домом в Ак-Сырте, если моя душа отвергла его?

— Спасибо за участие в моей судьбе, — сказала я на прощанье. — Если не нужна на ферме — поищу себе работу в другом месте. Но за Хамалаю вашего не пойду, — и встала.

Я думала, что на этом и кончатся мои неприятности в тот день, но главная из них поджидала меня дома. Сначала меня накормили вкусным обедом, а потом Мухаммат сказал чужим, незнакомым мне голосом:

— Как твой брат я обязан думать, что виноват во всем Хамалай, а как мужчина и глава нашей семьи считаю: уж очень ты к нему придираешься. Так тоже нельзя: человек любит тебя, готов хоть сейчас жениться, а ты сначала соглашалась, а теперь отворачиваешься. В нашей семье таких непостоянных еще не было. Если бы жива была наша мать...

Он не договорил, но я и так поняла: брат считал, что и наша мать осудила бы сейчас меня. И я почувствовала себя очень одинокой. Это нелегко выдержать, когда все против тебя.

Я твердо знала, что девочки и ребята на ферме целиком на моей стороне. Но знала и то, что в ауле за моей спиной болтали разное, и многие меня осуждали. И не только старики...

Мухаммат стыдил и поучал меня, наставляя па путь истинный, склоняя к смирению и послушанию. А на кухне гремела посудой его жена — одобрительно так гремела, поддерживая своего мужа и как бы намекая: если понадобится, она может еще и не так поучить меня.

Уже смеркалось, по мне стало невмоготу оставаться дома и вообще в ауле, и я пошла пешком на ферму. Дорогу я знала хорошо, не остановил меня и надвигавшийся дождь.

И вот тут, когда проходила мимо клуба, я увидела, как от кассы, купив билеты в кино, отошла парочка. Я узнала Хамалаю и мою односельчанку Зари. Это была стройная, высокого роста старая дева. Работала она в ауле библиотекарем. Говорили, что в свое время она окончила медицинское училище, но не стала работать по специальности. Бывая в библиотеке, я всегда чувствовала ее неприязнь ко мне, но раньше не придавала этому значение.

Они прошли в темноте мимо меня, но я прижалась к дереву, и они меня не заметили.

— Опять о ней думаешь? — обиженно спросила Зари.

— О ком это? — неискренне удивился Хамалай.

Зари разозлилась:

— Не притворяйся! О ком же еще, как не о своей разлюбезной Марзиатке! Ты напрасно считаешь, что я слепая. Раз она для тебя такая хорошая, зачем тогда за мной ухаживаешь?

Кажется, Хамалай не терял времени даром:

нащупывал окольные пути ко мне и предусмотрительно подыскивал мне замену, если со мной у него ничего не выйдет. Наверно, это мать поторапливает его: дом-то стоял готовый и убранный, весь в коврах, а молодой хозяйки в нем до сих пор не было!

— Оставь Марзиатку в покое, — глухо сказал Хамалай. — Если я ее и любил — так совсем немного. Просто привык — и все. Она ведь у меня еще в школе училась...

— Ну, конечно, — подхватила Зари. — Легкомысленные девчонки вам всегда больше нравятся!

И Хамалай согласился:

— Вообще-то она дурочка. Упрямая дурочка — вот и верит всему...

Зари засмеялась, довольная его отзывом обо мне. По всему видать, ей тоже хотелось проехаться на мой счет, но она пересилила себя и сказала великодушно:

— Внешность у нее еще туда-сюда, а вот в голове — ветер. А главное, тебе нужна совсем не такая жена...

Хамалай промолчал. Кажется, он опять по старой своей привычке передоверил другим решать, какая должна быть у него жена...

Вот так мы и повстречались с Хамалаем в последний раз...

Едва я вышла из аула, как хлынул ливень, по домой я не вернулась. И пережить ливень не стала. Да и не смогла бы я тогда спокойно стоять под деревом или навесом: мне надо было бежать куда-то — скорее всего, от себя самой, от той сумятицы, что была в моей голове.

Я вспомнила разговор с братом, а дождь зло хлестал меня, как будто и он был на стороне

Хамалая и Мухаммата. И мне стало вдруг так одиноко, словно во всем мире остались только я и этот враждебный дождь.

Меня не Хамалай с Зари доконали, а это вот отступничество брата и то зерно сомнения в нашей матери, которое он посеял в моей душе. Я с детских лет привыкла думать, что мама меня всегда поймет и поддержит в трудную минуту, а тут вдруг усомнилась в ней. Все-таки наша мать была человеком своего времени, и старые обычаи крепко держали ее в своих руках. Зла она мне, конечно же, не хотела и за мое счастье отдала бы свою жизнь, но она была так воспитана и считала само собой разумеющимся, что женщина должна подчиняться мужчине. Ей самой повезло с нашим отцом, и она не видела в таком подчинении ничего плохого...

Никогда в жизни не была еще я так одинока, как в тот вечер. А тут еще этот свирепый ливень... Я как-то упала духом, и мне стало мерещиться, что я пошла не только против Хамалая, а подняла руку на что-то неизмеримо большее и для меня неодолимое. Не с моими слабыми силами тягаться с этой громадиной, которая создавалась веками, а теперь перетянула на свою сторону Мухаммата и, может быть, даже и мою мать...

Ливень исхлестал меня всю. Я потеряла тропинку и шла наугад, на ощупь, с закрытыми глазами. Падала, вставала, шла и снова падала.

Потом говорили, что на ферме услышали мой крик и вышли навстречу мне, но я не помню, кричала ли я. Помню только, что много раз падала и хотела, чтобы меня унесли эти ночные озверевшие потоки. Впереди я не видела ниче-

го светлого. Все хорошее, казалось мне, осталось позади и больше никогда не вернется.

Однако ночь и ливень пощадили меня. Я очнулась на ферме — больная и слабая, по среди друзей. И дружеская забота обо мне наших девочек и ребят сделала свое дело: мне снова захотелось жить. Прежнюю мою жизнь — со всеми ее светлыми и темными днями, со всеми радостями и огорчениями — смыл дождь. Я стала как новорожденная, и жизнь провела на моей ладони новые линии. Пока я еще не могу их прочесть и не знаю, как сложится моя жизнь, какими дождями будут омыты и какими солнцами согреты эти новые линии на моей ладони.

Но одно я уже знаю твердо: силу Хамалая я тогда преувеличила, — не такая уж он громадина, как мне сгоряча показалось. И маму свою я ему не отдам. Уже здесь, в больнице, я поняла! напрасно я тогда усомнилась в своей матери. Несмотря на всю ее приверженность к старым обычаям, материнское сердце подсказало бы ей, как поступить, и она поняла бы мою правоту. Теперь я верю в это...

— И правильно! — подхватил я. — Нечего Хамалая раздувать до размеров Эльбруса... А дождь тот прекрасно сделал: увел тебя в горы, побил хорошенько за твои заблуждения, потом промыл до костей, запеленал новорожденную травами и такую, чистую, пропахшую травой и дождем, преподнес мне... У нас в доме будет культ дождя!

Пока я так говорил, Марзиат все улыбалась. Я боялся, что тяжелые воспоминания омрачат ее душу, но, видно, и вправду тот дождь смыл с нее все старое, — и ей было сейчас хорошо. А может быть, ее радовали мои слова? Пусть не

так уж сильно радовали, но чуть-чуть слова мои ведь могли ее и порадовать? В конце концов и даже самый разочарованный в мире человек не станет обижаться, если его полюбят...

И я повторил убежденней прежнего:

— В доме у нас будет культ дождя!

— Не шутите этим, — предостерегла меня Марзиат.

— Помните, однажды вы уступали мне место в автобусе. Уже тогда я вам правился!

Марзиат одобрительно усмехнулась. Не знаю, как она в целом относилась ко мне, но находчивость мою она ценила. Что ж, для начала и это неплохо.

— Я читала ваши статьи и встала тогда, чтобы проверить вас. Тогда вы выдержали испытание.

— И еще выдержу! — пообещал я.

— Попробуйте, — разрешила она. — Но у вас мало надежды на выигрыш.

— Вы же не говорите, что у меня совсем нет надежды. А мало — это очень много, когда у человека ничего нет!

— Вы все шутите...

— Никогда в жизни я не говорил серьезней... Марзий, выходите за меня замуж! — выпалил я.

Марзиат посуровела и сказала с упреком:

— Зачем вы так спешите? Не надо сейчас об этом... Дайте мне время прийти в себя, набраться сил... Зачем вам доярка с такими немощными руками?

Она показала мне побелевшие в больнице руки.

— Значит, можно все-таки надеяться? — спросил я и мельком подумал: точь-в-точь такой же вопрос на моем месте наверняка задал

бы и расчетливый Хамалай. Пусть он и не Эльбрус и не заслоняет целиком моего житейского кругозора, но все же надо признать: кое-что хамалаевское прочно сидит во мне и время от времени дает знать о себе. Надо мне поскорей выкорчевать все эти застарелые корешки, если я не хочу отпугнуть Марзиат. И для начала я сказал покладисто: — Ладно, если это вам неприятно, не буду надеяться.

— И напрасно: надеяться всегда надо, — убежденно ответила Марзиат и тут же спохватилась: — Это вообще, а не в том смысле, что я вам что-то обещаю... Я не торгуюсь, но поймите меня правильно: сейчас мне не до этого.

— Хамалай? — предположил я.

— Нет, Хамалай тут совсем ни при чем, — твердо сказала она. — Просто мне надо снова до конца поверить в себя, в свою правоту и силу.

— Но разве вы до сих пор...

— Да, я уже начинаю верить в себя. Скажу даже больше: думаю, в переломе этом какую-то роль сыграли и вы... ваше хорошее ко мне отношение. Но не торопите меня. Один раз я уже поспешила.

И тут нас прервали. Из Ак-Сырты на предсудательском «газике» — приехали Мухаммат, подружки Марзиат и мой знакомец Музафар. Этот негодник Музафар ехидно кашлянул, увидев меня рядом с Марзиат. Больше всего я приглядывался к Мухаммату. Он был немногословен. Брови, как и у Марзиат, густые и черные, лицо скуластое, нос с горбинкой, сильные плечи. А глаза добрые. Трудно было поверить, что человек с такими глазами недавно ругал свою сестру из-за Хамалай, обвиняя ее в том, что она позорит всю их семью. Или это жена так его

настропалила? Я поймал на лице Мухаммата выражение вины, когда он смотрел на сестру, и вдруг уверился: если мы с Марзиат поженимся — я обязательно подружусь с ее братом.

Я позвонил своей сестре Нине и сказал ей, что сегодня день рождения Марзиат. Мне давно уже хотелось их познакомиться. Нина вскоре пришла с букетом цветов. Марзиат с любопытством заглянула ей в глаза и пожала руку.

— Будем друзьями, — сказала она Нине, а мне: — Вот какая у вас сестра.

— Злая, — пошутил я. — Несдобровать моей жене!

Марзиат с упреком посмотрела на меня, взглядом прося больше так не шутить, — и я прикусил язык: мне не хотелось в этот день, перед нашей разлукой, оставить по себе у Марзиат плохую память.

Мы поехали в верховье Нальчика, расположились на берегу реки и наскоро отметили день рождения Марзиат. У меня щемило сердце при мысли, что через какой-нибудь час-другой я уже не увижу ее. Но я утешал себя тем, что, если толком разобраться, Марзиат больше пообещала мне, чем сказали ее слова. Наперекор всем разлукам, я был полон самых радужных надежд и поднял тост за культ дождя.

Когда солнце перевалило за полдень, Марзиат уехала с братом, насмешником Музафаром и всеми своими подружками.

Проводив девушку, которая в трудный мой час неожиданно вторглась в мою жизнь и круто изменила всю мою судьбу, я пошел пешком по берегу реки. Я думал о том, что человеку для счастья нужно совсем немного, — всего лишь одно слово или даже одна улыбка. А может

быть, ливень, смывающий все недоразумения и ошибки прошлых дней, наполняющий сердце новым зовом жизни, новым ожиданием и новой тоской. Я шел по берегу реки, и со мной был огромный мир, полный света и чистоты.

Содержание

Красные закаты	5
Твой свет	157
Девушка из Ак-Сырты	301

Алим Магомедович Тешеев

Твой свет

Повести

Редактор **М. Тучина**
Художник **Б. Косульников**
Художественный редактор **В. Покусав**
Технический редактор **Л. Дунаева**
Корректоры **Н. Попикова, И. Мокина,**
Т. Стельмах

Сдано в набор 15/III-77 г. Подписано к печати 22/VIII-77 г. Формат изд. 70×90^{1/32}. Бумага тип. № 2. Печ. л. 13,0. Усл. печ. л. 15,21. Уч.-изд. л. 15,29. Тираж 30 000 экз. А00703. Заказ 767. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Типография № 2 Росглавополиграфпрома,
г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.